

МИКАЕЛЬ НИЕМИ

Сварить медведя

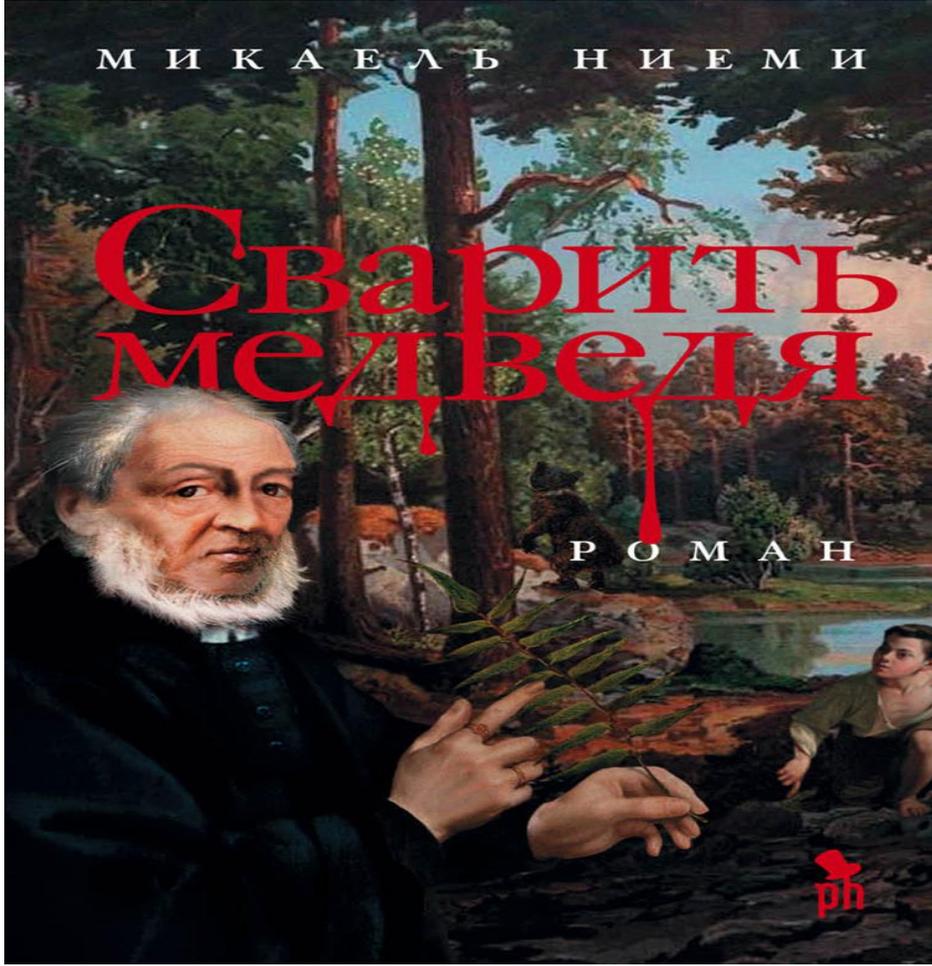
РОМАН

ph

МИКАЕЛЬ НИЕМИ

СВАРИТЬ МЕДВЕДЯ

РОМАН



Annotation

Невероятная история проповедника и его юного ученика, мальчика-саама Юсси. Лето 1852-го, глухая деревушка на самом севере Швеции. Юсси сбежал из дома, где голодал и страдал от побоев. Вскоре ему предстоит составить компанию ученому человеку Лестадиусу в его ботанических экспедициях, во время которых сложится их дуэт учителя и ученика. Проповедник научит Юсси различать растения, читать и писать, а также любить и бояться Бога. Лестадиус несет слово Божье саамам-язычникам. Но однажды увлечение ботаникой подтолкнет пастора и Юсси на совершенно неожиданный путь. На отдаленном хуторе пропала служанка – не вернулась из леса, где пасла коров. Там, где она пропала, на стволах деревьев обнаружены следы медвежьих когтей. Все уверены, что девушку задрал медведь-людоед. И только проповедник сомневается. Так начинается расследование, которые ведут пастор Лестадиус и мальчик-саам (неожиданная литературная реинкарнация пары Холмс – Ватсон).

Увлекательнейшая детективная интрига встроена в не менее увлекательный исторический роман, и все это подано с теплой, слегка ироничной интонацией. Интересно и то, что Ларс Леви Лестадиус – реальное историческое лицо, человек, который всю жизнь провел среди саамов и, по сути, обратил их в христианство.

- [Микаель Ниemi](#)

-

-

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
-

Микаель Ниemi

Сварить медведя

Книга опубликована по соглашению с агентством Hedlund Agency

© Mikael Niemi, 2017

© Сергей Штерн, перевод, 2019

© Андрей Бондаренко, оформление, 2019

© «Фантом Пресс», издание, 2019

* * *

Кенгис
1852

*Лежу на боку,
Сочиняю строку.
Строка – ни в какую,
Кукушка кукует:*

*«Ку-ку» да «ку-ку».
Сочиняю строку,
Девушка, как птица,
Поет на лугу.*

*Девушка, как птица,
Поет на лугу,
А я ей строку
Сочинить не могу...*

*Не знаю, нужна ли
Такая строка,
Когда и без песен
Победа легка.*

Просыпаюсь в оглушительной тишине мироздания. Мироздание... Никакого здания нет, оно еще не построено. Мир замер в ожидании сотворения, и меня окружает непроглядный вибрирующий мрак. Я лежу с открытыми глазами – два маленьких пересохших колодца, жадно всасывающих Вселенную. Но там, в этой непостижимой бесконечности, где тяжело ворочаются и подмигивают иные миры, ничего нет. Даже воздуха.

Грудь моя начинает дрожать и дергаться. Там что-то растет, рвется наружу, ребра гнутся, как прутья в плетеной корзине. Мне ничего не

остается, как подчиниться этой чудовищной силе. Дитя, ползающее по полу у ног разгневанного отца. Никогда не знаешь, когда обрушится следующий удар. Ребенок – это я. И отец – тоже я.

Мир еще не создан, и надо спешить. Вот-вот рассветет. Я хватаю торбу, выкованный в местной кузнице топор и бегу. Прячусь на опушке. Притворяюсь, что поправляю одежду, – на случай, если увидят. Перематываю в десятый раз портянки, выскиваю в шапке заблудившихся блох – их там нет, но я все же притворяюсь, что есть, и делаю вид, что швыряю злодеек в кислотный ад муравейника. И исподволь поглядываю на хутор. Вот потянулся первый дымок из-под крыши курной избы. Проснулись.

Наконец! Выходит она. В руках покачиваются пустые ведра. В робком еще свете начинающегося утра белый головной платок похож на куропатку, на круглом лице смутно сияют ясные глаза и темнеют брови. Я представляю, как нежна и мягка ее кожа, как шевелятся, напевая что-то, пухлые свежие губы. Мычат в ожидании дойки коровы. Она отодвигает засов тяжелых покосившихся ворот и исчезает, будто растворяется в темноте. Все происходит очень быстро... чересчур быстро. Призываю на помощь все органы чувств, пытаюсь сохранить короткое мгновение, чтобы потом в любой момент, когда захочу, вызывать в памяти. Опять и опять.

Я должен увидеть ее и завтра. Ее покачивающиеся бедра под фартуком, волнующие округлости груди, руку, отодвигающую засов коровника. Воровато перебегаю заросший случайной травой двор и осторожно трогаю засов. Тот самый, на котором только что лежала ее мягкая рука, теперь лежит моя – шершавая и жилистая. И мне кажется, дубовый брус все еще теплый. Я представляю, как она ловко и ласково сжимает мягкие коровьи соски, слышу звонкое журчание упругих струек молока, льющегося в подставленное ведро.

Мне хочется открыть дверь и войти в коровник, но нет. Нельзя. Кто-то может увидеть.

Рука моя будет хранить ее тепло весь день.

Когда приносят еду, я всегда жду до последнего. Сажу в своем углу. Пасторша вносит тяжелый чугунок с кашей – черный, как сама смерть, дымящийся котелок, словно она подцепила его в дьявольском пекле своим хватом. Но каша в нем светло-золотистая, душистая, ничего адского.

Брита Кайса помешивает кашу деревянной лопаткой, со дна и на поверхность, со дна и на поверхность. Комки каши тонут в сливочно-белой пенке, и в избе распространяется сытный аромат овсянки. Дети и слуги застыли в ожидании, я вижу их бледные, напряженные лица. Большой деревянный стол окружила плотная стена здорового утреннего голода. Пасторша с суровой миной берет миску за миской и накладывает кашу. Большим – полный половник, тем, кто поменьше – и каши поменьше. Слугам, тем, кто заглянул на огонек... никто не остается обделенным. Все наклоняют головы, руки сцеплены. Прост^[1] ждет тишины. Потом склоняет голову и с выражением благодарит Господа за хлеб насущный.

Слышно только, как дети облизывают ложки. Старшие просят добавки. Ломают и делят хлеб, холодную вареную щуку едят руками, а кости раскладывают на столе рядами сверкающих игл.

И только когда все наелись, хозяйка смотрит в угол, где сажу я.

– Иди поешь.

– Необязательно.

– Садись за стол. Дети, освободите место для Юсси.

– Не надо... я тут поем.

Теперь и хозяин посмотрел на меня. Что-то его мучает, не знаю что. Скрыть не удастся, хотя старается. Посмотрел и кивком приказал: ешь. Я поплелся к столу и протянул пасторше деревянный ковш. Я сам его выточил еще в Каресуандо^[2], и с тех пор он следует со мной везде. Сначала ковш был белым, как кожа младенца, потом потемнел от солнца, соли и тысячи вод.

Я чувствую приятную тяжесть каши в ковше, благодарно смотрю, как Брита Кайса подбирает половником остатки, чтобы вышло побольше, – и бреду назад, в свой угол. Сажусь, скрестив под собой ноги, и быстро ем. Каша загустела, она не теплее моих губ. Я чувствую, как комки ее с трудом проталкиваются по пищеводу, как, вздрогнув, включается в работу желудок. Каша остыла, но даже

холодная она дает мне тепло и силу, а тепло и сила помогают жить. Я ем, как едят собаки, жадно и настороженно.

– Еще положить?

Она знает: я не попрошу. Я ем только один раз и только то, что дают. Никогда не прошу добавки.

Ковш пуст. Провожу большим пальцем по краю, снимаю прилипшую кашу, слизываю и опять провожу, и опять слизываю, до последней крупинки. Он мой кормилец, этот ковшик. Он притягивает еду. Сколько раз я был голоден так, что вот-вот умру, – и ковш меня выручал. В нем откуда ни возмись появлялась рыбья голова. Или оленья кровь. Или мороженая морошка из предгорий. Вот так. День прожит. Потом будет новый день. Вот и все, на что я надеялся, – завтра будет новый день.

Сажусь на пол в дальнем углу. Никогда не проталкиваюсь вперед, никогда ничего не требую, не хватаю, как ворон, не шиплю, как росомаха. Лучше уйти. Если никто не замечает, надо оставаться в тени. Но хозяйка меня заметила. Я ничего не требую, а она все равно кормит меня. Не потому что я – это я. Будь на моем месте любое другое живое существо, корова или собака, ее молчаливое участие простиралось бы и на него. Все живое должно жить. Это ее религия. Примерно так.

Я могу исчезнуть в любой момент, такова жизнь у нас, бродяг: нынче здесь, завтра там. Встаю, закидываю за спину торбу и ухожу. Все, что у меня есть, ношу с собой. Одежда... можно назвать ее и так. Нож за поясом. В торбе роговая ложка, мешочек с солью и все тот же ковш. Я легок и быстр: пока кто-то хватится, уже за перевалом. Почти не оставляю следов, как не оставляют следов звери. Примятая трава за спиной быстро поднимается. Если развожу огонь, нахожу старое кострище. Зола моего костра смешивается с золой давно отгоревшего и становится невидимой. Если мне надо справить нужду, я поднимаю кусок дерна, а потом кладу его сверху – разве что лиса учует слабый запах человека. А зимой выбираю дорогу через глубокий нетронутый снег, и следы моих лыж по весне тают, словно их и не было. Человек может жить и так, ничего не портя и не разрушая. Как будто его и нет. Жить, как лес, как летняя листва, как осенний перегной, как февральский снег, как бесчисленные почки, разбуженные весенним солнцем. Все имеет отпущенный срок. И человек тоже исчезает, будто его и не было.

Мой учитель страдает. Я вижу, как судорожно изгибаются его губы, как чмокают, как обсасывают и пытаются выплюнуть не желаемое рождается слово. Враги его все ближе, дня не проходит без новых ударов и оскорблений. И ему нечем защититься, только пером. Против мечей, против пик и кольев поднимает он свое перо, но слово не рождается. Я готов залепить самому себе оплеуху, ущипнуть себя до крови, лишь бы помочь ему разродиться. Что угодно, лишь бы впустить луч света в окутавший его сознание мрак. Он мог бы быть моим отцом. Я ему об этом сказал, но он рассердился. Или огорчился, я так и не понял.

Опускаюсь на лоскутный коврик, как собака. Могу так лежать часами, положив нос на лапы, и готов в любую секунду следовать за ним.

На лбу учителя оставили свой след годы и годы непрерывных размышлений. Лоб грязен – то ли от золы из трубки, то ли от копоти фитиля.

Длинные волосы сваялись в неопрятные космы. Иногда он отводит их назад, как путник отводит ветки с болотистой лесной тропы. Старается в одиночестве проложить путь во мраке и диких зарослях, где никто и никогда до него не бывал.

Нет, не в одиночестве. Я молча следую за ним, чую его следы, запах просмоленной кожи его сапог, шорох вложенного в них сена, запах мокрой шерсти от его одежды. Он пробивается все дальше в неизвестность, но я всегда с ним. В животе пусто, но я не жалуясь. Я, как тень, приклеен к его пяткам.

Как-то раз мы остановились передохнуть у родника. Жадно пили студеную воду, а он все косился на меня.

– Как стать хорошим человеком? – напившись и вытерев губы, спросил учитель.

Я промолчал. Что на это ответишь?

– Как стать хорошим, Юсси? – настаивал он. – И что это значит – быть хорошим?

– Н-не знаю.

Учитель глядел на меня. Глаза его налились жарким светом.

– Посмотри на нас. Посмотри на меня, посмотри на себя. Кто из нас хороший?

– Вы, учитель.

– Не называй меня учителем, когда мы одни в лесу.

– Я хотел сказать... прост.

– А почему именно я?

– Потому что вы пастор. Служитель Бога. Вы доносите до нас слово Божье и даже можете от Его имени прощать грехи.

– Это моя работа. Разве работа сама по себе делает человека хорошим? Разве не бывает злых священников?

– Ну что вы, учитель, я даже подумать такое не могу...

– Неправда! Пасторы-пропойцы, прелюбодеи, чревоугодники, пасторы, которые бьют жен до полусмерти? Ты, может, и нет, а я таких встречал.

Я не ответил. Посмотрел на дымящийся трутовик – защиту от комаров.

– Посмотри на себя, Юсси. Ты не обжираться, не пьянствуешь.

– Потому что я нищий.

– Ты не хвастаешься. Вообще не говоришь о себе, стараешься уйти в тень.

– Нет, прост, я не...

– Иногда мне нужно обернуться, чтобы увериться: ага, ты все еще со мной. Ты тих и незаметен – как ты можешь быть плохим?

– Но прост совершает куда больше хороших поступков.

– От Бога ли они, эти поступки? От Бога ли они, Юсси? Подумай, подумай хорошенько. А может, это дьявольская гордыня и тщеславие, может, мне просто нравится, когда меня хвалят. Когда следуют моим проповедям... Я умру, и люди скажут: вот, умер великий человек. А тебя, Юсси, сразу вычеркнут из памяти, словно тебя никогда и не было. Так, тень какая-то промелькнула.

– Я доволен тем, что имею.

– Это правда?

– Правда, прост.

– Вот именно, Юсси. Ты доволен тем, что имеешь. Поэтому ты и есть самый преданный, самый деликатный из всех встреченных мною людей.

– Но, прост...

– Это так и есть, Юсси. Но погоди! Деликатный и преданный, да, несомненно... но хороший ли?

– Я так не думаю.

– А может быть, ты просто слепо следуешь своей природе? Ты и я – очень разные. Поэтому я так часто нас и сравниваю. Кто идет верной дорогой – ты или я? Я делаю много добрых дел, это правда. Но я и сражаюсь, наношу раны, наживаю себе врагов. А ты... ты подставляешь другую щеку. – Он поднял руку, заметив, что я хочу возразить. – Погоди, Юсси. Ты подставляешь другую щеку, и что? Уже только одно это делает тебя хорошим? Таков и был замысел Создателя?

Я уставился на сидящего на его колене слепня с изумрудно-зелеными неживыми глазами. Он терпеливо пытался прокусить брючину.

– Я научил тебя читать, Юсси. Ты берешь мои книги, ты совершенствуешься. Ты задумываешься – да, да, я вижу, ты задумываешься... но каков результат? Если кто-то встает на твоём пути, ты берешь свою торбу и уходишь. На север, в горы. Но разве так следует бороться с несовершенством мира? Подумай, Юсси... разве это добро – уклоняться от борьбы со злом?

– Я есмь червь, а не человек^[3]. Жалкий червь. Бродяга.

Прост не смог удержать улыбку: я вспомнил его любимый псалом.

– Нет, Юсси. Ты не червь. Ты наблюдатель. Я давно заметил: ты изучаешь окружающий мир. Не так ли?

– Да, но...

– Пытаешься понять, как он устроен, этот мир. Как устроены люди. Это хорошо. Это дар, не все на это способны. Но как ты используешь этот дар? Это главный вопрос, Юсси. Как ты используешь этот дар? Что ты делаешь для победы добра над злом?

В горле у меня быстро вырос тяжелый болезненный ком – в чем он меня обвиняет? Это несправедливо. Мне захотелось убежать – ему меня ни за что не догнать. Как меня и не было. Но он заметил и взял меня за руку. Будто я не человек, а воробей, и он на всякий случай накинул мне на крыло петлю. Чтоб не трепыхался.

Прост научил меня видеть. Не смотреть, а видеть. Видеть, что мир под твоим взглядом может измениться. Все свое детство я бродил по горным ущельям, сосновым и березовым лесам, осторожно ступал на

зыбкие болотистые кочки, и под ногами моими хлюпала подернутая ряской черная опасная вода. Край этот – мой. Я знал его снаружи и изнутри, этот суровый северный край, эти реки со скалистыми берегами, эти извилистые звериные тропы.

Я его знал, этот мир, но я его не видел. Помню, прост взял меня с собой в одну из своих, как он их называл, экспедиций. Торба моя была полна еды, но не только: он положил краски, карандаши и толстую серую бумагу. Мы шли довольно долго. К вечеру остановились в лехто, маленькой сосновой рощице, окруженной мозаичной черно-зеленой пустошью. Оба устали, и я, и он. Я быстро разжег костер и начал готовить ночлег, а он наломал хлеб и нарезал сушеное мясо. Комары кусались немилосердно. Прост протянул мне баночку с дегтем, но я вместо этого собрал в горсть узкие темные листочки низкого кустика, растер и намазал запястья. Комарам сильный запах не по нраву.

– Ледум палюстре, – сказал прост.

– Что?

– Растение, которым ты намазался. *Ledum palustre*.

– Ледум... что? – пробормотал я.

Он неожиданно резво вскочил.

– Багульник. Иди за мной.

Мы оставили наши торбы. Сосняк кончился, дальше начиналось болото. Прост оживился, он рыскал глазами по земле, словно искал что-то.

– Давно хотел здесь побывать. Настоящая аптека. Несметное богатство.

Я посмотрел – болото. Насколько глаз хватает – болото. Совершенно неподвижное, но кажется, что покачивается. Покачивается очень медленно, почти неуловимо. А на самом деле неподвижно.

– Что ты видишь, Юсси?

– Ничего.

Он обернулся с улыбкой:

– Ничего... А это что?

– Трава.

– Нет, не трава. Осока.

– Ага, осока. Я вижу осоку.

Прост вздохнул и двинулся дальше. Июль только начинался, паводок еще не спал. Мы намотали на шею шарфы – защита от плотоядных насекомых, миллионами вылупляющихся из своих куколок в каждой луже.

– Вот с этой точки, где я сейчас стою, я вижу десятки ее видов, Юсси. Я говорю об осоке. А ивы? Этот загадочный род... ты видишь, какие они разные?

– Не-а. Не вижу.

– А глянь вот туда! Их мы рассмотрим завтра. Но посмотри, как они светятся!

– Прост говорит о вон тех цветах?

– Орхидеи, Юсси! Орхидеи в нашем краю! Посмотри, посмотри, прямо у тебя под носом. Асимметричные, шесть лепестков и губа. Цветок словно облизывается.

На одном стебле качались три странных темно-розовых цветка. Он приказал мне встать на колени, прямо на мокрую землю, и рассмотреть их как следует.

– Ближе, Юсси! Понюхай.

Я чуть не ткнулся носом в цветы и втянул воздух. Очень слабый, почти неощутимый сладковатый запах тут же исчез, будто испугался, что его распознают.

– Чувствуешь? Ты чувствуешь?

– Ну, в общем...

– Я думаю, это запах Бога.

Там, где я раньше видел только деревья, траву и мох, мне открылись невероятные богатства. Куда бы я ни посмотрел, ждали новые открытия. И каждому растению, каждому деревцу, каждой травинке была посвящена отдельная страница в гигантской энциклопедии Создателя. Мне казалось чудом, какое разнообразие таится в каждом крошечном растении. Посмотреть в лупу и вдруг обнаружить, что какой-то невзрачный стебелек покрыт крошечными изящными волосками, что края листьев не ровные, а зазубренные или волнистые, и все это не случайность, не игра, а великий и выверенный план, в котором каждое растение занимает свое, только ему отведенное место в мироздании. И Господь снабдил его всеми приспособлениями для жизни именно здесь, а не где-то еще.

Прост объяснил: весь растительный мир делится на классы, семейства и роды. Рассказал, что у однодольных жилки идут параллельно, например у травы. Или у лилий. А у двудольных – как у птичьего пера. Почему некоторые цветы так прекрасны? Так ярки? Например, кувшинки или лазурные факелы иван-чая? А вот почему: их оплодотворяют насекомые, и цветы стараются привлечь их внимание. А другие едва видны – скажем, у ольхи. Или серые, почти незаметные цветочки некоторых трав, но над ними то и дело появляется облачко пыльцы. Их опыляет ветер. Цветы с четырьмя лепестками называются *Crusiferae*, крестоцветные, а те, у которых цветы напоминают веник, – зонтичные, *Umbelliferae*.

Прост останавливался в немом восхищении у любого болотца и вздыхал: ах, почему жизнь так коротка, не успеешь даже прикоснуться ко всей этой роскоши. А потом опускался на колени и доставал свою лупу: внимание его привлекал какой-нибудь дюймовой высоты стебелек.

Это он, учитель, научил меня искусству запоминания. Знания приходят через зрение, сказал он. Когда ты видишь растение, которого никогда раньше не встречал, постарайся рассмотреть его со всех сторон. Потом посмотри поближе, запомни все, каждую деталь. Цвет, форма стебля, лепестков, пестика, тычинок. И ты даже не можешь представить, какая радость вновь встретиться с этим малышом – а я тебя узнал!

Эта наука далась мне легко. Труднее пришлось с латынью, тут я вынужден был зубрить. Когда я узнал, что обычная таволга, или лосиная травка, называется *Filipendula ulmaria*, мне пришлось раз двадцать повторить это замысловатое название. Нет, наверное, не двадцать, а все сто, – и все равно через час оно исчезло из памяти, выветрилось, и начинай все заново.

Прост был прав: после множества таких прогулок я начал видеть. Растения и деревья стали моими друзьями. Я узнавал их с радостью и волнением, как узнают старых знакомых.

Ага, вот ты, стоишь и радуешься солнышку. А вот твой брат. И сестричка тоже тут – старается держаться поближе.

Каждое лето приходила эта ни с чем не сравнимая радость узнавания. Я с нетерпением ждал встречи со старыми знакомыми, знал время цветения каждого из них. И именно потому, что растения были

мне так хорошо знакомы, я легко замечал что-то новое. Внезапно мог остановиться как вкопанный в сыром ельнике – а это что там, между корней? Раньше я бы, не думая, наступил или прошел мимо.

– Что это?

– *Corallorhiza trifida*. Ладьян. Вид орхидеи. Молодец, Юсси. Очень необычно для наших широт.

От похвалы у меня загорелись щеки. Я быстро присел на корточки и, как всегда, забормотал:

– *Corallorhiza trifida, corallorhiza trifida...*

Скоро и ладьян станет моим другом.

4

Как-то вечером мы, прост и я, готовили новый экспонат для нашего гербария. В небольшом болоте (эвтрофном^[4], важно пояснил прост) мы нашли неприметный стебель осоки. Увидев его, прост задрожал, как охотничий пес. Я выкопал растение, осторожно расправил крошечные корешки, завернул во влажную тряпку и положил в ботанизируку. Мы принесли стебелек домой, поменяли ткань на сухой рыхлый картон. Вместе закрутили пресс так, что начала поскрипывать ременная стяжка, и с трудом вставили деревянный шплинт.

Я услышал, как хлопнула входная дверь. Кто-то позвал проста и постучал.

Голос неизвестный. Сельма, дочь проста, глянула в щелочку:

– Отец?

Прост вытер руки, собрал приготовленный мной табак, который я только что отрезал от сухой косички на стене и ножом накрошил так, как требовалось: не очень крупно, но и не мелко.

– Иду.

В ту же секунду дверь открылась настежь и в комнату ввалился здоровенный парень. Что-то в нем было неприятное... какой-то странный, отсутствующий взгляд. Я насторожился – и вскоре понял почему. Парень был смертельно испуган.

– Чирккохерра^[5], – задыхаясь, начал он по-фински, – господин прост... должен... пойти со мной.

Прост спокойно и оценивающе посмотрел на гостя. Ему помешали в любимой работе, но он ни жестом, ни взглядом не выдал недовольства. Рубаха гостя насквозь промокла, пот даже с носа капал – видно было, что долго бежал. Он судорожно дергал руками – хотел показать, насколько спешное у него дело.

– Что случилось?

– Она... это... мы не знаем! Была на летнем выпасе с коровами...

– О ком ты?

– Служанка наша, Хильда... Хильда Фредриксдоттер Алатало.

Я насторожился. Мне было знакомо это имя. Она работала на одном из ближних хуторов, я часто видел ее в церкви. Бледная курносая девчушка, медлительная, всегда с платком в руке, как у деревенских тетушек, – когда проповедь ее трогала, она этим платочком потихоньку вытирала слезы.

– И что?

– Пропала... Прост должен прийти прямо сейчас.

Прост покосился на меня. Было уже очень поздно, мы целый день бродили по лесу и порядком устали. Ну и что – поздно. Сейчас лето, светло будет всю ночь.

Парень заметил сомнения проста и потоптался на месте, словно подавляя желание схватить его и тащить насильно.

– Сейчас придем, – сказал прост. – Юсси, дай ему напиток.

Я принес ковш воды. Парень пил, как лошадь, – никак не мог остановиться.

Мы пришли на хутор уже ночью, хотя было совсем светло. Парня звали Альбин, старший сын в семье. Всю дорогу он бежал метров на тридцать впереди, то и дело оглядывался, дожидался и бежал дальше. Прост и я шли ровно и быстро – нетрудная задача для таких ходоков, как мы. Как только вошли во двор, навстречу выбежали хозяин с хозяйкой и растрепанные сонные детишки – наверняка прилипли к окнам и ждали, когда мы придем.

Хозяин даже не предложил напиток или закусить – пробормотал приветствие и двинулся в лес. Мы последовали за ним, пробираясь сквозь заросли. На севере над горизонтом висело солнце. Хозяина звали Хейкки Алалехто. По дороге он сбивчиво рассказал, что произошло. Служанка Хильда, как и каждое утро, повела коров на

лесной выпас. Ушла, но к вечерней дойке не вернулась. Почти все коровы прибрели сами по себе, а она так и не появилась.

– Может, ищет заблудившихся коров? – предположил прост.

Хейкки такую возможность не отрицал – может, и ищет. Но так сильно она ни разу не задерживалась.

Время от времени аукались, выкрикивали имя девушки. Далекий скалистый холм отзывался быстро гложущим эхом: «Хи-и-ильда...» – но и все. На зов никто не отвечал. Мы с простом шли молча. Взгляд его остановился на чем-то привлекавшем его внимание колоске (Gramineae, тут же вспомнил я. Злаковые). Нагнулся, осторожно сорвал и положил в ботанизирку, с которой не расставался почти никогда.

Мы шли довольно долго, пока не вышли на поляну.

– Здесь она обычно отдыхает.

На другом конце полянки – подернутые пеплом головешки. Хозяин пошел было к кострищу, но прост удержал его. Он довольно долго стоял и присматривался. Теперь и я заметил: рядом с еловыми ветками, которые служанка постелила, чтобы не сидеть на холодной земле, валялся опрокинутый бидон. На фоне серебристого серо-зеленого лишайника белая простокваша, казалось, светила сама по себе.

Прост наклонился ко мне и тихо спросил:

– Что ты видишь, Юсси?

– Я-то? Ну... что я вижу... вижу вот что: она тут присела отдохнуть. Развела костер. И опрокинула простоквашу.

– Ты уверен, что простоквашу опрокинула именно она?

– Вообще-то... нет, конечно. Не уверен.

– Посмотри повнимательней. А потом расскажешь, что случилось.

Он произнес эти слова тихо, но очень отдельно. Нетерпеливо откинул волосы, вечно падающие ему на глаза. Я изо всех сил старался не упустить ни одной мелочи. Даже представил себе, как она тут сидела, эта бледная курносая девчонка.

– Хильда присела тут отдохнуть и поесть. Скорее всего, около полудня. Как раз к полудню особенно есть хочется. И тут что-то случилось, и она убежала со всех ног. Ну, может, и не убежала, но я так думаю... мне так кажется. А потом заблудилась. Вот так, наверное, и было.

– Нет... только факты. – Учитель защемил пальцами нижнюю губу и внимательно на меня посмотрел. – Никаких предположений. Только факты. Что мы видим?

Я понял: он недоволен. Еще раз осмотрел всю поляну, постарался ничего не упустить.

– Головной платок висит на кусте. Зацепился, наверное. Значит, торопилась. Наверняка. Вон и котомка стоит.

– Хорошо, Юсси.

Хейкки нетерпеливо переминался с ноги на ногу, намекая: искать надо, а не болтать пустяки, но прост поднял руку. Он его словно отодвинул, этого Хейкки. Прищурился.

– Платок за куст не зацепился, – сказал он спокойно. – Она его повесила просушить. Дело было среди дня, жарко, у нее наверняка вспотели волосы. Подумай: жарко, а она разводит костер. Зачем? А вот зачем: комаров отгонять. Когда она ушла с поляны, огонь еще горел, потом погас. В центре дрова прогорели, и... посмотри внимательно: золу ветром отнесло на восток, брусника выглядит так, точно с нее год пыль не стирали. Сейчас полный штиль, но после полудня дул довольно сильный западный ветер. Недолго, но дул. Значит, с момента ее исчезновения прошло несколько часов. Как ты думаешь, она была одна? С ней никого не было?

– Думаю, да. Э-э-э... да. Одна. Думаю, одна. Даже уверен.

– Почему?

– Если бы кто-то с ней был, она бы, как порядочная девушка, платок не сняла.

– Вполне возможно. Что-то случилось... она сидела, жевала хлеб, запивала простоквашей, и тут... опрокинула бидон, уронила хлеб.

– Уронила хлеб... я не вижу никакого хлеба, учитель. Даже крошек нет.

– Посмотри вон на ту ветку, – прост показал на мертвую сосну. – Видишь белые пятнышки? Это простокваша, она уже высохла. Птицы зачем-то топтались в простокваше, хотя простоквашу они не едят. Значит, там было еще что-то съедобное. Скорее всего, кусок хлеба.

– Вот это да! – восхитился я. – Конечно, так оно и было.

– Девушка в панике убежала. Не ушла, а убежала: глянь, какое расстояние между следами. Вон там, во мху.

Только сейчас я заметил небольшие, еле заметные углубления на земле. Если бы прост не показал, ни за что бы не увидел.

– Но, учитель... там и другие следы. Да?

– Очень хорошо, Юсси. Следы кого-то большого, намного больше, чем Хильда. И намного тяжелее – видишь, какие глубокие?

Хейкки, слушавшего наши рассуждения без особого внимания, словно пружина подбросила. Он побежал к одной из сосен и ткнул пальцем – на темно-оранжевой коре отчетливо виднелись свежие царапины.

– *Karhu!* – крикнул он, и в глазах его полыхнул ужас.

– Медведь! – повторил я, и мне тоже стало страшновато.

Прост подошел и внимательно осмотрел царапины.

– Надо собрать людей и прочесать лес, – сказал он. – Пошлите кого-нибудь к исправнику Браге. Боюсь, дело серьезное.

Хейкки кивнул и побежал домой. Он был заметно испуган: руки тряслись, он то и дело оглядывался – не гонится ли и за ним медведь.

А прост остался на месте. Поднял бидон и внимательно его осмотрел. Потом сунул палец в лужицу простокваши, поводит туда-сюда и что-то извлек. Что-то длинное, едва заметное – я не сразу, но довольно быстро сообразил: волос. Он вытер его между двумя пальцами, завернул в тряпочку и сунул в карман. Потом так же тщательно осмотрел котомку, прислоненную к кочке. Молча, не говоря ни слова, еще раз осмотрел царапины на коре.

И мы пошли по следу. Несколько раз прост наклонялся, что-то поднимал – я не видел что. Шагов пятьдесят следы были видны хорошо, а дальше низина кончалась. След исчез. Земля здесь была сухая и твердая как камень, и вскоре мы уже не знали, куда идти.

Мне становилось все тревожнее. Мы двинулись назад на хутор. Я несколько раз выкрикнул на всякий случай: «Хильда-а-а!» – но никто, конечно, не ответил. Страх пробирал все сильнее. Густая поросль ивняка словно таила в себе непонятную, но от того не менее страшную угрозу. Казалось, вот-вот кто-то оттуда выскочит и вцепится мне в пятку. Губы проста все время шевелились – сам с собой он беседует, что ли? А может, высшие силы призывает на помощь... Я-то на всякий случай выломал сук потолще – какое-никакое, но все же оружие. Шел, время от времени ударял по стволам и вслушивался, как глухой стон потревоженного дерева плывет в призрачной летней ночи.

В воскресенье, как всегда, прихожане собрались в Кенгисе около церкви. Я стоял в толпе и выискивал глазами мою возлюбленную. Она обычно приходила не одна, с ней были еще несколько молоденьких служанок. Букет летних цветов, и она – самый прекрасный. Я старался войти в церковь как можно ближе, в одном-двух шагах, так, чтобы уловить ее запах. Иногда набивалось столько народу, что толпа подталкивала меня совсем близко, и тогда я будто бы нечаянно мог потрогать ее платье. Всего-то эта тонкая тряпка между моей рукой и ее теплой наготой. Такое бывало не всегда, но каждое воскресенье я надеялся, что удастся подойти поближе.

Владелец завода еще не приехал. Господа всегда появлялись в последнюю минуту – наверняка хотели обозначить отношение к просту. Заводчик Сольберг голосовал резко против назначения этого, как он его назвал, «лапландского пророка». Мало того – обжаловал решение. Ему хотелось, чтобы проповеди читал пастор-адъюнкт Шёдинг. А прост с самого начала обозначил, где пролегает линия фронта.

– Финны и шведы преклоняют колена перед бочкой с перегонным. Они ползают на четвереньках, потому что уже не могут стоять на ногах. Плачут во славу Бога, но не по душевному движению. Плачут не они, а спиртные пары в их головах.

В Каресуандо у него получилось. Почти весь приход перестал пить. Забавно – крепче всех держался за бутылку пономарь. Даже кабатчики прониклись. Но здесь, в Пайале^[6], было не так.

«Треть кабатчиков, треть пьянчуг и еще треть – нищие болваны и неумехи, которые не в состоянии себя содержать» – к такому выводу пришел прост, о чем и не замедлил поведать с кафедры.

И сейчас критически настроенные обыватели собрались в маленькие, недовольно шушукающиеся группки. Купец Форсстрём, фогт Хакцель с семьями и прихлебателями. Они уже настроили жалобу в Соборный капитул – дескать, обстановка во время богослужений невыносимая. Народ чуть не пляшет перед алтарем, а сам священник употребляет неподобающие в Божьем храме слова и выражения. Узнает епископ – несладко ему придется, этому смутьяну.

Кое-кто всерьез утверждал: прост рехнулся. Слухи о его чудачествах в Каресуандо шли по всему Норрланду. Кого-то они пугали, но большинство сгорали от любопытства. Кому не охота послушать сумасшедшего пастора? Пришли даже с далеких лесных хуторов – предвкушали спектакль.

Приехал из Пайалы огромный исправник Браге. Вышел из коляски, вытер шею клетчатый платком и воловьей раскачивающейся походкой двинулся к церкви, небрежно кланяясь направо и налево. Любой и каждый должен понимать, какая он значительная фигура. Уже несколько дней исправник руководил поисками пропавшей Хильды Фредриксдоттер, и его засыпали вопросами. За ним с облучка соскочил секретарь полицейской управы Михельссон – тоже высокий, хотя и пониже, чем исправник, вдвое худее, но при этом все равно довольно крепкий на вид. Он тискал в руке фуражку, а узкие губы сложил так, что они напоминали клюв. Рыжие волосы его, несмотря на молодость секретаря, заметно поредели, на макушке просвечивала бледная лысина.

Я подошел поближе. Исправник Браге важно рассказывал о появившемся в их лесах кровожадном медведе. Лес прочесали, как и просил прост. По пути попались кости лосенка и несколько разворошенных муравейников. Но бедняжку Хильду пока не нашли. Кто знает, может, медведь проглотил ее со всей одеждой. Браге призвал не ходить в лес поодиночке и всегда иметь с собой топор.

– *Rappi, rappi...* – зашуришали женские голоса.

Понятно – пришел прост. При его невеликом росте он вынужден был пробиваться сквозь толпу, как пловец, разводя руками волны любопытных. Молоденькая служанка бросилась ему на шею и судорожно зарыдала. Прост прошептал ей что-то на ухо, но она не отпускала его, пока не вмешались стоящие рядом. Господа переглянулись – как же, как же... бабы от него без ума, можно представить, что творится за закрытыми дверями исповедадьни.

Подкатила еще одна коляска. Заводчик Сольберг с сыном. Сам Сольберг в темном костюме-тройке. Белая сорочка. Деловой и ухватистый господин, приехал работать инспектором из Карлскуги и постепенно прибрал к рукам все производство. Мужчины, сняв шапки, кланялись, женщины изображали разной степени изящества реверансы, а он, не обращая внимания, подошел к господам. Коротко и

холодно кивнул просту. Исправник отдал честь и сказал что-то, я не расслышал. Заводчик кивнул, достал кошелек и вытащил несколько бумажек.

– Кто убьет это чудовище – получит вознаграждение.

Южный диалект Сольберга в наших краях понимали не все, а точнее – почти никто. Начали переглядываться – о чем это он? На помощь пришел исправник.

– *Kyllä se hyvän rahan saapi joka karhun tappaa,* – перевел исправник.

Взял у заводчика деньги, положил в форменную фуражку и огляделся. Теперь он оказался в центре внимания, и это ему заметно нравилось. Форсстрём и Хакцель поспешили внести свой вклад. Браге приказал Михельссону обойти с фуражкой присутствующих. Как только секретарь дошел до бедняков, хруст ассигнаций сменил глухой звон меди.

– А духовный отец не желает внести свой вклад? – Михельссон уставился на проста водянистыми голубыми глазами.

– У меня с собой денег нет.

– Вообще нет? Ни эре? – с плохо скрытым презрением спросил Михельссон.

Ну и скупердяй... Это все знают – жуткий скряга, этот новый прост. А ведь большие деньги собирает с прихожан! Уж не попадают ли они ему в карман, как поговаривают на хуторах?

Прост отстранил Михельссона и прошел в церковь. За ним потянулись прихожане, особенно женщины. Он пытался им втолковать, что не следует создавать себе кумиров и идолов. Он – всего лишь орудие Господа, как мотыга или лопата. Но остановить религиозный экстаз не легче, чем сходящую лавину. Даже прост не мог справиться. Его хватили за руки, пытались поцеловать. И когда настало время проповеди, он, как говорится, патронов не жалел.

– Раньше пасторы проповедовали Евангелие для богатых. Для прелюбодеев, не знающих раскаяния, для воров, продолжающих воровать. Это такое Евангелие, от которого у шлюх появляется молоко, а кабатчики льют крокодиловы слезы. Нет, братья мои, я проповедую Евангелие для бедняков. Для нищих, для скорбящих, сомневающихся, плачущих, изнемогающих... для тех, кто потерял надежду. Что толку говорить кабатчику, что он хорош и праведен? Разве что скрасить

дорогу в ад... Нет, пастор должен сказать вот что: вы – дьявольское отродье, вы все – кабатчики, спаивающие народ, вы – прелюбодеи и шлюхи. Вы оскорбляете Святой Дух, и, если не раскаетесь, ничто не поможет вам избежать вечных мук.

У учителя был не особенно сильный голос, но здесь, в церкви, он звучал, как колокол. Сила колокола не в громкости, а в скрытой мощи отборной литой меди – мощи, которая стоит за этими тихими, редкими, но грозными, проникающими в душу стонами. Простой, доходчивый финский язык проста наполнял души прихожан тревогой и раскаянием. Вскоре начались всхлипывания, кое-кто воздел руки к небу. Одна из женщин вскочила с места, за ней другая. Словно волна прокатилась по церкви, стало еще теснее, люди устремились в проход, стараясь дотронуться до своего спасителя. Смотреть на них было страшно: остекленевшие глаза, непроизвольно жующие челюсти, бессвязные слова вперемешку с судорожными вздохами и рыданиями.

Я тоже уставился на учителя и на всякий случай раскачивался на скамье, как и мои соседи. Спрятал лицо в ладони и косился на женскую сторону. Там сидела моя возлюбленная. Грудь поднимается и опускается, глаза полузакрыты, пухлые губы шепчут что-то... Меня охватило отчаяние. Я так нестерпимо ее желал, что заплакал, – и, влекомый странной силой, как и другие, постарался сделать так, чтобы прост увидел мою заплаканную физиономию.

Заводчик вертелся и играл желваками. Хакцель вытащил бумагу и что-то записывал. Они сидели и пожимали плечами, окруженные плачущими работниками с их же заводов, служанками и арендаторами. Все рыдали и воздымали к потолку сжатые кулаки. А господа... что ж, господа наверняка, как и я, чувствовали, какая темная, неуправляемая сила готова в любой момент взломать тонкий ледок правил и приличий и вырваться наружу, сметая все на своем пути.

А прост неумолимо продолжал обличительную речь. Он вел свою паству все дальше и дальше, пока до прихожан не дошло, что они балансируют над бездной. Они уже видели языки огня, они видели устрашающе желтые серные озера, преисподняя уже дохнула на них своим зловонным дыханием. И только тогда – только тогда! Все уже, казалось, потеряно, спасенья нет... но тут прост глубоко и печально вздохнул, словно проснулся, и широко открыл прищуренные до того глаза. Внимательно посмотрел на прихожан – и только тогда позволил

себе впустить в проповедь лучик света. Лучик постепенно превратился в сияющий меч, потом в сплошной световой купол – и все увидели Спасителя, парящего над алтарем в окровавленном терновом венце. Сын Человеческий протянул прихожанам руку, и... – о чудо! – лица разгладились, кулаки распустились, как распускаются цветы из бутонов, пальцы, как белые лепестки, потянулись к спасению. И с нечеловеческой силой Спаситель вызволил несчастных прихожан из горящего дома и поднял их к Себе, бережно и ласково, как поднимают птенцов из гнезда. И, как птенцы, склевывали грешники янтарный мед Евангелия из Его рук. Как испуганные дети, искали они защиту у Небесного родителя.

Дети, соседи, друзья и враги обнимали друг друга, умоляли простить им грехи. У алтаря появились облатки и вино. И я вместе с потными служанками и нищими арендаторами встал на колени и принял из рук проста кровь и плоть Христову.

В конце богослужения прост зачитал обращение к прихожанам: тому, кто убьет медведя-людоеда, полагается награда. И попросил всех, кому хоть что-то известно о пропавшей пастушке Хильде Фредриксдоттер, сообщить исправнику Браге.

После службы к просту выстроилась очередь. Все хотели поблагодарить за потрясающую проповедь или хотя бы просто дотронуться до облачения – убедиться, что он такой же человек, как и они сами. Новообращенные, раскаявшиеся грешники – и просто любопытные. Я остался в церкви один. Когда все ушли, я перешел на женскую половину. Скамья – та, на которой сидела она, – еще не успела остыть. Я оглянулся. Никто на меня не смотрел, и я опустился на колени и понюхал скамью – был уверен, что отполированное множеством задов дерево все еще хранит ее запах.

И вдруг я услышал кашель. Вскочил как ужаленный – и только теперь обнаружил, что не один. На скамейке у меня за спиной лежала женщина в черном платье. Дышала она очень странно, в углах губ скопилась желтоватая липкая пена.

– *Haluasin...haluasinpuhua... Хочу поговорить... поговорить с простом... пусть благословит меня... – И потянулась ко мне.*

Изо рта пахло гнилыми зубами так, что меня чуть не вырвало. Попыталась было встать, но из этого ничего не вышло. Только повернулась немного – и тут же упала и ударилась головой о каменный

пол. Все произошло так быстро, что я не успел ничего сделать. Трясущимися руками попробовал помочь ей подняться. Из носа ручьем текла кровь, даже пена во рту сделалась розовой и начала пузыриться. Я поспешно подложил ей одну руку под шею, другую под колени и поднял. От платья пахнуло острым запахом мочи. Она оказалась тяжелее, чем я думал. С трудом, то и дело спотыкаясь, донес ее до дверей церкви. Она внезапно закашлялась, и в лицо мне что-то брызнуло. Только когда я увидел ужас в глазах людей, я понял – это кровь. Я не знал, что делать, – стоял с безжизненным телом на руках и смотрел на толпу, а толпа смотрела на меня.

– Шаманенок! Что он натворил?

Я быстро положил свою ношу на ступеньки и поспешил вернуться в церковь.

6

Мать говорила мне: ты плохой. Для ребенка очень горько такое слышать. Ты, говорила она, совершаешь нехорошие поступки: украд хлеб или ударил сестру. Ну да, я совершал нехорошие поступки, причем знал заранее, что они не так уж хороши, и все же не мог удержаться. Но одно дело – получить оплеуху, да такую, что щека горит полдня, и совсем другое – когда тебе говорят: ты и создан-то негодяем. Ты – дьявольское отродье, говорят тебе. И если такое слышишь с малолетства, и слышишь часто, то это, конечно, очень вредно. Это серьезная рана. Она заживает и открывается, снова заживает и снова открывается, пока нежная розовая сукровица не обратится в грубый струп. Мне всегда представляется кожаная варежка, такая старая, что вся оленья шерсть уже истерлась. Ее мяли на тяжелой работе, она намокала от снега и сохла у очага, опять намокала, ее опять сушили... Вся потрескалась от пота, дыма и телесных испарений.

Вот так, наверное, выглядит моя душа, мое вечное горе.

Я всегда удивляюсь – как легко люди живут! Радуются при встрече, говорят о какой-то ерунде, подначивают друг друга и смеются. Даже не думают обижаться. Парень, к примеру, может сказать девушке: «С чего бы это ты ходишь, будто летаешь? Дружка, должно

быть, завела...» – и ничего! и девушка не обижается! А кто понаходчивей, отвечает: «А тебе что, улитки нравятся? Улитка ведро морошки будет год собирать!» – или что-нибудь в этом роде. А потом стоят и подкалывают друг дружку, и что-то между ними происходит. Это я вижу ясно – что-то происходит. Происходит что-то такое, что им весело. А потом расходятся, а им все равно весело. И он улыбается сам себе, и она. Или в лавке – зашел человек купить ерунду какую-нибудь. Пакет соли, к примеру. Или пачку табака. А приказчик разливается – и про погоду, и про ягель для оленей. Или, мол, приезжие долго не держатся в наших краях. А я только и могу ответить «да» или «нет», и то с трудом. Из меня клещами слова не вытянешь. Что-то с моей натурой не то. Может, мать меня так затуркала, а может, и зря я на нее валю. Все равно вырос бы таким же.

Я никому не внушаю приязни. Никто, завидев меня, не начинает улыбаться или весело разводить руками – ба, кого я вижу! Наоборот – отворачиваются. Если я захожу в лавку, мне отвечают односложно или вообще не отвечают – снимают с полки то, что я прошу, и все. От всего этого мне, конечно, очень одиноко, но я понимаю – так и должно быть. Между мной и другими – стена. А когда я пытаюсь пробить эту стену, пытаюсь пошутить – на меня смотрят как на идиота.

– Табак, – говорю я, к примеру. – Желательно королевских сортов.

А девушка за прилавком даже не улыбается. Даже глаза не веселеют. Я уж не говорю про ответную шутку – скажем, королевский табак будет только на следующей неделе. К сожалению. Нам его обычно доставляет сам гофмейстер. Или, на худой конец, главный поставщик двора. Приезжает в ландо, запряженном четверкой вороных.

Нет, ничего такого. Отворачивается и смотрит на полки.

– Тогда косичку обычного, – бормочу я и достаю кошелек. И конечно, со свойственной мне ловкостью рассыпаю монеты, они катятся по всему полу. Встаю на четвереньки и собираю – ей, наверное, кажется, я похож на свинью, только что не хрюкаю. Потом высыпаю медные кружочки на прилавок.

И на этом все.

Когда тишина вокруг становится невыносимой, я иду к реке. Лучше всего к вечеру, когда переделаны все дневные дела, когда и люди разошлись по домам, и коровы вернулись в коровники.

Забираюсь на один из камней – он торчит из воды, раньше его видно не было, появился, только когда сошел весенний паводок. Совсем рядом бежит река. Даже не рядом – река бежит со всех сторон. Она похожа на стекло, на окна в пасторской усадьбе. Вечный стеклянный пол плывет и плывет, пока у порогов не разбивается, разбрасывая пену, в мелкие осколки. Порог – как открытая рана на нежной коже воды, и через эту рану на поверхность выплескиваются ярость и грозная сила. Неумолчное, угрожающе булькающее рычание порога словно предупреждает об опасности. Из водоворотов выглядывают ухмыляющиеся черепки камней, а пройти такой порог на плоскодонке под силу только опытному гребцу. Отклонился на волосок – и пиши пропало.

А потом все успокаивается. Река стихает и вновь превращается в стеклянный пол. Лишь иногда взъерошивают ее редкие порывы ветра. Отошел немного – и стихает грозный рев, река залечивает раны. Раны быстро заживают, но скрытая под стеклянной кожей темная ярость никуда не делась. Она там всегда.

Река уносит из души весь мусор. Я балансирую на скользких камнях, и томительная тревога постепенно улечивается. А может быть, река и есть самая точная модель жизни? Душа... она же не рождается, не исчезает, она просто есть – как река. Река думает за меня. Помогает выстоять. Иногда кажется, будто я засушен навсегда, как стебель в гербарии, а река возражает: ничего подобного. Все в движении, никто нигде не засушен, ничто ни к чему не приковано. Все изменяется. И если долго смотреть на реку, начинает казаться, что и я превращаюсь в воду. Это волшебное ощущение. Как река, лежу я во всю свою длину, а берега по обе стороны вздрагивают и приходят в движение. Мимо меня медленно плывут древние леса и непроходимые болота. Я обнимаю белесое, точно створоченное, небо и закрываю глаза.

Белая ночь.

Пусть так и будет.

Вот эту картину и пробую я вызвать по вечерам, когда не нахожу себе места от непонятной тревоги. Мимо проплывают мягкие, едва различимые облака, я закрываю глаза и стараюсь не шевелиться.

Сонное бормотание реки лечит и успокаивает, оно заглушает даже непрерывное визгливое жужжание миллионов комаров.

Я часто думаю, как отблагодарить проста за мою жизнь. Он – мой создатель. Он прикрепил меня к времени, и после этого я стал человеком. Мое имя вписано в церковную книгу, и теперь оно никогда не будет забыто. Нет ничего худшего, чем быть забытым еще при жизни. Прожить жизнь, не будучи освященным буквами. Буквы – как гвозди, выкованные руками валлонского кузнеца. Сначала раскаленные, только что вынутые из ревущего пламени горна, они постепенно проходят все стадии белого и красного каления и становятся черными и прочными.

А иногда я думаю о буквах как о растениях. Они похожи на старые стволы, пережившие все беды, которые только могут выпасть на долю несчастного дерева, – ветры, ураганы, пригибающие к земле снегопады. Я думаю об измученных соснах, о скрученных березах, зацепившихся за острые камни на склонах гор. Вот они, буквы! Черные сучья усердно записывают свои невеселые воспоминания на серой бумаге неба. Иногда похоже на «л», иногда на «к» или «р». И, если постараться, если не торопиться, наверняка можно прочитать множество интересных, печальных и странных историй.

В то лето, когда меня записали в книгу... в то лето я сидел на обочине проезжей дороги, избитый, весь в нарывах и с пустым животом. Изредка мне кидали воняющую прогорклым салом кость или изжеванный комок табака. Табак даже лучше – его можно сосать, и тогда забываешь про голод.

А этого я заметил издалека, и мне почему-то стало страшно. Что-то было в его походке, будто он скрывается от кого-то. Грубый домотканый кафтан, длинные нечесанные волосы. Его можно было бы принять за обычного бродягу, если б не глаза. Все время смотрел по сторонам, то туда, то сюда, внимательно и настороженно. Иногда вставал на цыпочки, искал что-то в листве, а иногда нагибался и срывал какой-то цветок или стебель. Мне становилось все страшнее. Я, пятясь, залез в заросшую травой придорожную канаву: надеялся, не заметит.

Но он заметил.

На всякий случай я протянул ему ладонь для подаяния. Слегка привстал, чтобы в любой момент сорваться с места и убежать.

– *Onkossullanälkä?* – спросил он по-фински. Я не ответил, и он повторил по-саамски: – *Leagonealgon?* Ты голоден?

Я понимал и тот и другой язык, но боялся, что он начнет меня бить. Моя грязная протянутая рука задрожала, но я заставил себя не убирать ее. Он покопался в своей котомке, достал потемневший берестяной кузовок и сунул туда палец. Когда он его вынул, к пальцу прилипла какая-то желтоватая клейкая масса. Я попробовал отлепить эту массу, но он не дал, поднес палец и размазал мне по губам. Я непроизвольно слизнул, и что-то во мне произошло. Небо запело. Он подождал, пока я вновь открою рот. На этот раз я даже не слизнул, а ухватил губами почти весь прилипший к пальцу комок и, закрыв глаза, прислушивался, как он тает, наполняя мой рот неземным блаженством. И тут уже ничто не могло меня удержать, я, как молочный теленок, дочиста обсосал весь палец.

– Вкусно? – спросил незнакомец.

Неправильное слово. Я в жизни не пробовал ничего вкуснее. Я даже не предполагал, что в мире может существовать нечто подобное.

– Называется «масло». *Voita*.

– Еще... – прошептал я по-фински.

Он пристально посмотрел.

– Как тебя зовут?

– Юсси.

– Кто твой отец? *Mikäsinun isän nimi on?*

Я уставился в землю.

– А сколько тебе лет? Думаю, девять... Или десять?

– Я не знаю.

– Не знаешь?

Я молча помотал головой. Он наклонился ближе. Я зажмурил глаза и втянул голову в плечи, ожидая удара. Но удара так и не последовало. Он погладил меня по голове и ласково прикрыл маленькое ухо.

– А ты знаешь, кто есть истинно блаженные? Кто уже сейчас готов к Царству Небесному?

Я покачал головой, не открывая глаз.

– Дети, – коротко сказал он.

Никто и никогда мне ничего подобного не говорил. Я осторожно открыл глаза. Его лицо было совсем близко, он смотрел на меня

спокойно и внимательно. Бледно-голубые глаза с саамской зеленью. Как ручьи. Как горы вдали.

В тот вечер я впервые спал в настоящем доме. Мне приходилось ночевать на сеновалах, в лачугах пастухов на лесных выпасах, в саамских куваксах^[7], в ямах и заброшенных землянках, а иногда и просто в лесу под елью. Но никогда – в курных домах. Поначалу я отказывался – лучше пойду в сенник, но он даже слушать не захотел.

В кровати я ни за что не мог уснуть, брыкался и метался, пока прост не догадался постелить мне на полу.

В избе жили двое стариков, знакомые проста, они долго сидели и разговаривали после ужина. Тихо, обыденно и задушевно. А я завернулся в колючее одеяло и удивлялся: все съеденное грело меня изнутри, как лампа. Весь вечер прост допытывался, откуда я взялся, кто мои родители, но я ничего не мог ответить. Брожу по дорогам, вот и все. По одежде он решил, что я саам, но как можно быть уверенным? Юсси – финское имя, и ты говоришь не только по-саамски, но и по-фински!

Я незаметно уснул. Никогда в жизни так не засыпал – в тепле, на сытый желудок, не натягивая на лицо что попало от комаров. Даже палку с собой не взял на случай, если появится какая-нибудь одичавшая собака. Мне казалось, я плыву в лодке по большому неподвижному озеру. Лежу на дне, заложив руки за голову, и смотрю на небо. Облака тоже куда-то плывут... нет, не куда-то – они плывут, как и я, к горизонту. Кто-то, я не вижу кто, сидит на веслах и гребет так равномерно и спокойно, как может грести разве что ангел. Повернул голову – так и есть, ангел. И в самом деле ангел: от него исходит тихое, почти незаметное, но все же ясно различимое сияние.

Я даже решился спать на спине, хотя всем известно – ничего опаснее нет. Спать надо на животе. Живот у человека – самая мягкая часть, мягче нет, его легко проткнуть ножом или клыками. Но здесь-то, в крепком деревянном срубе, – чего мне бояться? Где эти заболоченные берега, где запросто встретишь и рысь, и росомаху, и даже медведя?

Бояться нечего, достаточно только посмотреть на гребца: этот тихо светящийся гребец проведет лодку по любым порогам. Сомнений нет.

И я заснул, как ребенок... а кто же я? Ребенок и есть, я только сейчас понял. Скольжу в неведомой пойме с ангелом на веслах.

Не знаю, сколько времени я спал, но меня внезапно охватил ужас. Я широко открыл глаза и, не поворачивая головы, сообразил: грозит смертельная опасность. Я не могу двинуть ни рукой ни ногой. Хижина в полутьме – потолок, стены, мебель, – но все не так, как было с вечера. Передо мной возникает громадный лев. Ужасная пасть открыта, а могучая лапа занесена для последнего удара.

– *Rauhoitu*, – шепчет лев и вместо смертельного удара гладит меня по щеке. – Успокойся, успокойся, малыш...

Прост ложится рядом со мной, лицом к лицу. Он большой и теплый.

Кладет руку на плечо.

– Ты кричал во сне. Вертелся и кричал.

Я прохрипел что-то – язык не слушался.

– Я с тобой. Они до тебя не доберутся.

– Нет... ничего... я так.

– Кого ты видел? Медведя? Испугался, наверное?

Я дрожал всем телом, мне хотелось вскочить и убежать, снова брести по лесам и болотам, но он крепко меня держал, а вырваться я не решился.

– Тихо, тихо, мой мальчик...

От него пахло табаком и селедкой. Он устроился поудобнее. Вернее, не устроился, а залег – так, чтобы отрезать мне все пути к бегству. Как будто рядом лежит вол. Деваться некуда.

Утром рядом со мной никого не было. Хозяйка громыхала дровами – готовила кашу. По ее взгляду я понял, что всю ночь не давал им спать. Прибежал дворовый пес, уверенно обнюхал мне щеки и колени. Я поспешил во двор и встретил проста – он как раз выходил из отхожего места, застегивая на ходу брюки.

– Пойдешь со мной, – коротко сказал он.

Я промолчал.

– Сначала поедем, потом пойдешь со мной.

Это был немалый путь – до пасторской усадьбы в Каресуандо. Он провел меня в дом – я никогда не видел ничего подобного. Вдоль стен стояли полки, а на полках – непонятные, обтянутые кожей предметы; именно тогда я впервые в жизни увидел книги. Он достал одну, открыл и начал осторожно листать плотно исписанные страницы.

– Сколько же тебе лет? – задумчиво спросил он сам себя. – И как тебя зовут? Может, ты и не Юсси вовсе. Может, тебя окрестили Юханом? Или Йосифом?

Страницы в книге были настолько белы и заманчивы на вид, что мне захотелось их потрогать. Разделены на колонки, а в каждой колонке – ряды закорючек. Прост внимательно перелистал книгу и взял другую.

– А как же звали твоих родителей? Отца, мать? Должен же ты помнить хотя бы их имена.

Я молча покачал головой.

– А где ты... кто тебя вырастил?

– Ведьма.

Его рука замерла, так и не перелистнув очередную страницу.

– Ведьма? – Он пристально уставился на меня.

– Ведьма.

– А как ее звали? Даже у ведьм бывают имена.

– Си... Сиеппи...

– Сиеппи? Она лапландка?

Меня вдруг начал бить озноб.

– Они не люди, – тихо сказал я.

Прост прокашлялся. Повертел в руках табачный нож и принялся листать дальше.

– На вид тебе девять-десять лет. Но я тебя нигде не могу найти. Ни в одной церковной книге. Так продолжаться не может.

Я не сказал ни слова. Что на это ответить? Можно согласиться. А можно и спросить: а почему?

– Твое имя Юхан. Можно продолжать звать тебя Юсси, но твое имя при крещении – Юхан. Юхан Сиеппи.

– Только не Сиеппи!

– Ну хорошо. Сиеппинен. Юхан Сиеппинен.

Впервые я увидел, как прост улыбается. Он открыл крышечку на чернильнице и обмакнул перо. Подумал, отложил и налил в стеклянную миску немного воды из кувшина.

– Ты хочешь обратиться в христианскую веру?

– Ну.

– Ты должен отвечать: да, я хочу обратиться в христианскую веру.

– Да, хочу.

– Обратиться в христианскую веру.
– В христианскую веру.
– Тогда проводим обряд крещения. Во имя Отца, Сына и Святого Духа нарекаю тебя Юханом.

Холодная вода полилась по щекам и за ворот. Прост вытер мне голову рукавом и посмотрел так ласково, что у меня защипало глаза.

– И в какой день тебе хотелось бы родиться, Юсси... Юхан? Не так уж и многим выпадает счастье выбрать свой день рождения. Предлагаю день вчерашний, двадцать девятое июня. День, когда мы встретились. И еще вот что: в тот же день, двадцать девятого июня, тебе исполнилось одиннадцать лет.

Не дожидаясь ответа, он открыл книгу в самом конце, где были еще пустые страницы, и начал писать, приговаривая:

– Я записываю тебя как временно находящегося в приходе. Значит, так... Юхан Сиеппинен... родился... двадцать девятого июня... тысяча восемьсот... восемьсот тридцать первого года.

Он показал мне строку, исписанную тонкими, еще отливающими золотом непросохших чернил закорючками.

– Теперь ты существуешь, Юсси. Теперь ты наконец существуешь.

Моя возлюбленная... Она идет мне навстречу. Никак не могу отдышаться – я завидел ее издали и пробежал через луг, чтобы встретиться ей на дороге. Но стараюсь казаться спокойным, изображаю улыбку. А что? Обратиться к ней легко и непринужденно, и она наверняка остановится со мной поговорить. Или хотя бы задержится на несколько мгновений. А может, всего лишь встретит ее взгляд, посмотрит в ярко-голубые глаза. Или пошутит и увидит ямочки улыбки на гладких атласных щеках.

Она приближается, у нее в руке большое ведро – наверное, с молоком. Тонкая железная ручка впивается в ладонь, иначе она не меняла бы руку каждую минуту. А тело изогнуто в противоположную сторону, надо же как-то уравновесить тяжелое ведро.

Я пытаюсь придумать что-то – что-то легкое и смешное, но сердце бьется так, что подташнивает. Чем ближе она подходит, тем хуже. В глазах мутнеет, и горло сжимает так, что трудно дышать. Так близко мне никогда не удавалось к ней подойти, разве что в церкви – там такая толкотня, что все чуть не трутся друг об друга. Мелькает малодушная мысль – убежать. И в то же время я понимаю: исполняется давняя мечта – встретиться с ней на пыльной деревенской дороге. Она уже совсем близко. Видит меня, но отворачивается и смотрит в канаву – может, поэтому и не отвечает на мое невнятное приветствие. Опять перекладывает ведро в другую руку... вот он, мой шанс. Помочь ей нести ведро – и я смогу пройти с ней до дома, а то даже и поговорить удастся.

Протягиваю руку, успеваю пробормотать «позвольте»... и берусь за ручку ведра.

– Позвольте... – бормочу я.

Она внезапно пронзительно визжит и вырывает ведро. Я успеваю заглянуть ей в глаза и с ужасом вижу: они не голубые, а черные. Зрачки так расширились от испуга, что заняли всю радужку. Губы сжаты в узкую, похожую на кинжал, полоску.

Поспешно отпускаю ручку, но она тянет ведро к себе так сильно, что теряет равновесие и спотыкается. Ведро падает, и вместе с водой на траву серебряным потоком скользит рыба. Только что выпотрошенная щука, пара окуней и крупный хариус. Я чувствую, как мое лицо наливается кровью от стыда, и нагибаюсь, чтобы вернуть улов в ведро, но она со всех сил толкает меня в грудь.

– Эй, ты! Ты что там делаешь? – Грубый окрик.

– Он ко мне пристает!

Я сижу на корточках со щукой в руке.

– А ну брысь отсюда! – Невесть откуда взявшийся парень снимает ремень с большой медной пряжкой и начинает угрожающе им размахивать.

Сую щуку в ведро. Я знаю этого парня – Руупе, конюх заводчика Сольберга. Здоровенный, широкоплечий, с рыжими усами. На голову выше меня. Я, словно кошка, вскакиваю на ноги. Руупе известен своей задиристостью, но я ни секунды не сомневаюсь: сейчас я его уничтожу. Надо нагнуться, броситься на него, всей тяжестью боднуть в живот, а когда упадет, молотить кулаками, пока мерзкая рожа не

превратится в кровавую кашу. Удар молнии – и вся боль, вся изношенная варежка моей души, весь мой стыд превратились в слепящую ненависть.

И он это заметил. Засомневался. Со свистом покрутил в воздухе ремнем.

Один раз ты успеешь меня ударить, но после этого тебе не жить.

– Да он просто попрошайничает! – крикнул Руупе. – Ходит и попрошайничает.

Ах, как хотелось бы мне ответить – что-то резкое, остроумное, убить его наповал, хотя бы словом. Но ничего не приходит в голову. Меня внезапно охватывает равнодушное спокойствие. Запал исчез. Смотрю, как моя возлюбленная держит перед собой ведро. Обеими руками, как щит. Бойтся, что я на нее нападу.

Я молча ухожу. А когда мне захотелось еще раз на нее посмотреть, я обернулся и увидел: Руупе несет ее ведро и они о чем-то разговаривают.

Он громко смеется и награждает меня презрительным взглядом. И она тоже.

Руки мои в щучьей слизи. Грудь болит – она толкнула меня довольно сильно, как раз в область сердца.

Подношу руку к лицу и ощущаю сильный рыбный запах. Потом осторожно прикладываю губы к наружной стороне мизинца – туда, где наши руки встретились, когда я пытался помочь ей с ведром.

Первое, на что я обратил внимание, – запах дыма. Чужой, незнакомый запах, не из тех, что встречаются каждый день. Словно яркое пятно на серо-рыжем фоне. И пахло, похоже, из пасторской усадьбы. Чалмо стояла на крыльце, опустив голову и прижав уши, будто только что получила выволочку. Сначала я решил, что запах идет с завода – тлеющий можжевельник, смола и, может быть, ружейный порох. Подошел к двери и замер. Еще есть время уйти, рвануть отсюда, как уходит лось, почуяв опасность. Исчезнуть среди болот, как призрак, оставив за собой серое молчание. Но во мне есть что-то лисье. Меня привлекает неизвестное, каждый раз начинается борьба

между страхом и любопытством. Любопытство бежит впереди, подпрыгивает, высовывает свой длинный нос и заставляет делать вещи, которые я, подумав, не сделал бы ни за что.

Толкнул дверь и вошел в дом.

А в доме ничем больше и не пахло – только этим странным дымом. Лишь теперь я понял – табак. Но не тот, которым прост набивал свою трубку. Темно-коричневый, довольно толстый, больше полудюйма, цилиндр длиной в ладонь с раскаленным алмазом на конце. В жизни не видел такого приспособления для курения. Цилиндр сжимали невероятно длинные пальцы – в них уж точно больше суставов, чем в обычных крестьянских, коротких и корявых, пальцах. Могучие руки через рукава синей, цвета индиго, рубахи переходили в широкую грудь, странным образом одновременно жирную и мускулистую. А грудь – во впечатляющий живот, главный козырь этой странной фигуры. Он сидел в кресле, в лучшем кресле, в котором никому, кроме проста, сидеть не дозволялось. А он вот сидел, даже не сидел, а развалился. И не пренебрегал ни одним из удобств, предоставляемых этим замечательным креслом: полированной спинкой, мягко изогнутыми подлокотниками, подножкой, на которой так славно отдыхают пятки.

Но самое удивительное – губы. Как у девушки – ярко-красные, только не окрашенные. Вернее, ярко-красная только верхняя, вылитый лук Амура, а нижняя потемнее, как только что извлеченная оленья печень. И они, эти губы, все время двигались. Сквозь заполнивший весь кабинет, сквозь этот чужой, но приятный и волнующий запах звучал удивительно красивый, да что там – почти ангельский голос.

Я никогда даже не слышал, что бывают такие красивые голоса. У мужчин в наших краях голоса совсем другие – грубые. Иногда визгливые – когда, к примеру, надо прикрикнуть на лошадь или отругать ребенка. Или тихие, безжизненные – например, за ужином после тяжелого дня. Но никто никогда и нигде не говорил так, как этот незнакомец. Поначалу мне показалось, что он поет, настолько ясно угадывалась какая-то прихотливая мелодия. Но нет – не было ни ритма, как у песни, ни рифмы. И это был не йойк^[8] – слова не саамские и не финские. Наш посетитель говорил на языке королей и епископов. Этот язык можно услышать на ярмарке или от какого-

нибудь приезжего. Станный, певучий и подпрыгивающий язык называется шведским – это я уже знал.

Прост сидел и молча слушал. Изредка задавал вопрос, иногда возражал – тогда возникала короткая пауза. Гость набирал воздух и продолжал тем же мелодичным голосом, только чуть быстрее.

Мне нравятся низкие, грудные женские голоса. Некоторые девчонки, завидев парней, начинают чирикать, как воробьи. А у мужчин, наоборот, самые некрасивые голоса – низкие. Как заросший лес, куда свет вообще никогда не попадает. Но у этого – солнечная поляна. Более того – высокая гора с необозримым видом на все четыре стороны. Мне вспомнились орлы, короли птичьего мира, с их неправдоподобно высокими голосами.

И голос гостя тоже парил, как орел. Не то что у наших соседей. У тех голоса, как у горных вьюрков, – отрывистые и скрипучие, будто с каждым словом выплевывают порцию табака.

И все время, что он выделял упражнения со своими голосовыми связками, серый столбик пепла на его курительном цилиндре рос и рос, покуда не оторвался, не упал на пол и не рассыпался невесомыми серебристыми молями.

Пока он говорил, то смотрел в потолок, будто оттуда рассчитывал почерпнуть силу убеждения. Дочь проста Сельма глянула на гостя как замороженная. Она, как и я, в жизни не слышала ничего подобного. И на Бриту Кайсу он тоже произвел впечатление, хоть та и сидела у очага, повернувшись к говорящему спиной. В отличие от меня они понимали язык. Даже украдкой смеялись, когда он шутил.

И вдруг его передернуло, словно по телу прошло небольшое землетрясение. Кресло жалобно скрипнуло. Он пристроил свой удивительный курительный прибор на краю парадной тарелки с остатками еды и тяжело потянулся за своей поклажей. И поклажа была необычной – не торба, не рюкзак, не мешок, а какой-то четырехугольный ящик, похожий на очень низкий сундук с ручкой сбоку. Устроил его на коленях и открыл блестящий замочек. Все это он проделал до крайности элегантно, точными, наверняка заранее отрепетированными движениями. Все замерли в ожидании. Гость открыл крышку, подбитую изнутри клетчатыми обоями, и достал из сундучка длинный рулон, перевязанный блестящей алой лентой. Он развязал узел своими на удивление тонкими и многосуставчатыми

пальцами и начал разворачивать сверток. Медленно открывалась шероховатая, но при этом странно блестящая поверхность, на темном фоне вспыхнули яркие цвета – и вдруг я увидел уставившиеся на меня глаза.

Я вздрогнул. Не сразу сообразил – лицо. Лицо женщины. Волосы собраны в высокий узел, скрепленный сверкающей заколкой, кожа на шее такая светлая, что иногда кажется совсем белой. А какое платье! Темно-красное, оно облегает тело женщины красивыми складками. Левая рука ее придерживает непонятный и по виду очень сложный инструмент, а правой она бережно ласкает струны тонким изящным смычком. Я не знал, как этот инструмент называется, – золотисто-коричневое лакированное дерево, силуэт, напоминающий женскую фигуру.

А глаза! Ясные и в то же время затуманенные далекой мечтой, будто она спит. Нет, не спит, конечно, – погружена в музыку. И вот что удивительно: мне показалось, будто я слышу эту музыку, понимаю, вижу в ее глазах все, что она переживает, эта незнакомая женщина, погруженная в далекий и волшебный мир.

Гость, оказывается, рисовал портрет в Хернесанде – это и я понял, хотя почти не знал шведский язык. Женщина, игравшая на музыкальном инструменте, наверняка, я был почему-то уверен, – наверняка выглядела именно так, как на портрете. А инструмент, как он объяснил, называется селло^[9]. Я повторил несколько раз – «селло, селло, селло». Мне хотелось запомнить это слово, чтобы оно всегда было со мной. Селло.

И тут я непроизвольно вздохнул. До меня вдруг дошло, что передо мной сидит гений. Все, что он делал, все, что говорил, его картина, фигура, движения ошеломили всех, кто был в комнате, – проста, Сельму, Бриту Кайсу. Этот человек показал мир, о котором я даже не подозревал, что он существует. А он, возможно, и не существует – но, представьте, я-то его видел! Благодаря его таланту я видел этот загадочный мир так ясно, что кончики пальцев ощущали сладкую, волнующую щекотку от прикосновения к каждой складке платья играющей на селло женщины.

И наконец, гость перешел к делу. Решительным жестом выставил на толстенную, финской работы, сосновую столешницу бутылку с прозрачной, чуть желтоватой жидкостью. Открыл пробку и дал детям

понюхать. Те понюхали, сморщили носы и засмеялись; даже я почувствовал острый, смолистый запах. Рядом выставил миску и круглую фанерку – на ней всеми цветами радуги переливалась засохшая краска. За ними последовало множество баночек, снабженных крошечными этикетками. А напоследок достал из своего дорожного сундучка еще один сверток, почти такой же, как и первый.

Я ожидал увидеть еще одну картину, но ошибся: кусок сероватого холста был пуст.

Он укрепил его на раме, взял сухую кисть и сделал вид, что рисует. Пальцы и рукоятка кисти составляли одно целое, кисть была словно шестой палец, настолько легко и естественно она двигалась. И на моих глазах рождалась картина. На холсте не было ни единой линии, он рисовал воздухом, но я ясно видел, как появляется лицо, фигура... некий достойный господин, трогает пальцами... что? Охотничье ружье? Нет, что-то не такое большое... намного меньше. Книга псалмов? Постилла?^[10] Я уже видел перед собой всю картину, она должна получиться замечательной. Прост во всем своем величии. Естественно, он за работой, с гербарием, а в руке... что у него в руке? Не ружье, не карандаш... что-то очень маленькое, на вид незначительное, но для него гораздо важнее, чем все остальное. Это, разумеется, недавно открытый им вид *Carex*, осоки, который он гордо назвал своим именем: *Carex Laestadii*^[11].

На проста демонстрация явно произвела впечатление. Собственно, картина уже написана – во всем своем великолепии. Оставалась только техническая работа – но, разумеется, за вознаграждение. Вполне разумное вознаграждение для скромного ремесленника в святом храме живописи. Нельзя сказать, чтобы сумма была маленькой. Сумма, вообще-то говоря, довольно большая. Мало кто в приходе мог позволить себе заплатить такие деньги. Но... сколько стоит вечность? Есть ли что-то более достойное для священника, чем остаться в памяти людей навсегда? Изящными, почти неуловимыми движениями художник сложил живописные принадлежности в сундучок. Его руки... я не мог оторвать взгляд. Длинные, гибкие пальцы лепили, разговаривали, двигались и останавливались с поразительной легкостью и еще более поразительной точностью. Мне казалось, этими руками он может следовать изгибам одного-единственного волоса, а главное –

остановить мгновение, задержать событие в том крошечном отрезке времени, в котором оно произошло.

Последовали взаимные уверения в искреннем почтении. Художник предложил называть его не по фамилии, а по имени: Нильс Густаф. Они разговаривали, как давние и близкие друзья. Насколько я понял, прост попросил дать ему время на обдумывание. Нильс Густаф подчеркнул, что он приехал в Кенгис ненадолго, что он вскоре уедет из этих мест и вряд ли когда-нибудь вернется. Так что всё, как и всегда в этой жизни: ловите случай за хвост.

Художник пошел к выходу. Я встал у него на пути, медленно поднес руку ко рту так, будто держу в ней что-то.

– Как это... как это называется?

Он сначала не понял, но буквально через секунду лицо его просветлело и он засмеялся – так же музыкально и легко, как разговаривал.

Теперь у меня два новых слова. Главное, конечно, селло. То, на чем играет женщина на портрете. И второе – та штуковина, которую он, пуская кольцами ароматный дым, держал в руках во время разговора с простом. Эта длинная, коричневая, медленно тлеющая палка.

Она называется вот как: сикарр.

Прост не находит себе места. Я устроился в углу и наблюдаю, как он читает полученное этим утром письмо. То и дело вскакивает, хватается трубку – и с гримасой раздражения каждый раз убеждается, что погасла. Ковыряется в табаке, пробует раскурить, кладет на стол и вновь принимается читать. Время от времени подносит письмо к окну – все чаще жалуется, что плохо видит в темноте. Но потом никотиновая тоска берет верх. Он откладывает бумагу и берется за дело всерьез: режет табачную косичку и торопливо набивает трубку черно-желтыми душистыми чешуйками.

– Значит, теперь и епископа Юэлля в это дело втянули. Ты его знаешь, Юсси?

– Нет.

– На северном берегу. Благодать Пробуждения доходит и туда, только не все тому рады.

– В каком смысле?

– Народ же перестает спиваться, Юсси! Кабатчики теряют барыши, и немалые. И многие их поддерживают. Вот, к примеру, тот самый Андреас Квале, о котором они пишут.

– Я такого не знаю.

– Враг Пробуждения. Сельский пастор. До того как началось Пробуждение, такие, как он, могли тут творить что угодно. Но теперь этому конец. Он проповедовал в Шервё, так что ты думаешь? Туда явились новообращенные с протестом. Кричали во время службы – мол, если ты пастор, то и живи как служитель Божий. Даже не так: живи как христианин. А он, вместо того чтобы прислушаться к их словам, велел выкинуть нарушителей покоя из храма. Аслак Хаэтта, Уле Сумбю, Расмус Спейн, Эллен Скум и кто-то еще. Ты их знаешь?

– Это оленеводческие семьи в тундре.

– Да... а на следующий день Квале должен был служить литургию. Саамы собрались у врат храма и призывали прихожан не ходить на службу.

– Из-за пастора? Неправильный пастор?

– Вот именно! И что сделал пастор? Велел запереть саамов в церковном сарае до конца службы, а потом написал донос фогту.

Он понемногу успокоился, сел за стол и, яростно дымя трубкой, начал писать воскресную проповедь. Ворчал про себя, что-то вычеркивал, что-то дописывал. Губы его непрерывно шевелились – я ясно видел, как он ищет нужные слова, заостряет и шлифует, как охотник заостряет и шлифует свои стрелы. Вид у него был такой, будто он уже стоит на кафедре и произносит пламенную проповедь.

Внезапно он прервался, посмотрел на меня и прочитал:

– «Благочестивые шлюхи и благородные воры, трезвые пьяницы и честные кабатчики, вы все, собравшиеся здесь, перед крестом Господним! Перед службой вы здесь же, на церковном холме, пили дьявольскую мочу – и, думаете, Господь не видит? Несчастные, неужели не замечаете вы, неужели настолько отупели и не чувствуете, как змеи порока извиваются в вашем теле, черные и блестящие, с раздвоенными языками...»

Я молча кивал после каждой фразы. Язык для учителя был не просто средством общения и понимания. Слова его впивались в душу, как железные дротики, они были инструментом, приспособлением, гвоздями, и с помощью этих гвоздей он рассчитывал сколотить лестницу, ведущую к воротам рая. Но и не только – его грозные слова, как занесенный нож мясника, заставляли грешников выбегать из церкви в корчах и блевать в сугроб. Он мог простыми, незамысловатыми фразами расколоть валун или, что еще труднее, обратить в горькие слезы дикарей.

Он заполнил лист, перевернул бумагу, но обратная сторона оказалась уже исписанной. Поискал на столе, нашел какую-то квитанцию и начал лихорадочно заполнять пустую сторону, стараясь не оставлять полей. Бумаги часто не хватало, привозили редко и нерегулярно, и стоила она не по чину дорого. Если бы я хотел что-то подарить учителю, непременно подарил бы бумагу. Положил бы рядом с чернильницей стопку чистой, ровно нарезанной бумаги. Бумаги, готовой принять в свои объятия его мысли.

Чернила сплошь и рядом тоже скверные, частенько просту приходится делать их самому из сажи или ржавчины, которую он сам и соскребал. Летом легче – летом он делал неплохие чернила из

черники. Неужели король в Стокгольме не может послать ему готовую тинктуру?^[12]

Но прост не жаловался. Доставал нож и чинил перо, придавая ему им самим изобретенную форму, позволяющую избежать налипших комков самодельных чернил и, разумеется, клякс.

Он опять встал. Посмотрел в окно на луг, резко повернулся и вышел, играя желваками. Его все время что-то выводило из себя. Главным образом – состояние общины. В приходе жизнь едва теплилась, люди жили под гнетом беспросветной бедности. Даже не бедности – нищеты. Воскресенье за воскресеньем вставал он на кафедру и пытался сеять семена духовного возрождения на этой бесплодной скале, что доводило его до исступления. А может, ему просто надоело проповедовать одним и тем же ойкающим тетушкам, то и дело впадающим в *liikutuksia*, религиозный транс, и со слезами на глазах вымаливающим искупление грехов. А между тем если и есть в приходе истинно набожные и почти безгрешные существа, то это именно они. Пробуждение замедлилось, огонь, зажженный простом в Каресуандо, потихоньку угасал. Охвативший прихожан жар немедленной благодати остывал на глазах.

Ни слова не говоря, пастор натянул сапоги. Я не знал, возьмет ли он меня с собой, но я-то всегда наготове. Прodel руки в ремни рюкзака, взял старую ботанизирку, куда складывал растения для гербариев. Брита Кайса спросила, когда его ждать, но он только отмахнулся. Она начала было возражать – мол, сейчас разгар лета, в усадьбе полно дел, но он уже не слышал ее упреки. Взгляд, устремленный к горизонту, – прост уже не с нами. А когда он схватил свой посох, я понял: день будет долгим.

– Мне идти с вами? – осторожно спросил я.

Он молча кивнул.

Мы быстро прошли деревню. Люди занимались своими делами, но, завидев священника, отрывались от работы и кланялись. Он неохотно кивал в ответ, даже не столько неохотно, сколько, я бы сказал, отрицательно – ему не хотелось задерживаться и тратить время на пустую болтовню.

Прост немного успокоился, только когда мы миновали село и вышли на дорогу. Пару раз останавливался, изучая чем-то приглянувшиеся ему кусты ивняка. Осторожно трогал края листьев

ракиты, даже достал лупу и с минуту рассматривал волоски. Но это так, по пути. Несколько раз мы отдыхали, если это можно называть отдыхом: пили воду и мазались дегтярной мазью от комаров. Я ни о чем не спрашивал, только на одной из таких остановок взял у него тяжелый рюкзак и взвалил на плечи. После этого он пошел еще быстрее.

Вскоре мы сошли с дороги и углубились в лес.

Когда я понял, куда он направляется, мне стало не по себе. Мы шли по той же тропе, что и Хильда Фредриксдоттер, когда на нее напал медведь. Вышли на поляну, и прост остановился. Вытер лоб, а заодно и протер глаза – наверное, чтобы лучше видеть. Следы уже почти исчезли, примятая трава поднялась. Косынку и бидон унесли. Только серо-черный, будто пыльный, круг выделялся среди яркой травы – след давно погасшего костра.

Прост нагнулся и приложил руку к земле там, где она сидела, будто рассчитывал уловить тепло ее тела. Морщинка на лбу стала глубже. Время от времени он обводил глазами поляну, словно сомневался, всё ли заметили, когда прочесывали лес.

Наконец поднял голову.

– *Maavettää*... Земля притягивает, – пробормотал он. – Думаю, всем, кто любит бродить в лесу, знаком этот феномен. Мы собираемся в лес на прогулку, хотим просто погулять, без всякого плана, идем и идем, без всякой цели. То есть даем волю ногам – пусть топают куда хотят. Ты понимаешь, о чем я?

– Само собой.

– Ты идешь без всякой цели, ни о чем не думая. И вдруг обнаруживаешь: вот тебе и раз! Вышел на оленью тропу. Как это может быть?

– *Maavettää*, – повторил я его поговорку.

– Вот именно. Земля притягивает. Это своего рода магнетизм. Человек идет туда, где природа хочет его увидеть. Не только люди – олени, коровы, лоси... все, что может передвигаться. Мы подсознательно ходим по одним и тем же тропам и даже не думаем почему...

Прост медленно, как стрелка компаса, повернулся на пол-оборота и показал рукой совершенно в другом направлении, чем шла ватага, прочесывающая лес.

– А там что?

– Болота. Сплошная топь.

Он встал и сделал несколько шагов. Здесь прошли коровы, хвоя придавлена копытами, некоторые кусты обглоданы. Прост шел, стараясь ступать там, где ступал скот, и все время блуждал взглядом. Попросил меня идти в десяти шагах слева. Сказал, что так быстрее искать. А что искать? Он не сказал, а я и понятия не имел, что мы ищем.

Ельник заметно поредел, земля сочилась темной, остро пахнущей влагой – дальше шло настоящее, густо заросшее осокой болото. Здесь недавно косили траву – видно, что стебли срезаны, а сено сложено в полусгнивший сарай неподалеку. Прост двинулся по хлюпающей земле, и мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Без ступняков^[13] по болотам ходить плохо – пару раз мы проваливались чуть не по колено и с опасением поглядывали, как покачиваются надежные с виду кочки. Один неверный шаг – и тебе конец.

Прост внимательно смотрел под ноги и проверял каждый шаг. Наконец мы добрались до сарая и выдохнули с облегчением. Почти сразу заметили след от костра – наверняка здесь обедали косцы. Постелили еловые ветки, чтобы не сидеть на мокром, хвоя с них уже начала осыпаться. Сушильные рамы прислонены к сараю – до следующего лета. А сам сарай заколочен. Вместо двери – широкие доски, вставленные в специально выдолбленные желоба по обе стороны проема.

Мы с трудом вынули пару тяжелых досок и на четвереньках пролезли в сарай. Все сделано по правилам: в стенах щели, чтобы сено проветривалось, а скошенная осока набросана в рыхлые кучи. И пахнет замечательно – сладковатый, приятный запах лета. Когда болота скует мороз, сено вывезут на санях, и скотине не грозит голодная смерть.

Я хотел было вылезти, но прост удержал меня за рукав и показал на углубление в одной из куч.

– Кто-то сидел, – предположил я.

– Или лежал. – Прост осмотрел вмятину и взглянул на меня: – А ты не мог бы прилечь вон там?

Почему бы не полежать? Я несколько мгновений наслаждался уютом сеновала, но прост не дал мне отдохнуть, велел встать и

принялся усердно изучать оставленную мной вмятину.

– Погляди-ка! – возбужденно воскликнул он.

Я поглядел.

– Эта вмятина глубже моей.

– А почему?

– Мало ли... наверное, потяжелее был. Тот, кто тут лежал, я хочу сказать.

– Ляг на другую кучу.

Не успел я растянуться на сене, как он внезапно бросился на меня, как хищник, и придавил своим телом. Он был тяжелее, чем я думал, и мне стало трудно дышать. Я попытался его оттолкнуть, но он схватил меня за запястья. От него пахло потом, табаком, смолой, небритый подбородок царапал мне щеки.

И вдруг, без всяких объяснений, он встал и начал отряхиваться.

– Что случилось с простом? – задал я дурацкий вопрос.

– Посмотри внимательно, Юсси.

Я немного разозлился, спина чесалась, но он вроде бы и не заметил. Наклонился и смерил ладонью глубину оставленной нами вмятины на сене.

– Видишь?

– Не-а.

– Они одинаковой глубины. Та, что я тебе показывал, и наша.
Вывод: там лежали двое.

И почему он так разволновался? И что? Ну, двое. Отдыхали. Нелегкое это дело – косьба на болоте. А может, какой-нибудь неженатый конюх развлекался со служанкой. Таких грехов у нас тринадцать штук на дюжину, и прост знает это не хуже меня. Тем не менее он опустил на колени и принялся внимательно изучать спрессованное под тяжестью тел сено. Время от времени зачерпывал горсть сухой травы, вздымая облако душистой, мерцающей в сочащемся снаружи рассеянном свете пыли. Растирал стебли в руке, даже рассматривал в лупу.

Внезапно замер и, не поворачиваясь, махнул мне рукой. Я наклонился. В его руке лежали несколько стебельков, испачканных чем-то темным. Прост поплевал на большой и указательный пальцы, растер их и облизнул. Покачал головой и сунул указательный палец

мне под нос. Я вспомнил масло, как давным-давно слизывал его с пальцев проста.

– Чувствуешь? – прошептал прост.

Я кивнул. Сомнений не было.

– Кровь.

Он пробурчал что-то, сунул пучок сена в карман и продолжил поиски. Задумчиво поднял что-то, от меня не видно что, и стал рассматривать, держа совсем близко к глазам. Поднес находку к пробившемуся через щель в стене солнечному зайчику – и в руке его сверкнули золотые нити. Пучок светлых волос, длиной с его предплечье. Непостижимо – как ему удалось их разглядеть в сухой траве.

– Хильда Фредриксдоттер Алатало... ведь у нее светлые волосы? Длинные светлые волосы?

– И?

– Я нашел точно такой же волос в разлитой простокваше. Там, на поляне. Помнишь, Юсси?

И я действительно вспомнил: он что-то нашел, завернул в платок и убрал в карман.

– Прост считает, что Хильда и здесь побывала?

– Здесь не один волос, а несколько. О чем это тебе говорит?

– Не знаю... Может, она... Нет, не знаю.

– Скажи мне, Юсси, что должно случиться, чтобы у молодой девушки выпал сразу целый клочок волос? Объяснение одно: кто-то их вырвал.

В памяти промелькнула картинка давно минувших времен. Как ведьма бросилась на меня и дернула за волосы так, что меня чуть не вырвало от боли. Я зажмурился и долго кашлял, пока отвратительная тошнота не отступила.

Я поморщился от воспоминания, но прост ничего не заметил. Он достал лупу и увлеченно разглядывал волосы.

– Хильда была не одна там, на поляне, где она пролила простоквашу. Кто-то ее навестил. Кто знает – может, они заранее договорились о встрече. Обуянные плотской страстью, они пошли в этот сарай, где их никто не мог видеть. Хильда легла на спину, он устроился на ней и в порыве страсти вырвал у нее клочок волос. Будем считать, что объяснение найдено?

Как я ни старался, все равно покраснел – слишком уж ясно представилась мне картина. Льющийся пот, судорожные, как у зверей, телодвижения.

– Может, ты помнишь – я рассматривал бидон с простоквашей, который она бросила на поляне? Когда пьешь прямо из бидона, на краю всегда остаются следы. И на том тоже были. Следы двух ртов. Я еще тогда понял, что к ней кто-то приходил.

– Но если... а как же медведь?

Прост промолчал. Он с поразительным, непонятным мне терпением продолжал копаться в сене, то и дело морщась и меняя положение, – видно, побаливала спина. Наконец он выудил из копны какой-то стебелек и выпрямился.

– Погляди... странно, правда?

Я посмотрел – сухой стебелек. Маленький, с палец длиной.

– Что? Что именно странно?

– *Cassiope tetragona*. Уж его-то ни с кем не спутаешь. Посмотри на листья.

Я посмотрел. На мой взгляд, и на листья-то не похоже: плотно прижатые к стеблю бородавчатые отростки.

– Кассиопея. Ползучий вереск. *Tetragona* – значит четырехгранная. Посмотри еще раз на листья.

– Да... теперь вижу.

Он аккуратно положил растение в ботанизирку и записал что-то новым графитовым карандашом.

– А что именно странно? – повторил я вопрос.

– Включи мозги, Юсси. Оглядишься вокруг. – Прост явно наслаждался своими знаниями. – Вообще-то в самом растении ничего странного. Ползучий вереск в наших местах встречается на каждом шагу. Но это где шагать... посмотри-ка внимательно. Видишь хоть один цветок?

– Вижу. У вас в руках. Лежал в сене.

Прост улыбнулся. Он так редко улыбался, что я каждый раз удивлялся: улыбка совершенно детская.

– Верно. Лежал в скошенной осоке. А у осоки и у вереска... как бы тебе сказать... разные предпочтения. Вереск предпочитает сухие предгорья. Рассуждай дальше.

– Ну, может, растет где-то поблизости.

– В Кенгисе ни разу не встречал, хотя, сам знаешь, исходил здесь немало. Наверняка явился сюда с кавалером. Прилип к штанам. Или к башмаку, или в карман как-то попал. И выпал, пока они обнимались.

– А кровь?

– Может, он ее ударил... или, возможно, она была девственницей. Порвал девственную плеву.

Прост воздержался от дальнейших комментариев, но я по-прежнему чувствовал во рту привкус крови. При мысли, откуда взялась эта кровь, у меня задрожали ноги, и я прислонился к стене.

– И что нам это говорит? – невозмутимо продолжил прост.

И меня осенило.

– Запах крови! – чуть не крикнул я. – Медведь почуял запах крови, и, когда она шла назад, он ее уже ждал.

Прост, кряхтя, встал, подошел к двери, нагнулся, посмотрел на подернутую ряской воду и произнес вот что:

– А если... – И замолчал.

Ничего не объясняя, нагнулся и начал внимательно осматривать пропитанную влагой землю. Так ищут морошку ягодники.

– Посмотри и ты. Не заметишь ли что-то, что отличается... какое-то необычное растение, или цветок... или что-то.

Без большого желания, в насквозь промокших башмаках я принялся искать медвежьи следы.

Я-то следов не нашел, а прост нашел. То есть он нашел не следы, а то, что искал. Залез в болото чуть не по колено и вдруг ни с того ни с сего пронзительно свистнул – настоящий разбойничий свист. Где он только такому выучился? Наверное, в детстве, в Квикйокке.

Уже не обращая внимания, что штаны промокли чуть не до паха, я поспешил к нему по хлюпающей трясине. Прост стоял, упершись руками в колени, – вид такой, будто у него внезапно закружилась голова. Он показал на более или менее открытый участок. Там торчала какая-то серая штуковина. Я не сразу сообразил, что это деревянный кол, точно такой, как мы видели на сушильных рамах около сарая. Он был так глубоко вколочен, что то появлялся, то исчезал под покачивающейся поверхностью угольно-черной болотной воды. Я бы и не заметил.

Прост взялся за кол и нагнул его. В темном иле виднелось что-то светлое.

Похоже на сено... но в ту же секунду я с ужасом осознал: никакое это не сено.

Человеческие волосы. Длинные женские волосы.

Я был животным. Я и жил, как животное, в постоянных поисках чего-то съестного. Та, что называла себя моей матерью, видела, что я голоден, видела, как я облизываю ручку ее ножа, потому что к нему могли прилипнуть остатки рыбьего жира. Но она только ухмылялась. Валялась на оленьей шкуре, прижимала к груди, как младенца, бутылку перегонного и следила за мной налитыми бессмысленной влагой блуждающими глазами.

Один случай я запомнил, наверное, на всю жизнь. Я сосал давно обгрызенные кости, сухие и блестящие. Они мало чем отличались от речных камней, даже костного мозга не осталось, только осколки, от которых кровоточили мои молочные зубы. Она хихикала и подмигивала, а потом вытащила грудь. Расстегнула кофту и вытащила грудь – не хочешь попробовать? Большая, висячая грудь, она держала ее как мокрую рукавицу. Покачала коричневым сморщенным соском.

– Тут есть кое-что... – пробормотала она. – Ой, вкусненько...

Я до сих пор помню ее желтые зубы, скопившуюся в углах рта густую серую слюну. Она со странным, булькающим всхрипом плюнула в ладонь и потерла сосок. Сосок заблестел и будто отяжелел.

– Ой, вкусненько... – продолжала она бормотать.

Соблазняла.

Я же был так голоден... Я мог бы съесть все что угодно: землю, золу, навоз.

Подполз поближе к ней, к ее кисло воняющему телу, и лег рядом. Она неожиданно цепкой рукой схватила меня за загривок, как котенка, и притиснула к соску так, что я почти не мог дышать. И я взял в рот ее сосок и начал сосать. Поначалу мне показалось, что там что-то есть, скорее всего, телесный жир. Но очень быстро понял, что никакой это не жир – пот и грязь.

Она качала грудью, кисла от смеха и не отпускала меня, хотя я давно перестал сосать. Только прижимала сильнее и сильнее, будто

хотела затолкать обратно в живот. А мне ничего так не хотелось, как оттолкнуться от этого мира, куда я попал ненароком, и исчезнуть навсегда.

В конце концов я что было сил укусил ее за сосок своими молочными зубами. И только тогда ведьма меня отпустила и ударила по темени так, что я отлетел в сторону. Ничего больше не помню – я видел только багровый туман, будто оказался в освещенной адским пламенем пещере.

И даже тогда, когда прот нашел меня на обочине, человеком я еще не был. Но он записал меня в Книгу. Он меня создал. Своими замысловатыми закорючками он втиснул меня в человеческое сообщество.

Поставил как-то передо мной школьный письменный прибор – плоский деревянный ящичек с бортиками, заполненный сухим мелким песком. Палочкой нарисовал гнутую линию и дал мне такую же палочку.

– Изобрази-ка. Насколько можешь, похоже.

Легко сказать! Провести такую же линию, чтобы она была ровной, без остановок и вздрагиваний.

– *J*, – сказал прот. – *Йи*.

– *Йи*, – повторил я.

– Это хорошее «*Йи*», – похвалил букву прот. – С этой буквы начинается имя Иисуса, нашего Спасителя.

Я ничего не понял, но повторил еще раз: «*Йи*».

За *J* последовала *U* – тоже нелегко, эта буква с замысловатым изгибом, не говоря уж о следующей – *S*, которую к тому же надо было повторить два раза, – будто вылитые змеи, пристроились на песке, хорошо, что не кусаются. И последняя буква, *I*, – самая легкая, я нарисовал ее сразу, а что там рисовать? Провел палочкой – и буква готова. Меня никто не спрашивал. А спросили бы – я бы велел, чтобы все буквы выглядели так, как это незамысловатое *I*.

Раз за разом проводил прот дощечкой по песку, стирая написанное, и вот это и было самое интересное. После всех трудов, после кривых и закорючек – р-раз! – одно движение руки, и все исчезло.

– Только что ты был здесь, в этом ящичке, – объяснил прот. – На песке было написано «*ЮССИ*». А теперь мы напишем что-то другое.

Он написал JESUS. В этом слове была буква E, она мне понравилась – никаких загогулин. А J, U и S я уже знал.

Иисус – первое имя, которое я увидел написанным, – кроме моего собственного.

– Теперь твоя очередь выбрать слово, – сказал прост, но мне ничего не приходило в голову. – Напишем «мама»? – предложил он.

Я изо всех сил затряс головой. Только не это слово.

– Тогда вот что. Мы напишем «Мария». Это мать Иисуса. Представь только: и у Иисуса, нашего Спасителя, нашей путеводной звезды в небесах, тоже была мать.

MARIA... Хорошее слово. Почти все буквы прямые, без фокусов.

11

Трудно описать, как переполошились в деревне, когда узнали страшную новость: прост нашел труп пастушки Хильды Фредриксдоттер. Мы позвали на помощь людей с близлежащего хутора и вместе с горсткой зевак вызволили тело девушки. Пришлось повозиться – чавкающий ил неохотно отпускал свою добычу. Девушку положили на наспех сооруженные из вырубленных тут же, в подлеске, хлыстов носилки и отнесли на двор Хейкки Алалехто.

Что это была за жуткая процессия... Шли по узким тропинкам, уворачиваясь от нависающих сучьев. Я не мог оторвать глаз от волос, с них равномерно капала мутная болотная вода. Голова моталась из стороны в сторону и казалась живой, будто хотела сказать: «Не надо! Что вы делаете?»

За все время никто не произнес ни слова. Молча менялись носильщики, молча оттирали затекшие суставы. Отводили глаза, старались не глядеть на утопленницу, и когда наконец добрались до хутора, все почувствовали большое облегчение. У меня было странное чувство, будто я с головы до ног перепачкался в грязи. Я заметил: все, кто прикасался к утопленнице, поспешили к колодцу – мыть руки. Тело положили в бане. Позвали соседку, тетушку Элли-Каарину, – эта почти невесомая старушка знала все ритуалы, все, что надо делать, когда кто-то умер. Элли-Каарина попросила переложить Хильду на доски и велела согреть воды, чтобы обмыть перепачканное в болотном

иле тело. Она начала свои приготовления, и тут прост неожиданно ткнул меня в бок. Мы зашли в баню.

– Надо подождать исправника, – сказал прост тетушке.

Элли-Каарина глянула на него с удивлением, но возражать не стала и пошла в дом, где ее ждало угощение.

А мы с простом остались в бане.

Зрелище, конечно, страшное, но, как ни странно, даже мертвая, девушка была очень красива. Приоткрытый рот, глаза, мутные от болотной воды, смотрят в потолок. Кожа на лице пугающего лилово-голубого цвета, а на запястьях цветущие синяки.

Но волосы – как у ангела, золотистой волной упали на плохо оструганную доску. Я не удержался и потрогал. Женские волосы. Почти такие же, как у моей возлюбленной, только светлее. Значит, вот какие они на ощупь... Я постарался запомнить ощущение, сохранить его для моих фантазий.

Прост довольно грубо отвел мою руку. Сделал шаг назад и несколько раз обошел тело, внимательно вглядываясь то с одной стороны, то с другой. Особенно внимательно приглядывался к пальцам на руке, потом осмотрел грязные ноги. Натоптанные, в мозолях, подошвы. Даже по подошвам можно сказать: эта девушка была пастушкой. Исцарапанные, в свежих и заживших, покрытых бурой корочкой ссадинах – легко ли бродить босиком по нашим зарослям. Под неживой лиловатой маской угадывался загар и белая полоска у корней волос – от косынки.

Прост глубоко вздохнул, снял сюртук и закатал рукава рубахи выше локтя. Достал из рюкзака лист бумаги и карандаш, что-то быстро черкнул и протянул бумагу мне:

– Ты будешь записывать, Юсси.

Я в недоумении уставился на учителя. Шутит он, что ли? Но нет – совершенно серьезен, взгляд острый, нижняя губа поджата. Я торопливо потер ладони о штаны и, когда руки обсохли, принял у него белый лист – легкий, как цыплячий пух. Если бы я его отпустил, наверняка так бы и парил над полом. И карандаш – тонкий деревянный цилиндр с серым графитовым острием. Поднес карандаш к листу и замер – не решался прикоснуться. Карандаш показался мне кинжалом, изготовившимся поранить беззащитную кожу.

– Никому не рассказывай, Юсси. Понятно?

Я кивнул и проглотил слюну – вернее, как будто проглотил. Просто сглотнул, сработали мышцы гортани, и все, никакой слюны. Обжигающая сухость, как если бы рот набили горячим песком.

Прост закрыл банную дверь и сунул под рукоятку метлу – снаружи не откроешь. Пошарил в предбаннике, нашел сальную свечу, зажег и поставил на край банной полки, поближе к голове утонувшей. Прокашлялся и опустился на колени. Я поначалу решил, что прост собрался молиться, но нет. К моему удивлению, он начал шарить у нее в голове. Неторопливо делил волосы на пряди, отделял одну от другой, разглядывал, смотрел на корни, потом брал следующую прядь, от висков к затылку. Даже приподнял голову и повернул – посмотреть, что на шее.

– Вот, – сказал он.

Я нагнулся и увидел небольшую пролысинку.

– Вот, – повторил пастор. – Вот отсюда и выдрали тот клоч, который мы нашли на сеновале. Запиши: повреждение волосяного покрова на темени, на два дюйма выше правого уха.

А сумею я? На лбу у меня выступил пот. Не просто выступил, а потек ручьем, и я еле успел смахнуть с кончика носа каплю, уже изготовившуюся упасть на бумагу. Положил лист на полку, осторожно прижал кончик карандаша к листу и провел неровную, волнистую линию – будто испачкал белую, только что выглаженную простыню. Я старался писать как можно мельче, но буквы все равно выходили крупными и неуклюжими. Строка походила скорее на стадо пасущихся длинноногих лосей. А это слово... нет, оно пишется по-другому. Я напряг зрение так, что буквы начали сливаться, в глазах словно прыгали черные соломинки.

Прост отогнул ворот кофты. Шея выглядела ужасно – сине-черная. Он поднес свечу поближе, рассмотрел повреждения. Приподнял плечо и опустил. Потрогал шею, рассмотрел петли на вороте кофты.

– Петли порваны. На что это указывает?

– Так и записывать?

– Пиши все, что я говорю, Юсси. Скорее всего, девушка защищалась. Пыталась бороться за свою жизнь. А теперь... теперь тебе лучше не глядеть.

Большим и указательным пальцами он взялся за край юбки и задрал ее до середины бедер. Я послушно закрыл глаза, но все же подглядывал: очень уж хотелось посмотреть, что он делает.

Ее бедра были совершенно белыми, загар их не коснулся. На задней стороне уже появились трупные пятна, а на внутренней стороне левого бедра – огромный синяк. Просту тоже было не по себе – побледнел, а когда опять попросил меня писать, голос заметно дрожал.

Он поднял юбку еще выше. Я не понимал, откуда у него такая решительность. Волосы на лобке были не черными, как у меня, а свились в красивый клубок жестких, темно-золотистых бронзовых нитей.

Прост слегка раздвинул неестественно белые бедра и заглянул в промежность.

– Дефлорация, – сказал он и поправился, заметив мой непонимающий взгляд. – Запиши: умеренное кровотечение из... в общем, девственность нарушена. Она была девственницей.

Девственность... попробуй изобразить такое слово. Как же оно пишется? Девс... тве? Девсве? Пальцы вспотели.

Теперь прост взял тело за таз и без усилий повернул на бок. На ягодицах тоже цвели фиолетовые трупные пятна. Прост осмотрел платье и достал несколько мокрых соломинок.

– Сено. Черная осока, *Carex nigra*... – Он заглянул в мои записи. – Пишется через *c*, а не через *k*. Из сарая.

Из сарая, да. Как же написать *carex* через «с»?

– А теперь помоги мне.

Он посадил утопленницу и показал, как поддерживать тело под лопатками. Кожа ледяная, как щучье брюхо. Голова упала на грудь.

– А это еще что такое?

Сзади на правом плече – черные ранки. Несколько штук. Круглые, глубокие, явно нанесены чем-то острым. Прост осмотрел блузку – на ней тоже были дырки, совпадающие с ранками на теле, и следы крови на блузке.

Он вытащил линейку и тщательно измерил расстояние между каждой из ранок. Кроме того, пониже, на пояснице, обнаружили параллельные глубокие царапины. Расстояние между ними я тоже записал.

– Медвежьи когти, – прошептал я со страхом.

– М-м-м...

– Он укусил ее и начал драть когтями!

Прост наградил меня долгим внимательным взглядом и вдруг, к моему ужасу, положил большие пальцы на горло утопленницы. Отклонился направо, потом налево, изучая синяки с разных углов.

– Посмотри внимательно, Юсси. Неужели не видишь, что синяки сделаны человеческой рукой?

– Да... а раны от когтей?

– Прощарапаны ножом. А маленькие ранки на плече – тоже ножом, только острием. Ты наверняка обратил внимание – крови на блузке очень мало, так что все эти уколы и порезы нанесены после смерти.

– Прост имеет в виду, что...

– ...кто-то хочет уверить нас, что девушку задрал медведь, – закончил он мою мысль, хотя я хотел сказать совсем другое.

Я наклонился поближе и рассмотрел ее шею. Прост прав: эти синяки вряд ли от медвежьей лапы. Мы молча застегнули кофту и положили тело на спину.

Прост просмотрел мои записи и сунул в карман сюртука. Мы постояли немного молча, стараясь унять волнение. Меня мучила совесть, да и проста, кажется, тоже. Нельзя переходить границу дозволенного. Он поднял свечу, несколько мгновений глядел на пламя и погасил.

И в тот же момент, словно кто-то дожидался, пока он дунет на свечку, в дверь постучали. Я поспешил вынуть метлу, и в бане появилась тетушка Элли-Каарина.

Хотела что-то сказать, но увидела священника и осеклась: прост стоял на коленях. Молитвенно сложив руки, он просил Господа милостиво принять душу усопшей, снизойти до нее и дать вечный покой. Ни одним движением, ни одной гримасой не выдал он, чем мы тут занимались несколько минут назад.

И когда он поднял голову, голос его звучал так, будто он стоял в церкви на кафедре.

– Я просил оставить нас в покое!

– Да, святой отец, да... но ведь... исправник приехал...

Она могла бы этого и не говорить: ее оттолкнули сзади, и в баню ввалился толстый исправник Браге. Он был на голову выше проста, а его широкая, мясистая физиономия вполне подошла бы быку-

производителю. Маленькие колючие глаза под выцветшими кустистыми бровями. Два пальца за воротом расстегнутого форменного сюртука – исправник заметно страдал от жары. Руки покрыты черными короткими волосками, как будто на них уселся целый рой мошкары. Физиономия блестела от пота, он то и дело вытирал ее тыльной стороной ладони.

– И что здесь происходит? – спросил он по-шведски.

Голос сильный, но хриплый – сорвал на военной службе. С само собой разумеющейся властью он вышел на середину бани и остановился – точно валун в речном пороге. И все как-то подстроились под него, даже прост, поискав, занял скромное место в уголку.

– Тело нашли мы, – сказал он. – Я и Юсси.

Почему-то исправнику не понравилась эта новость. Он пловцовским движением как бы отодвинул нас в сторону и встал перед покойницей.

– О дьявол... дьявол, дьявол...

Соседка, тетушка Элли-Каарина, аж присела от негодования – как можно так выражаться! – и покосилась на проста: видел ли он ее возмущение? Но прост не обратил внимания на ее добродетельность, его взгляд был прикован к исправнику.

Тот с явной неохотой потыкал пальцем в мертвое тело.

– Да... мертва, черт меня подери...

Соседка опять демонстративно поежилась.

Исправник поморщился и приложил кулак к носу, хотя запаха почти не было. Пахло, но это был не трупный запах. Пахло тиной и мокрым торфом.

Огляделся, взял банный ковш с длинной ручкой и приподнял подбородок покойницы.

– Шея искусана, – констатировал он.

– Вряд ли это укусы, обратите... – начал было прост, но исправник свирепо на него посмотрел.

– Всех, кто собирается мешать расследованию, попрошу выйти, – процедил он невнятно сквозь прижатый к лицу кулак, высморкался, вытер кулак о банную полку и скомандовал тетушке Элли-Каарине: – Поверни ее!

Она на трясущихся ногах поплелась к телу – ее пугала не столько утопленница, сколько две высокопоставленные персоны поблизости.

Перевернула тело и по приказу исправника взялась за воротник и потянула вниз кофту.

– Медвежьи клыки, – констатировал исправник. – Этот бестия схватил ее за плечо и уволок в болото. Оставил на потом.

– Но она... там был воткнут кол.

– Наверняка косцы оставили.

– Или медведь... медведи так и делают: обтачивают колья и втыкают в утопленниц. – Голос учителя был полон сарказма.

Исправник уставился на проста, как солдат на вошь, – точнее не скажешь. Прост был на голову меньше ростом и лет на двадцать старше, но было заметно: он с трудом подавляет ярость. Откинул голову и в ответ презрительно уставился на оппонента.

Впрочем, Браге не обратил внимания на его воинственность.

– Значит, это прост нашел пастушку?

– Да, это так.

– Прост... и кто еще? Этот туземец? – Исправник небрежно махнул в мою сторону.

– Юсси был со мной. Мы осмотрели сенной сарай и обратили внимание, что сено примято. К тому же мы нашли там стебель горного вереска, который в наших местах не растет. И вырванные длинные волосы, принадлежавшие, как мы думаем, Хильде Фредриксдоттер.

– А это-то откуда вам известно? Волосы, кажется, у всех баб есть. Что за баба без волос? – Исправник явно ожидал одобрения своей шутке, но никто даже не улыбнулся.

– Исправнику следовало бы осмотреть ее голову и убедиться.

– Давайте так: вы будете заниматься своим делом, а я – своим.

Прост хотел ответить что-то ядовитое, но сдержался – я заметил, как он плотно сжал губы, стараясь удержать готовую вырваться колкость. Повернулся и вышел из бани.

– И ты марш отсюда! – Исправник повернулся ко мне. – Или тебе сказать по-саамски?

Он погрозил мне ковшом, и я поспешил за простом.

Тетушка Элли-Каарина уже громыхла ведрами с теплой водой.

Настроение в селе грустное и подавленное. Люди безуспешно стараются скрыть страх. Подумать только – такая юная! По вечерам все торопятся домой, оглядываются на густые заросли. Продолжается сбор денег для героя, который сумеет одолеть кровожадное чудовище. Деньги жертвуют не только местные, присылают даже жители отдаленных сел. В лесу ставят капканы и ловушки.

В один прекрасный день утреннюю тишину нарушило страдальческое мычание. Полусонные сельчане похватили топоры, пики и рогатины и бросились в лес.

Оказывается, одна из лучших молочных коров попала в медвежий капкан. Нога сломана – делать нечего, корову пришлось забить. Служанки сбивали мутовками кровь для пудинга, а слезы капали в ведро.

Исправник Браге и секретарь Михельссон были заметно довольны выпавшим на их долю вниманием. Они занимались серьезным делом – в кои-то веки не надо разбираться с мелкими воришками, потихоньку переставленными колышками на наделах или с полупьяными лжесвидетелями, готовыми за кружку пива подтвердить все, что им скажут. По вечерам за достойным ужином и штофом перегонного исправник с секретарем писали доклады в высшие инстанции. Составлялись замысловатые планы охоты на медведя-людоеда, на хутора отправлялись предупреждения; наблюдения пастушек и селян тщательно записывались и посылались вместе с докладом в виде особого приложения.

Прошло два дня, и ранним утром к просту прибежал мальчишка лет десяти. Прост еще спал, дети пытались разузнать, по каком делу он прибежал, но гонец жадно пил воду из ковша и отбивался от вопросов. Сельме тоже ничего не сказал – дело, мол, очень важное, расскажу только самому просту. Брита Кайса велела служанке принести ему хлеба. Хлеб мальчишка взял, но есть не стал. Сунул в карман, сел на порог кухонной пристройки и внимательно рассматривал обстановку пасторской усадьбы – видно, хотел ничего не забыть, рассказать братьям и сестрам, что видел. Особенно его восхитили норвежские медные кружки с выгравированными рисунками. Искусный гравер изобразил представителей животного мира. На одной из них олени пасутся среди невиданных деревьев, а в самой середине оленьего стада лежит лев, грозно распахнувший свою ужасную пасть с

невообразимыми клыками. Надо же! Его законная добыча мирно жует травку в двух шагах от его могучих когтистых лап. Прост как-то мне объяснил – гравер постарался изобразить рай, жизнь на земле до Всемирного потопа. На другой кружке изображены мужчина и женщина. Они поделились яблоком, а с дерева за ними внимательно наблюдает большая змея. Так и хочется предупредить: не ешьте! Будет большая беда! Но они, ничего не подозревая, жуют это яблоко, даже глаза полужакрыты от сладости запретного плода. Жуют и не знают, что весь этот рай для них уже кончился.

Наконец появился прост в неправильно застегнутой рубаше, пуговица пришлась не на ту петлю. Он зевнул и пригладил волосы. Мальчуган вскочил и бросился к нему. Он порядком робел перед величием персоны, которой должен был сообщить важную новость. Прижался спиной к косяку и низко поклонился:

– Позвольте сообщить господину пастырю: чудище поймано.

Фраза наверняка заранее отрететирована, выучена наизусть.

– Какое чудище? – удивился прост.

– Чудище поймано, – повторил гонец.

– Ты имеешь в виду...

– Ну да, чудище... ну, в общем, тот, который задрал Хильду. Ночью его поймали. Просят, чтобы господин пастырь пришел и удостоверился. Пускай, говорят, увидит своими глазами.

Посыльный почему-то упорно избегал слова «медведь». Прост кивнул и попросил мальчика подождать, пока он приведет себя в порядок. Через пару минут появился уже одетый. Рубаша перезастегнута.

– Большой... большое оно, твое чудище? Сам-то ты его видел?

Мальчуган многозначительно поджал губы, кивнул, еще раз поклонился и заодно почесал пеструю от комариных укусов лодыжку.

Охота на медведя-людоеда началась сразу, как только было объявлено вознаграждение. Несколько арендаторов, из тех, что попроторнее, раздобыли где-то огромный медвежий капкан с грубыми острыми зубьями. Жуткое сооружение закопали, замаскировали, как могли, и привязали цепью к ближайшей ели. Цепь тоже тщательно засыпали лесным перегноем. Рядом положили приманку – кучу потрохов от только что заколотой свиньи. Аппетитный запах привлек поначалу лис и воронов, но вскоре учуял и медведь. Не успел он

подойти, звери разбежались кто куда. Это была медведица, а не медведь, и с ней два медвежонка. Только она подошла к наживке, как неумолимые железные челюсти впились ей в лапу.

Среди ночи крестьяне с близлежащего хутора услышали доносящийся из леса рев. Забеспокоились собаки. Дождались рассвета, позвали соседей, даже успели послать в село за подкреплением. И на подкашивающихся ногах двинулись в лес. Под конец шли крадучись, пока не увидели, что зверь в капкане. Выстрелили раз, другой, но пули из малокалиберной охотничьей винтовки не произвели на огромную медведицу никакого впечатления. Она рычала и размахивала лапами. Подойти с топором никто не решался, а медвежьей рогадины ни у кого не было. Срубили в подлеске несколько елок, очистили от сучьев и начали колотить зверя длинными дубинами. Несколько раз удалось попасть по голове. Кровь заливала медведице глаза, она по-прежнему грозно размахивала чудовищными лапами, но почти ничего не видела, беспомощно вертела головой по сторонам. Двое самых отчаянных решились приблизиться с топорами и ударили, каждый со своей стороны, по передним лапам – почти одновременно. С нескольких попыток удалось перерубить сухожилие и на задней лапе. Медведица свалилась на землю – теперь она была беззащитна, и ее добили топорами и дубинами.

И вот медвежья туша лежит во мху. Большой бесформенный бугор, покрытый клочковатой, жесткой буро-черной шерстью. Череп проломлен ударами топора. Глазные яблоки вывалились из орбит, одно из них, похожее на крутое яйцо, болтается на тонкой серебристой жилке. Никто не сомневался – именно эта медведица задрала Хильду Фредриксдоттер. Обоих медвежат тоже убили прицельными выстрелами из старой винтовки. Решили, что и они опасны – раз уж попробовали человечины. Медвежата еще попытались вскарабкаться на сухую сосну, но сил уже не было, и один за другим детеныши рухнули на землю, как большие сосновые шишки.

Крестьяне и работники чуть не плясали от гордости. Зажгли костер, подбросили зеленых веток и травы для дыма – от комаров, а главное – от мух, слетевшихся на запах крови. Прост пошарил по карманам, вытащил лист бумаги и карандаш и обошел зверя со всех сторон. Что он там записывал или зарисовывал, я не видел. Попросил перевернуть добычу на спину. В крепких парнях недостатка не было,

но они взялись за дело с известной осторожностью, будто боялись, что медведица лишь притворяется мертвой, а стоит им подойти поближе, тут-то она и оживет. Но все же четверо мужчин покрепче решились на подвиг, подошли и не без труда перевернули зверя. Только теперь стало видно, насколько огромна туша. Лапы подняты, точно она все еще пытается защититься. Ростом выше самого высокого из хуторян; широченная, могучая грудь. Мне стало неприятно – чем-то медведица очень напоминала человека. Нет, конечно, не особенно напоминала – посмотреть хотя бы на клыки. Грозно поблескивают, как кинжалы. Никаких сомнений в их предназначении: убивать и рвать на части. В шерсти прятались розовые набухшие соски – видно, медвежата еще не оторвались от материнской груди.

Прост наклонился и довольно долго изучал ужасающую пасть. Даже принюхивался, как взявшая след собака. Раздвинул с усилием челюсти обеими руками и смерил вынутым из кармана плотницким аршином.

Вынул из кармана меловую^[14] трубку и начал задумчиво набивать табаком.

– Вскройте брюхо.

Сельчане переглянулись. Никому из них никогда в жизни не приходилось потрошить медведей. Но один все же отважился, подошел и с деланой решительностью воткнул в брюхо восьмидюймовый финский нож. С трудом, в несколько приемов, распорол мускулистое брюхо от грудины до самого низа и раздвинул края разреза. Все увидели кишки. Прост передал мне письменные принадлежности, снял сюртук и встал на колени. Закатал рукава рубахи выше локтя, помедлил в сомнениях, запустил руку в разрез и начал доставать плотно переплетенные розово-лиловые петли. Двое парней с видимым усилием придерживали края разреза – те норовили сойтись и защемить руку проста в необъятном чреве. Не вынимая трубки изо рта, прост запустил руку повыше и с трудом достал такой же синевато-розовый слизистый мешок – желудок. Вытащил свой маленький ножик и одним движением разрезал мешок. На землю вывалилось, наверное, с полпуда черно-зеленого содержимого. От резкого кислого запаха многие поморщились, кто-то с трудом сдержал позыв на рвоту. Но прост был невозмутим. Он выпустил густое облако дыма, наклонился и принялся ворошить ножом эту кашу.

Потом повернулся ко мне и поднял нож, как указательный палец.

– Остатки растений. Корни, листья, стебли. Эта медведица питалась растениями. Травоядная, одним словом.

– А как же она тогда на приманку клюнула? – недоверчиво спросил один из сельчан.

Прост скептически и, наверное, немного раздраженно пожал плечами, измерил когти, попросил меня записать размеры и встал. Пока вытирал руки, напустил своей трубкой столько дыма, что я потерял его из виду. Дым рассеялся. Он сделал последнюю затяжку, выпустил дым двумя струйками через нос, отчего стал на мгновение похож на моржа, и сделал приглашающий жест:

– Посмотрим, что скажет исправник.

Никто и не заметил массивную фигуру исправника Браге. За ним в двух шагах шел Михельссон, а еще чуть подальше – не кто иной, как художник Нильс Густаф с огромным рюкзаком за спиной. Сельчане почтительно расступились, пропуская высоких гостей. Исправник неохотно кивнул просту, широкими шагами подошел к туше и потрогал ее ногой.

– Кто это сделал? – спросил он, наслаждаясь своим умением внушать страх. Впрочем, этот грех числится почти за всеми высокопоставленными персонами. Сельчане молчали, мяли шапки в руках. – Ну что ж... посеявший бурю пожнет ветер, – важно произнес Браге и вытер пот со лба.

Секретарь Михельссон потрогал одного из медвежат.

– И два людоедика заодно, – хихикнул он.

– Да... теперь, полагаю, вы вправе рассчитывать на вознаграждение. Но для начала хочу пригласить на стаканчик.

Удачливые охотники переглянулись и посмотрели на проста. Смущенно посмеялись – не то чтобы им было так уж смешно, скорее пытались забыть недавно пережитый страх.

Михельссон достал бутылку и передал исправнику. Тот сделал несколько хороших глотков, за ним глотнули Михельссон и Нильс Густаф. Прост наблюдал за этим с заметным отвращением. Охотников никто не угостил, да они вряд ли и решились бы пить в присутствии самого проста, яростного врага спиртного.

Покашливая и потряхивая головой от крепости перегонного, исправник достал кошель и хлопнул им по бедру. Послышался звон.

Он достал пачку ассигнаций и кучку серебряных риксдалеров. Михельссон сел, написал сумму вознаграждения на дорогой гербовой бумаге, затем приказал сельчанам смыть с рук кровь, прежде чем те прикоснутся к квитанции и поставят на ней свои подписи. Один за другим охотники, оглядываясь на товарищей, брали в руки перо. Михельссон указывал им, где надо подписаться или поставить крестик, а потом посыпал непросохшие чернила мелким песком из специального флакона.

– А что со шкурой-то делать?

– Шкура принадлежит королю! – Исправник грозно обвел взглядом собравшихся, взял бутылку, допил ее до конца, крикнул и неожиданно смягчился. – Впрочем... учитывая необычные обстоятельства... берите вашу шкуру, так ее...

– А... все другое? – осторожно осведомился косоглазый арендатор.

– Какое еще, к дьяволу, другое? – удивился исправник. – Вы что, собираетесь сожрать этого людоеда?

– Нет-нет... только медвежат, – заверил его косоглазый. – Мы ведь никогда и не пробовали медвежатинку. Говорят, вкусная.

– Мясо, конечно, волокнистое, – вмешался его сосед. – Но для здоровья полезно.

– Волокнистое не волокнистое, полезное не полезное, – гнул свою линию косой. Он с надеждой уставился на исправника. – Мы же голодны как черти. Почему бы и не сварить медведя?

Ничего смешного в словах косоглазого не было, но исправник уже с трудом держался на ногах и, покачиваясь, разразился булькающим смехом, сопровождаемым умеренным подхихикиванием Михельссона.

– А мне-то что? – отсмеявшись, произнес Браге. – Говорят, медвежатина похожа на смесь свинины с глухарятиной. И конечно, под пару-тройку стопок самогона, или как?

– Свинина... хи-хи-хи... с глухарятиной... ой, не могу... надо же – с глухарятиной! – Михельссон буквально скис от смеха.

Наблюдая, как исправник расправляется с перегонным, прост побагровел.

– Мне нужна голова, – сухо произнес он так, будто вопрос уже решен. – Для научных исследований.

– Все три? Медвежат тоже?

– Нет, только медведицы. Череп.

– Да берите же, черт бы меня побрал. Но распишитесь. Михельссон! Организуй это дело.

Прост достал очки и подписал квитанцию, а я начал было заниматься головой и уже приготовил нож, но меня остановил хорошо знакомый ангельский голос:

– Подождите!

Нильс Густаф. Пока делили медведя, он вынул штатив, достал эскизный лист, кисти и карандаши и медленно обошел поляну, выбирая наиболее эффектный ракурс.

– Этот подвиг не может остаться не запечатленным! – воскликнул он. – Можете встать так, будто медведица еще жива? Будто она собирается на вас напасть?

Его призыв перевели на финский. Суматошно перевернули медведицу и посадили, насколько сумели, в угрожающую позу.

– И пусть исправник встанет рядом.

Исправник ничего не имел против. Что ж дурного – быть запечатленным на полотне хорошего художника? Он поправил форменную фуражку и расчесал усы особой щеточкой, с которой никогда не расставался.

– Жаль, у исправника нет с собой сабли, – посетовал художник. – Какая была бы композиция – доблестный служитель закона поражает дракона!

Никаких сомнений – Нильс Густаф уже видел перед собой картину. Живо представил, как играют световые блики на занесенном клинке. В его воображении это наверняка был уже не клинок, а что-то сверхъестественное – удар молнии, вспышка небесного огня.

Но, поскольку исправник носил саблю только в торжественных случаях, пришлось не без труда снять с косовища лезвие и натереть его до блеска мокрым песком. Попробовали и так и эдак – исправник заходит справа, слева, идет в лобовую атаку. В конце концов Нильс Густаф предоставил самому герою выбрать, откуда именно он собирается напасть на медведицу, и, пока исправник примеривался, по-разному замахиваясь лезвием косы, делал наброски углем, красочными мелками обозначал цветовые нюансы – в основном коричневатый и серебристый серо-зеленый, главные два цвета в наших краях. И на этом печальном приглушенном фоне пронзительно алый акцент –

кровь раненого медведя. Пасть чудовища на рисунке получилась раза в два больше и грознее, чем на самом деле, а клыки намного длиннее. Он велел сельчанам встать в угрожающие позы, занести топоры и дубины и стоять неподвижно, пока он не запечатлеет драматическое сражение человека и медведя.

Наконец эскиз был закончен. Начали разделывать тушу. Исправник, размягченный вином и откровенно довольный, присел рядом с Нильсом Густафом у дымящего костра. На государственном шведском языке, который здесь мало кто понимал, они потчевали друг друга рассказами о своих приключениях – тут была и погоня за оленекрадами, и ловля местных жуликов, и, разумеется, страстные объятия с дамами высшего света в столичных городах.

Секретарь полицейской управы Михельссон притворялся, что приводит в порядок бумаги, но краем уха жадно слушал волнующие истории.

А я занялся головой. Как мог аккуратно сделал круговой разрез на необъятной шее, постепенно перерезал мышцы и сухожилия. Самым трудным оказалось разделить шейные позвонки – хрящ между ними никак не поддавался ножу. Пришлось одолжить топор и перерубить неподатливый позвонок.

И вот голова у меня в руках – даже не думал, что она может быть такой тяжелой. Связал несколько веревок, закрепил голову за челюсть и перекинул через плечо. Все равно тяжело, но что делать? Пошел в усадьбу один – прост давно покинул торжество.

Вскоре о происшествии узнал весь приход. Здесь, на севере, среди крошечных сел и разбросанных по огромному пространству хуторов, заслуживающих внимания событий почти не происходит, а победа над медведем была именно таким событием: героическим и драматическим. Охотники и в самом деле держались героями, их заставляли раз за разом пересказывать, как было дело, какая огромная была медведица, как ее не брали ружейные пули, как они, рискуя жизнью, бросились на нее с топорами и дубинами. Заводчик Сольберг

велел отослать шкуру кожевеннику – решил украсить стену салона в своей усадьбе.

А прост велел мне сварить голову. Я возился не меньше часа, снимая шкуру. Вид у головы был страшный: свисающие окровавленные лоскуты мяса, вылезшие из орбит глаза, – они, казалось, все время на тебя смотрят, куда бы ты ни отошел.

Я приволок из сарая самый большой чугунок, налил в него два ведра воды. Взял в поленнице топор – тот, что сковали для проста в заводской кузнице в Кеньи, да еще украсили обух его инициалами. Содрал с заготовленных на зиму березовых чурбаков бересту для растопки и наколот дров.

Под черным брюхом чугунок заиграли языки пламени, дно покрылось мелкими пузырьками. Они становились все крупнее, а потом начали всплывать на поверхность и с тихим бульканьем лопаться.

Отвратительная кислая вонь исчезла, вместо нее от чугуна поплыли ароматы жира и варящегося мяса, как в кухне, когда Брита Кайса готовит оленину. Начали образовываться покачивающиеся островки белой пены, потом они слились и вся поверхность покрылась серо-коричневой шевелящейся массой. Я все время снимал эту пену своей неразлучной самодельной ложкой и выплескивал ее на траву. Чалмо была тут как тут – как же без нее? Слизиwала клочья пены, едва они успевали долететь до земли. Вода кипела так, что перехлестывала через край. Тут же слышалось недовольное шипение костра – пришлось немного раздвинуть поленья, укротить излишний жар. Вскоре пена набегать перестала, ее редкие островки куда-то исчезли, и вода сделалась прозрачной. Кожа начала отставать от костей, и я увидел белую теменную кость – не гладкую, как у меня, а в каких-то жилах, наростах и углублениях.

Я взял березовую палку и с трудом повернул голову в чугуне, чтобы снизу не пригорело. Примерно через час-полтора почти обнажились все кости, кожа свернулась в странные рулончики. Попытался аккуратно отскрести эти рулоны деревянной палкой, чтобы ничего не повредить, – прост велел быть очень осторожным. Какие-то куски остались на месте, какие-то удалось вытащить. Начал бросать полоски вареной кожи Чалмо – собака пришла в полный восторг. Кости почти обнажились. Поразительно – я даже не ожидал, что череп

у медведя не цельный, а состоит из отдельных костей, соединенных похожими на портняжные швами. Там, где к черепу прикреплена нижняя челюсть, было много мяса – могучие жевательные мускулы. Я долго думал, но все же решился. Огляделся – никого; отрезал ножом кусок мяса и сунул в рот.

Значит, я тоже людоед, раз ем людоеда? Мясо еще недоварено, пришлось долго и тщательно жевать, прежде чем удалось как-то проглотить. Не скажу, чтоб очень уж вкусно. Но дело сделано. Теперь я тоже немного людоед.

Чугун все равно кипел так, что раскачивался на треноге. Нижняя челюсть отделилась. Я ее вытащил, отскреб ножом десны, нижние клыки обнажились во всей своей устрашающей красе – и как раз в этот момент подошел прост. Шикнул на Чалмо – та поджала хвост и попятилась. Я поддел череп березовой палкой и поднял из кипящего варева.

– Молодец, Юсси, – похвалил прост. – Очень хорошо.

Я осторожно положил медвежий череп на траву. Он лежал и дымился, будто внутри горел костер. Прост достал бумагу с какими-то записями, присел на корточки и долго их изучал. Заглянув, я узнал мой, с позволения сказать, почерк. Это были записи, которые я делал во время осмотра тела Хильды Фредриксдоттер.

– Дай-ка мне и нижнюю.

Я протянул ему челюсть. Он тщательно измерил расстояние между клыками – и на нижней челюсти, и на верхней, которая, оказывается, была частью самого черепа. Измерил – и заглянул в мои записи.

– Не совпадает, – коротко заключил прост.

– Значит, не медведь?

Прост нахмурился. Вид у него был до крайности сосредоточенный.

– Пока я хочу доказать одно: ранки на плече девушки сделаны острием ножа, причем когда она уже была мертва.

– Но зачем?

– Чтобы свалить убийство на медведя. И вот еще что: эти царапины на спине. Если бы это был медведь, они были бы параллельны. Медведи, в отличие от кошек, растопыривать когти не

умеют. А на ткани кофты видно, что эти царапины наносились по очереди, одна за другой, и ткань блузки при этом немного смещалась.

Чалмо положила голову просто на колени, и он ласково почесал ее за ухом. Собака моментально повернулась и осторожно, но усердно облизала пахнувшие мясным бульоном пальцы.

– Если бы медведице так уж захотелось мяса, она задрала бы корову – вон их сколько бродит по выпасам... Нет, я с самого начала сомневался в этой истории. Это не медведь.

– А следы на стволе? Где медведь когти точил?

– Тоже сделаны ножом.

– Почему прост так уверен?

Он назидательно поднял карманную линейку.

– Если ты помнишь, я замерил царапины на стволе тоже. Ничего общего со следами от медвежьих когтей. Нет-нет... тот людоед, которого мы испугались, ходит не в медвежьей шкуре, а в человеческих одеждах.

– А откуда прост знал, что Хильду спрятали в болоте?

– Понятия не имел.

– То есть... что вы хотите сказать? Убийца гуляет на свободе? Среди нас?

Прост задумчиво кивнул.

– Представь, Юсси... он видит красивую одинокую девушку, и его охватывает похоть. Каким-то образом заманивает ее в сенной сарай, она сопротивляется, и он ее душит. Может, даже и не хотел задушить насмерть, но задушил. И только тогда понял, что натворил. И тут ему приходит мысль: свалить преступление на медведя. Он наносит на труп ранки, похожие на следы от медвежьих когтей и клыков, прячет труп в болоте, возвращается на поляну и изображает следы когтей на стволе дерева.

– Но... такой сложный расчет! Кто у нас на это способен?

– Не знаю. Но так оно и было.

– Но мы же должны доложить исправнику!

– Исправник Браге уже отправил рапорт. Я сам его видел. «На теле покойной обнаружены следы медвежьих зубов, а также лап. Тело было спрятано в болоте, что объясняется хорошо известным поведением хищников и несомненно доказывает, что чудовище уже

обладало известным опытом в людоедстве. Зверь предпочитает, чтобы мясо стало сочнее, а заодно прячет добычу от других хищников».

– А он сам-то в это верит?

– Правду знаем только мы. Ты, Юсси, и я. Больше никто. Преступник на свободе. Медведь-людоед в человеческом облике. А когда медведь попробует человеческого мяса... ты же знаешь, к чему это приводит?

– Он хочет еще?

Прост не ответил. Взял у меня нож и склонился над черепом. Удары дубинками раскроили череп. Он аккуратно отделил осколки костей и отложил в сторону. Мне пришлось держать череп в руках и поворачивать, пока он аккуратно надрезал ткани и расширял пролом. И наконец на траву выскользнул мозг – неожиданно маленький для такого огромного зверя, похожий на большое, мягко подрагивающее полусваренное яйцо. Прост поднял его, внимательно рассмотрел и провел пальцем вдоль каждой из многочисленных извилистых борозд.

– Думаешь, она здесь? Ты ее видишь, Юсси?

– Кого? – не понял я.

– Душу, Юсси, душу. Медвежью душу...

Когда мозг остыл, он осторожно взял его обеими руками и с энтузиазмом понес в дом.

Уж не знаю, что он собирался с ним делать. Может, зарисовать? Или показать детям? Прост шел довольно быстро и не заметил, что под ногами вертится Чалмо. Споткнулся и взмахнул руками, чтобы восстановить равновесие. При этом выронил свою ношу. Нагнулся поднять, но не тут-то было. Едва мозг коснулся травы, Чалмо неуправляемым выпадом отхватила половину и бросилась в бегство. Прост так и остался стоять. Посмотрел на прилипшие к рукам комки слизи, покачал головой и принялся их оттирать.

В субботу отпевали покойную Хильду Фредриксдоттер Алатало. В церковь битком набилось сострадающих и просто любопытных. Гроб стоял открытым, в публике то и дело кто-то звучно всхлипывал. К гробу подошли согнутые горем родители. Старый отец, худой и

бледный настолько, что, казалось, в нем нет ни капли крови, положил дрожащую ладонь на сложенные руки покойной дочери, похлопал тихонько и вдруг, ко всеобщему ужасу, потянул к себе, будто хотел заставить сесть в гробу. Мать непрерывно утирала слезы. Она плакала беззвучно, но черный похоронный платок был совершенно мокрым. Рядом с покойной неподвижно стоял ее единственный брат, длиннющий и странноватый парень. Видно было, что он не совсем нормален: все время расстегивал и застегивал пуговицы. Рукава на кафтане очень коротки, едва прикрывают локти, – скорее всего, с чужого плеча. Он непрерывно глотал слюну – возможно, это был его способ оплакивать покойную. Теперь он остался единственным – детей было только двое, больше Господь не послал.

Все ожидали проста – он должен прочитать заупокойную проповедь. В первом ряду сидел исправник Браге в полном обмундировании. По дороге он принимал поздравления прихожан и каждому с достоинством кивал. Его жирные щеки тряслись, что, впрочем, нисколько не мешало ему выглядеть внушительно и при этом выказывать надлежащую меру сострадания. Прост взошел на кафедру, и взгляды их встретились, как две стрелы в воздухе, едва не расщепив друг друга. Исправник тут же отвел глаза, надул щеки, со звуком «п-ф-ф-ф» выпустил воздух, словно желал сказать: «Ну сколько можно?» – и начал демонстративно ковырять в зубах. Может, там и в самом деле что-то застряло, иначе как объяснить его нежелание слушать литанию? Рядом с ним пристроился секретарь Михельссон, в руках державший книгу псалмов.

Прост говорил о коротком летнем цветении. Как прекрасные полевые цветы склоняют головки и падают под свист неумолимых кос. Казалось бы, зачем уничтожать такую красоту? Но нет – эти цветы превратятся в душистое сено, и сено это позволит другим Божьим тварям продолжать жить даже в суровую зимнюю пору, в бесконечную полярную ночь. Любая жертва рано или поздно оборачивается благом, сказал прост, любая жертва имеет смысл, хотя он и скрыт от нас, этот смысл. Скрыт и недоступен нам, простым смертным.

Я пытался слушать, но мысли разбежались. По другую сторону прохода сидела она. Моя возлюбленная. Она ни разу не глянула на меня. Что ж... она меня не замечает, как не замечают воздух, которым дышат. Больше того – я для нее не существую. Но какое это имеет

значение? Я-то могу смотреть на нее сколько хочу! Я мысленно трогаю ее, как с наслаждением трогают искусно отполированный камень, формы ее мягки и сладостны, как музыка. Я прижал мизинец к щеке – кожа хранила память о случайном прикосновении, когда я хотел перехватить у нее ручку ведра. Значит, и кожа имеет память...

И я неожиданно задремал, и приснился мне странный сон. Будто все, как и наяву, происходит в церкви, только в гробу лежу я сам. Лежу со сложенными на груди руками в самой середине церкви, и все на меня смотрят. И прост, и исправник, и прихожане – все до единого.

И даже она, моя любимая, – она тоже смотрит на меня, и взгляд ее полон скорби. Я совершил какой-то отчаянный поступок, проявил чудеса храбрости и самопожертвования – чего от меня, разумеется, никто не ожидал. А теперь все сидят и думают: «Кто же он такой? Почему мы никогда и ничего про него не знали? Если бы мы только догадались, что происходит в его душе».

А теперь уже поздно. Мое тело опустят в непроглядный мрак могилы, и только тогда все скажут: «Подумать только, такой тихий, такой неприхотливый... Кто бы мог подумать, что он способен на такой подвиг!»

Я очнулся, только когда гроб уже закрыли, и прост высыпал на крышку три ковша песка. Мне стало стыдно – как же так! Мною овладел нечистый, я впал в грех гордыни! Но стыд стыдом, а приятный привкус странного сна остался надолго.

Я им еще покажу. Так или иначе – они меня заметят. Просто пока я еще не знаю, как это сделать.

Прост решил проверить, как идут дела в летней школе, которую он устроил в Кангосфорсе. Погрузились в его хлипкую на вид, но прочную и послушную лодку, которой были нипочем речные пороги. Он сел на весла, я взялся за румпель, и мы двинулись в путь вверх по течению, туда, где Лайниэльвен сливается с Торнеэльвен. Вода стояла по-прежнему довольно высоко, и пороги причинили нам кое-какие затруднения, но плоскодонка с честью выдержала испытание. На самых затруднительных участках помогали хуторяне, они управлялись

с рулевым веслом куда искуснее, чем я, к тому же были рады помочь не кому-нибудь, а самому духовному отцу. Лайниэльвен уже и мельче, чем Торнеэльвен, так что, пока мы еще не добрались до их слияния, прост несколько раз причаливал плоскодонку и выходил на берег – посмотреть, не занесло ли половодьем в наши края семена каких-нибудь экзотических растений с далеких гор.

Летняя школа в Кангосфорсе представляла собой обычный сруб, в котором, судя по запаху, раньше была конюшня. Нас встретил учитель, господин Матссон, весьма серьезный господин. После падения с лошади он остался с кривой шеей, и это не позволяло ему заниматься какой-либо требующей телесных усилий работой. Прост назначил его учителем для младших детей, хотя, если быть честным, Матссон и сам читал с трудом. Раньше учителем был Юхани Рааттамаа, но теперь он преподавал в Лайнио. Про Юхани говорили с восхищением: учитель от Бога, даже почище самого проста, а его ораторское искусство таково, что школьники воспринимают уроки, как откровение Божье. «Как откровение Божье», – повторяли родители значительно и на всякий случай переглядывались: не вышло бы беды.

Основания для беспокойства были: посмотреть на «чокнутых» учеников приезжали даже с дальних хуторов. Вот они корчатся на полу в припадке раскаяния, а в следующую минуту – словно теряют все силы, на ногах стоять не могут. А потом тут же, на уроке, начинают скакать как оглашенные, с диким восторгом новообращенных, до которых внезапно дошло, что они уже спасены от адских мук. Если кто-то из учеников начинал бузить, Юхани просто-напросто сажал его на колени и тихо уговаривал, и уже через пару минут дикие выкрики переходили в плач и раскаяние. Он никогда не прибегал к розгам, как это делают почти все учителя.

Матссон таких способностей лишен. Он не умеет увлечь детей, но зато у него феноменальная память. Он может слово в слово пересказать слышанную им проповедь проста.

– И как дела в нашем винограднике? – приветливо спросил прост.

Матссон поклонился, насколько ему позволяла искривленная шея, и проводил проста в класс. Я насчитал двенадцать мальчишек. И только две девочки.

– Сестры Ваара заболели, – ответил Матссон на вопросительный взгляд проста. – Не встают.

– А что с ними?

– Чахотка, наверное. Я сказал, пусть дома побудут, нечего других заражать.

Дети сидели по двое, каждый у своей грифельной дощечки. Чуть не высунув языки от усердия, они срисовывали слова, написанные Матссоном на другой доске, побольше, висевшей на стене. Увидев нас, они встали и вразнобой поклонились. Все мальчуганы были босиком – нечего стаптывать обувь, когда лето на дворе. Я посмотрел на их руки – натруженные, в мозолях, как у взрослых. Им было заметно неудобно удерживать в руке маленький хрупкий мелок.

Прост прошел между столами, вглядываясь в написанное. Судя по всему, прочитать он смог далеко не все, но на всякий случай одобрительно хмыкнул.

На грифельной доске было написано следующее:

Благославена субота – день отдохновения.

Прост стер написанное и написал снова, исправив ошибки.

– Суббота пишется через две «б».

– Извините...

– Не так-то легко все это знать, – ободрил его прост.

Засмеяться никто из учеников не решился. В молчании, поплевав на пальцы, они вытерли свои доски и добросовестно срисовали написанное простом. Крестьянские дети, родной язык у них финский, как и у Матссона. Дома, само собой, никаких книг нет, кроме Библии и Катехизиса. Прост повстречался и с родителями – обычные крестьяне, мало кто мог написать хоть единое слово, кроме своего имени. А когда высокий гость попросил их прочитать хотя бы один псалом, они добросовестно водили пальцем по строке, хотя на самом деле знали его наизусть. Заметно было: к посещению духовного отца готовились не на шутку, заучивали, повторяли, потом опять заучивали и опять повторяли. Десять заповедей, толкования Лютера, основы вероисповедания, «Отче наш». А может, кое-что задержалось в памяти с давних пор, когда этих измученных работой людей, тогда еще мальчишек и девчонок, готовили к конфирмации. Или запомнилось из проповедей. Но, конечно, ни о каких высотах теологии речи не шло. Понятие *Ordo salutis*^[15] им вообще не было известно, хватало и того, что они называли себя христианами. Можно подумать, что девушки-служанки и оленеводы вообще не способны ни к каким наукам, но это

было не так. Они знали в лицо сотни своих оленей, они помнили десятки пастбищ, сотни ягодников и богатых рыбой речушек и озер – от высокогорья на западе до побережья на востоке. Они помнили всю свою родню в четырех-пяти коленах, могли построить дом одним топором, умели шить непревзойденную по теплоте одежду, используя вместо ниток оленьи жилы. И на память никак не жаловались. Кое в каких вопросах их знания были куда шире и глубже, чем у всех упсальских профессоров вместе взятых.

Но, как говорил прост, – мы на пороге нового времени. Почему бы мальчишке из торнедальской тундры не стать священником? Или учителем? Посмотрите хотя бы на самого проста, на его братьев – Карла Эрика и Петруса. Они же смогли, хотя выросли в такой же, если не еще более горькой нищете там, у подножья западных гор. Поймите, повторял прост, нас, северян, ждет куда более светлое будущее, если мы обогатим свою жизнь знаниями. Крестьяне смогут познакомиться с новыми, прогрессивными сельскохозяйственными методами, узнать о новых культурах, улучшат породу домашних животных, научатся хранить и консервировать продукты. А возьмем болезни – со многими наука уже умеет бороться. Появляются новые лекарства, детская смертность снижается. И, главное (тут он садился на любимого конька), главное, чтобы сошло на нет мерзкое пьянство. Образованный хозяин, если у него появилась лишняя крона, не пойдет в кабак ее пропивать, а купит на эти деньги книгу. И этот светлый путь начинается с детства, с этих закорючек на грифельной доске.

– Мелки кончаются, – пожаловался Матссон.

– Уже?

– Да... дети, наверное, жмут чересчур, когда пишут.

– Ну что ж... мне завещан небольшой денежный дар. Купим мел. Напомню родне покойной. И ваше жалованье тоже выплатим, сожалеем о задержке.

– Буду весьма благодарен, господин прост.

– Бога благодарите, Матссон.

Мы остановились около одного из беловолосых мальчишек – худого и носатого, чем-то похожего на землеройку. Он втянул голову в плечи, будто ожидал оплеуху.

– Как твое имя, мой мальчик?

– Феето, – прошептал он робко.

– Понятно... окрещен-то ты Фредриком. И кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Фредрик?

Мальчик промолчал. Остальные смотрели с любопытством – возможно, и в самом деле ожидали наказания.

– Когда повзрослеешь? – Прост сделал еще одну попытку. – Тебе не приходила в голову мысль, что ты мог бы стать священником?

Послышались смешки – должно быть, остальные попробовали представить Феето в пасторском сюртуке. Мальчик поднял глаза на проста. Брови настолько светлые, что их почти не видно, и небесно-голубые глаза, яркие и наивные.

– Я ведь тоже когда-то был мальчиком. И не умел читать. А сейчас понимаю и латынь, и древнегреческий... Скажи-ка: ordo salutis.

– Ордо... сали... салютис.

– Это латынь. Означает «порядок спасения». Или «путь к спасению». Вообрази лестницу... очень высокую и очень крутую лестницу. А там, на самом верху, стоит Иисус. Можешь такое представить? От него идет такой сильный свет, что почти невозможно смотреть, хочется прикрыть глаза. Но он там! Он там, Иисус Христос, он открыл объятия и ждет нас всех. Ступенька за ступенькой можем мы подняться к нему.

– А пожрать дадут? – пробормотал кто-то.

– Сколько хочешь. Сколько угодно еды для голодных.

– И масло?

Матссон замахнулся на мальчика постарше с густой, не расчесанной челкой, но пастор его остановил.

– Горы масла, – кивнул он. – И оленье жаркое, и щука, и лосось, и огромные, вы таких и не видавали, глухари. И свежеиспеченный хлеб, и золотистый сыр.

Я посмотрел на учеников – все сглотнули слюну. И прост притворился, будто наслаждается идущим с потолка ароматом изысканных яств. Зажмурился и покачал головой в восхищении.

– И попасть туда могут все.

– Еще бы не все, – подтвердил Матссон. – Все до одного.

– Открывший сердце будет сидеть по правую руку Господа.

Матссон закрыл глаза – похоже, молился.

Но в разъяснение проста насчет общедоступности райского блаженства мало кто поверил.

– А что, только священники попадут в рай? – поинтересовался тот, кто спрашивал, есть ли в раю масло. – Или другие тоже?

– Я же сказал – попасть туда могут все. Вы все, здесь сидящие.

– Это-то, конечно, да... только сначала надо помереть.

Прост внимательно посмотрел на белобрысого мальчугана. Тот не отвел глаз, но во взгляде его не было ни протеста, ни насмешки. Паренек похож на ангела, подумал прост. Мало того – задал вопрос, который свидетельствует о ясном критическом уме. Хорошо бы взять этого мальчика и сесть с ним за стол с кучей книг. Показать ему, насколько прекрасна и многообразна жизнь, открыть мир растений, цветущих оазисов и мертвых пустынь. Рассказать, какой разный климат бывает на Земле. Научить понимать философов, а главное – научить говорить. Говорить так, чтобы слова доходили до человеческих сердец. Детей надо учить, иначе некому будет подхватить знамя веры и знаний, когда старые его выронят. Этому суровому краю нужны самоотверженные пионеры, которые будут настойчиво и мудро руководить паствой.

– Прежде чем умереть, мы должны жить, – возразил он мальчику. – А чтобы жить хорошей и насыщенной жизнью, нужны знания. Знаешь ли ты, к примеру, что корабли могут плыть по морям силою кипящей воды? Такие корабли уже есть в Америке, но и у нас тоже, на юге. Кипящая вода движет машину. Она обладает такой силой, что может толкать вперед огромный корабль.

– А что это такое – машина?

– Машина... это такая штука, которая может двигаться сама по себе.

– Значит, люди – тоже машины?

– Ну нет. Люди не машины.

– А почему нет?

Матссон потянулся за висящей на стене розгой. Этого хватило, чтобы мальчик закрыл рот и испуганно посмотрел на проста. Прост улыбнулся.

– Машина ничего не чувствует. У машины нет сознания. А человек, напротив, может сделать много хорошего, помочь другим людям. И это вам, дорогие мои ребяташки, именно вам суждено вывести наш край из нищеты и запустения. Еда должна быть лучше, не говоря уж о том, что ее должно быть намного больше. Нужны удобные

жилища, коровы должны давать вдвое больше молока. Нужно бороться с болезнями, а главное – покончить с пьянством. И это вам, не кому-то, а вам суждено вести нас к лучшему будущему.

– Аминь, – заключил Матссон.

Дети поспешно сложили ладошки и повторили за ним: «Аминь».

Прост задумался – наверное, пытался подобрать подходящую цитату из Библии. Еще раз обвел взглядом детей, посмотрел на босые ноги, крепкие, мозолистые руки, высокие скулы и усыпанные перхотью светлые волосы. Они могли бы остаться дома, помогать по хозяйству – но нет. Они пришли в школу. Вот так оно и выглядит – будущее края.

Назад мы возвращались по течению. Грести было легко и приятно, и прост пустился в рассуждения о будущем. Он все время повторял: мир изменился. Не просто изменился – изменился в своей основе.

Французская революция 1789 года привела к отчаянным бедствиям, утрате веры, неслыханному моральному разложению. Когда человек забывает о христианской вере, он становится страшнее тигра.

– Вначале у всех кружится голова: как же, свобода! Ура, наконец-то, вот она – желанная свобода! Но за безграничной свободой неизбежно приходят тирания и варварство. Прежние хозяева жизни, не справившиеся с современными требованиями, сметены и уничтожены – и что же? Обязательно находится каналья, какая-нибудь честолюбивая сволочь, и она правдами и неправдами приходит к власти. Появляется новый тиран. Запомни, Юсси, – недостатка в тиранах не будет никогда.

– А как же религиозное Пробуждение, которое вы проповедуете, господин пастор? Разве это не революция? Это же тоже революция.

– В каком-то смысле – да, Юсси. В каком-то смысле. Но заметь важную разницу: это революция изнутри. Вместо того чтобы, потрясая кулаками, сбрасывать с трона тиранов, мы хотим избавиться от тирании внутренней. Мы боремся против наших собственных тиранов – против заносчивости, самодовольства, гордыни, похоти, страсти к роскошествам. И общество может измениться только после победы над собственными демонами. Ты же слышал этих детишек, Юсси! Их главная мечта – наесться досыта. Конечно, грех их судить,

ничего плохого в этом нет, но есть же и другая пища, духовная! Господь так распорядился – создавая нас, поместил душу выше желудка. А когда душа голодна – это беда. И недостаточно склонить голову на церковной скамье и просить о прощении грехов, да и то по каноническому тексту. Можно купить в лавке леденец и сосать его по дороге домой, но насытиться им нельзя.

Прост продолжал разглагольствовать – мол, скоро настанет время, когда в семье любого нищего арендатора сможет появиться магистр философии или даже профессор. Я машинально поддакивал, шевелил рулевое весло, хотя в этом не было необходимости – лодку исправно несло ласковое течение. Но мысли мои были далеко. Я видел перед собой мою возлюбленную, как она прижимает свои мягкие алые губы к моим...

Вот это и есть истинный голод.

Летом по стволам деревьев медленно, но в великом множестве поднимаются живительные соки. Птенцы, те самые скрюченные уродцы, которые еще недавно едва ворочались в скорлупе, встают на крыло. У лосей отрастают рога, а в реке начинается свои игры лосось. Все время светло. Летние месяцы – сплошной день. Кажется, ночь побеждена навсегда, – как же хорошо в эти полтора-два месяца на севере!

Прост стоит на коленях во мху – опять изучает свой сагех, какой-то необычный, а может, чем-то близкий его сердцу вид осоки. Время от времени записывает что-то на листке мятой бумаги.

Внезапно на его карандаш садится шмель. Кто знает, что его привлекло, может быть, следы соли от пальцев. Взмах руки – хоп! – и шмель пойман. Я ожидаю вскрика или гримасы боли – сейчас он его ужалит! Но прост улыбается. Осторожно, большим и указательным пальцами левой руки достает пленника из сжатой ладони, протягивает мне лупу. Лапки красивого насекомого покрыты короткими волосками, а к волоскам прилипли какие-то желтые шарики.

– Пыльца. Пыльца сотен цветов.

Я возвращаю лупу. Он протягивает мне шмеля. Еще чего... я отрицательно качаю головой:

– Ужалит.

– Нет. Этот не ужалит. Это самец.

Разыгрывает он меня, что ли? Но отказываться уже неудобно. Я двумя пальцами беру шмеля. Никогда не думал, что такая кроха может быть такой сильной – он рвется из рук, я с трудом его удерживаю. Слюдяные крылышки посверкивают на солнце. Прост прав: шмель меня не ужалил. Я закрыл кулак, но он продолжает трепыхаться.

– Самцы светлее, – объясняет он. – А жало только у самок. Это вообще-то не жало, а яйцеклад, но в момент опасности он превращается в смертельное оружие. Это я узнал в Упсале.

Я раскрываю ладонь. Шмель медлит немного, словно не веря своему счастью. Трепещет крылышками, преодолевая силу собственной тяжести, снимается с ладони и, возмущенно жужжа, растворяется в зелени.

Мы некоторое время сидим молча. Прост раскуривает свою трубку. Дым не только вкусно пахнет, но еще и отгоняет огромных оводов, которые так и норовят сесть на голую шею или руку.

– Когда вижу шмеля, всегда думаю о своем сыне, – говорит прост задумчиво. – О моем маленьком Леви. Ты бы на него посмотрел, Юсси! Знаешь, многие маленькие дети залезут под стол, а потом забывают, что залезли. Встают – и бац темечком о столешницу. И он тоже. Но представь: упадет – и в рев, конечно, но тут же встает, и как ни в чем не бывало. Полон жизни... у него был тот же аппетит к жизни, что и у этого шмеля. Этот разбойник ни на секунду не сдавался. Жужжал и вырывался.

– А что случилось с Леви?

– У него была сестра-близняшка, Лиза. Оба подхватили корь. Это было ужасно. Мордашки раздулись, жар такой, что они прямо горели у меня на руках. Леви болел очень тяжело, его рвало не только от еды, но даже от глотка морса. Под конец он лежал неподвижно, только глаза закрыл ручонкой, не мог смотреть на свет. Я положил ему на глаза влажный платок, он задышал часто-часто и закашлялся. Кашлял так ужасно, с бульканьем, будто в легких у него полно жидкости. Брита Кайса принесла ведро со снегом – он просто пылал от жара.

Прост замолкает. В глазах у него стоят слезы. Прокашлялся, на лоб упала длинная прядь светлых, заметно поседевших волос.

– Лиза, благодарение Господу, стала поправляться, а Леви совершенно обессилел. Лежал неподвижно между мной и Бритой Кайсой. В последнюю ночь ему вроде бы стало получше, голову повернул, раскинул руки, даже начал ногами брыкаться. А на дворе стужа смертная, один из самых холодных январских дней... Непроглядная темень, земля словно покрыта черным морозным туманом, даже звезд не видно. И его руки... он их складывал и раскидывал, складывал и раскидывал... Как этот шмель. Может, хотел улететь в этот черный туман. Я, конечно, пытался его удержать... но уже понял: он по пути туда. Движения становились все слабее и слабее, на губах выступила пена. Мы, Брита Кайса и я, по очереди вытирали эту пену, боялись, что она его задушит... Утром я завернул его тельце в простыню и держал в руках. Брита Кайса хотела его забрать, но у меня как судорога. Не могу разжать руки, и все тут. А она тянет к себе... мы чуть не подрались из-за мертвого мальчика, я не могу забыть этот ужас. Господь прибрал его, отнял у меня то, что я любил больше жизни... рассчитал, ударил туда, где всего больнее.

Прост замолкает, а мне почему-то очень стыдно. Неужели он поэтому подобрал меня? Тогда, на обочине? Неужели я чем-то напомнил ему умершего сына? Леви, о котором он тоскует до сих пор...

Прост тяжело ложится на спину. Вокруг его головы не унимаются шмели, они взлетают с бесчисленных полевых цветов и снова садятся. И я тоже ложусь. Мы лежим и молча смотрим, как по небу плывут легкие летние облака.

– Мы должны учиться у шмелей, – неожиданно произносит он.

Я кошусь на него. Что он хочет этим сказать?

– Я научил тебя грамоте, Юсси. Ты теперь можешь и читать, и писать. Это прекрасно. Но что может быть прекраснее этого неумолчного, неутомимого жужжания... – Он упрямо чмокает погасшей трубкой, словно ищет в ней утешения. – Написанные слова очень важны... но что происходит, когда мы их произносим? Их надо расколоть, как глиняный горшок, разжевать, размягчить, снова превратить в глину, из которой они сделаны. А потом слепить опять, но уже не пером или карандашом, а голосовыми связками и губами. Вот

тогда они обретают свою истинную мощь. – Прост довольно сильно хлопает ладонью по траве. – Вспомни апостолов. Апостолы – шмели Иисуса. Они летали, как шмели, с золотой пылью Иисусовых слов и опыляли пестики человеческих сердец. И представь – и в бесплодных горах, и в мертвой пустыне расцветали цветы волшебной, неземной красоты.

Я киваю, но пока не очень понимаю – куда он клонит?

– Да, я пишу свои проповеди, Юсси. Но в словах этих жизнь только теплится, они впервые оживают на кафедре, пройдя через мою гортань. Я леплю их заново губами и дыханием. Человеческие уста... мои уста, твои уста, Юсси... только через человеческие уста, через произнесенное слово спасется мир. Уста, рождающие живое слово.

Да, это правда, думаю я. Конечно, так и есть.

– И еще вот что... – Он, не вставая, выбивает трубку, поворачивает голову и смотрит на меня, лукаво и пристально. – Как же ты найдешь себе жену, если будешь все время молчать?

Я краснею. Конечно же, он заметил мои тоскливые взгляды, когда я смотрю на женскую половину в церкви. Я встаю и с яростью прихлопываю овода. На рубахе остается желтоватый след.

Как-то после обеда в усадьбу пришел известный своей кротостью Эррки Антти из Юхонпиети. Вежливо поздоровался со всеми, включая слуг и детей, – всем и каждому пожелал мира, любви и покоя.

Он был слеп на один глаз. Несчастный случай в детстве. Глаз не только ничего не видел, но и постоянно стремился вытечь, поэтому он то и дело вытирал его цветным лоскутом.

Эррки Антти достал из торбы сверток. Там лежало что-то белое и на вид довольно твердое. Он вынул нож, отрезал кусок и протянул мне. Я начал жевать, и во рту тут же запахло горами и фьордами. Этот запах ни с чем не спутаешь.

– Сушенная треска, – улыбнулся он. – Прямо из Норвегии, друзья по вере поделились.

Прост попробовал и сморщил нос.

– Для такого лакомства нужны молодые зубы.

– Для странников вещь незаменимая. Силу дает.

– Ну хорошо... Расскажи же, дорогой мой Эркки Антти, расскажи поскорей. Как идет наша работа в норвежских палестинах?

Они вполголоса беседовали, а я не мог понять, чем пахнет. Брита Кайса жарила какие-то зерна, и от них исходил странный, ни на что не похожий аромат. Потом смолола, бросила помол в медную узкую кастрюлю. Залила водой, вскипятила, разлила по специально принесенным для такого случая фарфоровым чашкам и поднесла дорогому гостю и мужу. Налила и мне в мой самодельный ковшик.

– Я пристрастилась к этому декокту, – сказала она и не смогла сдержать улыбку. – В лавку иногда завозят, и тут-то я уж не упущу случай.

Странный напиток – черный, маслянистый, с необычным вкусом, тяжелым и смолистым. А запах чем-то напоминает багульник.

– Кофе, – восторженно вздохнул Эркки Антти. – Надо же!

Брита Кайса покосилась на мужа и довольно усмехнулась.

– Я-то просто дрожу от одного запаха, а супруг мой нос воротит. Ну что ж... пусть дымит своим табаком, а нам, женщинам, тоже охота чем-то поразвлечься.

Но что правда, то правда – и запах, и вкус очень важны. Они приносят ощущение уюта и тепла. Тепло и уют – а что еще нужно от жизни? Эркки рассказывал, как идет работа по Пробуждению с норвежской стороны. Но есть и тревожные новости. Из Каутокейно.

– Саамы, из тех, кто приобщился к учению, беспокоятся... вернее, бузят. Сорвали, к примеру, службу Андреаса Квале в Шервё.

– Да... мне уже написали, – кивнул прост.

– Епископ Юэлль послал в Каутокейно другого пастыря. Посчитал важным, чтобы он говорил по-саамски. Нильс Стокфлет.

– И правильно сделал, – одобрительно кивнул прост. – Как может пастор тронуть сердце прихожанина, если не говорит на его языке!

– Но не в этом случае, – огорченно покачал головой Эркки Антти. – Ох, не в этом случае. – Хаetta, Сомбю, Спейн и еще несколько пошли к пастору в усадьбу – узнать, разделяет ли он их веру в Пробуждение. А Стокфлет отказался – нет, говорит, не разделяю. Тут они начали орать: дескать, уходи, ты нам послан дьяволом.

– И все это происходит в пасторской усадьбе?

– Ну да, у него, у Стокфлета. Саамы пришли в чужой дом и никак не могли остановиться с руганью и проклятьями. Пришлось послать за исправником – там теперь новый, Ларс Юхан Бухт. Кое-как выпроводили.

– И эти саамы сочувствуют нашему движению?

– Да-да, они тоже за Пробуждение, как вы и я. А потом – уже в церкви, на проповеди. Там уже женщины начали протестовать. И он, представьте, отказался их причащать. Вы, говорит, отрицаете Христа. Что тут началось, господин прост! Все кричат, и женщины, и мужчины... Стокфлет читает свою проповедь, а ни слова не слышно из-за крика.

Прост задумался. Брита Кайса отхлебнула кофе и покачала головой:

– Что-то не так с вашим движением.

– Движение тут ни при чем, – возразил прост.

– Ни при чем? А откуда тогда все эти ссоры? Эти беспорядки?

Эррки Антти не поднимал головы – с озабоченным видом разглядывал единственным глазом столешницу.

– А что вообще говорят люди? Там, у вас? – спросила Брита Кайса. – Что они говорят о движении?

– Не знаю, могу ли я...

– Конечно, можете, – ободрила его жена проста. – Говорите как есть.

Эррки Антти опять вытер глаз, будто тот, не дождавшись напарника, заплакал в одиночестве. Скомкал платок и неохотно сказал:

– Многие нас обвиняют. Лжеучение, говорят. Мы на побегушках у дьявола, лжепророки. Хотим разрушить церковь...

– Эти слухи распространяют наши враги! – оборвал его прост.

– Я знаю, знаю... Я-то знаю.

– Нам бояться нечего.

– А если враг среди нас? – возразила Брита Кайса. – Если в наши ряды затесалось зло? Как нам защищаться?

Эррки Антти исчез так же скромно и незаметно, как появился. Ушел к себе в Юхонпиетти. Вечером, уже в постели, Брита Кайса обратила внимание – муж обеспокоен. Положила руку на грудь – сердце билось сильно и неровно.

– Мне надо ехать в Каутокейно, – твердо сказал он.

– К зиме все успокоится, – попыталась она его утешить.

– Кажется, весь мир противится Пробуждению, которое я проповедую.

– Не весь. За тобой идут тысячи.

– Я это не замечаю. Где они, эти тысячи? У меня, знаешь, чувство, будто я один. Я один, а передо мной дракон.

– Но мы победим.

– Думаешь?

– А ты? Ты так не думаешь?

Прост глубоко вдохнул и ощутил в душе бесконечную пустоту. Он чувствовал себя, как дом с выбитыми окнами, где ветер носит по полу сухие листья.

– Мы победим, – повторила Брита Кайса. – Все наладится. Подумай сам. Благодаря тебе даже бедняки обрели надежду и утешение.

– И что?

– Посмотри хотя бы на Юсси. Он уже читает и пишет лучше, чем богачи в Пайале.

– Да, мы зажгли факел, – ответил прост. – Наш факел горит, он греет и освещает путь. Но огонь – штука обоюдоострая. Неосторожное движение – и пожар.

– Спи, дорогой мой муж.

Он взял ее за руку так нежно, как брал когда-то, когда они были женихом и невестой. Легонько сжал и долго, долго не отпускал.

II

*Лают собаки,
Коровы мычат,
Вновь начинается
Вечный закат.*

*Что делать мне
В ожидании вечера?
В ожидании вечера
Делать нечего.*

*Лежу и смотрю
На вечный закат.
Грешница скоро
Отправится в ад.*

«Найти жену», – сказал прост. А что искать – я уже нашел. Как увидел, так и понял: нашел. Вот она, моя жена. Но как пробить ледяной забор, которым она от меня отгородилась?

На рыночной площади слышал разговоры: вроде бы собираются устроить танцы. Не для знати – для простых людей, подальше от господских взглядов. И место выбрали – коровник на летнем выпасе. Он стоит на отшибе, на лугу, но вокруг большой лес, там никто не помешает. В субботу, попарившись в сауне и надев все чистое, парни и девушки двинулись на танцы.

Я не хотел идти – и в то же время очень хотел. Там соберется вся молодежь прихода, а среди них я почему-то чувствовал себя стариком. А может, это страх – я не мог понять. На всякий случай выстирал рубаху, но мне все равно казалось, что она грязная. Мало того – пахнет гарью. В сауне даже горячая вода припахивает гарью.

– Юсси?

Я вздрогнул – прост. Зашел в сауну совершенно неслышно, как кошка. Будто подкрался. А я как раз окатил себя ледяной водой, уже нашел чистую тряпку, чтобы вытереться, – и почему-то застеснялся, повернулся к нему спиной. Сделал вид, что приглаживаю волосы.

– Говорят, нынче будут танцы.

– Я не слышал.

– А разве ты не собираешься пойти?

Я почувствовал, что краснею. Он видит меня насквозь. Помню, я впервые что-то соврал, и он тут же поймал меня на лжи.

– Для дьявола танцы – как мясо для мух, – пролепетал я, заикаясь.

Прост помолчал – дождался, пока я, стесняясь, вытру промежность.

Я торопливо натянул штаны.

– Девушку убили, – коротко сказал он и, помолчав, добавил: – Только ты и я знаем правду. И убийца где-то поблизости.

– Наверняка исчез из наших краев. Он теперь далеко.

– Боюсь, что нет. Это наверняка кто-то из тех, кого мы знаем. И если это так, он обязательно явится на танцы.

– Но, учитель... вы же можете отменить танцы. Вы же прост.

– Могу... может быть. Может быть, могу. Но я как раз подумал: а вдруг ты туда пойдешь?

– Я не собирался...

– Ну да, ну да... но если все же пойдешь – прекрасная возможность понаблюдать. Тем более мы кое-что про него знаем. Он выше меня ростом – синяки на шее у бедняжки от рук побольше моих. Наверняка силен. Был где-то в предгорьях – помнишь, мы нашли в сене горный вереск? И конечно, жаден до женщин.

Я уставился на проста. Он смотрел на меня почти ласково. Даже положил руку на плечо.

– Тогда я пойду, наверное, – пробормотал я.

– Только будь осторожен, Юсси. Очень тебя прошу – Бога ради, будь осторожен.

Он пошел к двери, но обернулся:

– Если кто-то будет спрашивать – я ничего про эти танцы не знаю и знать не хочу.

Вдоль обычно пустынной лесной тропы в Кентте тут и там слышались тихие голоса. Лес жужжал так, что даже комары попрятались в кусты, – со всей округи шли юноши и девушки. Дети арендаторов, прислуга, наемные работники. Конюхи и служанки спешили исчезнуть с хуторов и пугливо оглядывались: а вдруг хозяин или хозяйка найдут для них какую-нибудь работу и позовут обратно.

Ближе к коровнику лес поредел, а потом и совсем кончился. Дальше был выпас. Мягкий свет без помех лился с вечернего неба. Солнце видно не было, но оно легко угадывалось, его светом было пропитано белесоватое марево над горизонтом. Над лугом витал легкий смолистый дымок от костра – его развели не чтобы греться, вечер и так был очень теплый. От комаров, конечно, но и для уюта. Тут и там стояла молодежь группками – группка парней, группка девушек, еще группка парней. Никто пока не решался подойти к избраннику или избраннице. Из коровника время от времени доносилось удивленное мычание коров, не привыкших к такому скоплению людей. Все косились на пристроенный к коровнику большой сарай – оттуда слышались глухие удары, словно кто-то молотит рожь. Иногда – нечленораздельные выкрики и смех.

Девушки-служанки то и дело поглядывали на меня как-то странно. Взгляды эти впивались в кожу, как иглы. Одна насмешливо мотнула головой в мою сторону, что-то сказала, и все засмеялись. Я с трудом сдерживал желание повернуться и уйти назад в лес.

Подожли двое парней и направились прямо в сарай. А я-то зачем здесь стою, где все на меня показывают пальцем? – подумал я и решительно двинулся за парнями, проталкиваясь через небольшую, но тесную толпу у дверей. И сразу почувал запах спиртного. Один из парней остановился почти на пороге, выудил из кармана бутылку с мутноватой жидкостью, и оба сделали по хорошему глотку – прямо из бутылки. И тут я его узнал. Это был Руупе, тот самый рыжий верзила, который грозил мне ремнем. Тот самый, кому моя возлюбленная без всяких протестов отдала ведро с рыбой, и он нес его до самого ее дома.

Глаза рыжего блестели.

– Гляньте, уж не пасторский ли это шаманенок? Послушай-ка, а это правда, что прост нашел тебя в канаве? Ты вроде бы лежал под камнем, как тролль. Даже говорить толком не умел. – Он преувеличенно широко распахнул объятия.

Приятель нетерпеливо толкнул его локтем в бок и потянул на себя очень низко, серую от старости дощатую дверь сарая. Я увернулся от объятий, пригнулся, пролез в дверь и оказался в шевелящейся полутьме. Здесь было очень влажно и жарко, остро пахло потом и еще чем-то – как мне показалось, чем-то опасным. Глаза понемногу приноровились к темноте, и я увидел, что парни и девушки двигаются как бы строем. Вернее, хороводом. Девушки образовали внутренний круг, а парни внешний, и оба круга движутся в противоположном направлении, так что каждый раз перед парнем оказывается новая девушка, а перед девушкой – новый парень, и так все время. Два круга постоянно соприкасались, и эта непозволительная близость показалась такой угрожающей, что меня даже слегка затошнило.

Поспешив отойти к стене, я обнаружил, что не один такой, там стояли и другие, они тоже не решались вступить в этот потный, колышущийся хоровод.

На ящике из-под картошки стоял певец. Тонкий, хрупкий, с почти детским лицом. Очень маленького роста, а голос такой высокий, что сразу не поймешь – мужской или женский. И песня была странной, я никогда ничего подобного не слышал. Он то ли пел, то ли смеялся, мне даже трудно описать. Голос его вдруг забирался высоко-высоко и начинал странно, похоже на смех, вибрировать. А потом, как по лестнице, с какими-то завитушками опускался вниз. Я никак не мог заметить, дышит он или все это поется на одном дыхании, но ритм был точно; он словно заполнял весь сарай, и даже стены, как мне показалось, подрагивали в такт его песне. Он пел что-то вроде: ля-ди-ли-ди, ля-ди-ли-ди, дамм-ляди-дам-да, и опять: ля-ди-ли-ди, ля-ди-ли-ди, дамм-ля-ди-дам-да. При этом язык у него ворочался так быстро, что я никогда и не думал, что такое возможно. И никаких музыкальных инструментов. Я не знаю никого в наших краях, кто мог бы насобирать денег на скрипку. Самодельные флейты, правда, были, пастушки носили их с собой на выпасы – считалось, что звуки таких флейт отпугивают хищников. Меня бы точно отпугнули. Но какой самый замысловатый инструмент может быть лучше человеческого голоса! Этот недоросток просто-напросто отбивал такт на фанерном ящике. Отбивал такт и пел. Пел и пел – и будто заморозил всех, кто набился в этот сарай. Он пускал трель за трелью, и парни и девушки в хороводе все теснее прижимались друг к другу.

И вдруг песня кончилась. Он замолчал так неожиданно, что все растерялись и смутились, обнаружив nepозволительную близость. Девушки, служанки и пастушки опустили головы, уставились на свои сапожки или принялись разглядывать самодельные украшения на запястьях. Начали шептаться и слегка подталкивать друг друга.

Певец прокашлялся, видимо, накопилась слизь, отпил из бутылки, прополоскал горло и проглотил. Я смотрел на него как замороженный. Незаметный, маленький, узкоплечий, если встретить на дороге, и не глянул бы. Но тут-то он был самым главным. Танцоры бросали на него умоляющие взгляды. Он улыбнулся и закрыл глаза – словно заглянул к себе в душу, словно выбирал из огромного склада, где, как разноцветные мотки шерсти, скопились сотни песен. Потянул за нужную ниточку, попробовал голос, опять прокашлялся, на этот раз как-то странно, пискляво, – и запел. Теперь это был финский вальс, но не веселый и праздничный, какими обычно бывают финские вальсы. Нет, вальс был грустный и медленный: любимая ушла к другому, а он смотрит на звездное небо, тоскует и поет о своей тоске.

Постепенно образовалось несколько пар. Они закружились по дощатому полу, но их было немного, большинство скромно отошли к стене, смотрели и слушали. Рядом со мной оказались две девушки, одна из них нечаянно толкнула меня бедром и тут же отодвинулась. Мгновенный укол счастья – она подошла так близко, что я мог бы ее обнять. А может, притвориться, что споткнулся, и вроде бы нечаянно опереться на ее плечо?

Здесь, в этом большом сарае, мы оказались в другом мире. Здесь не было вечно недовольных хозяев, не было старух по углам, никто не бросал на нас неодобрительные или даже осуждающие взгляды. Здесь царила свобода – та свобода, которую в будни не знал никто из присутствующих. Они, может быть, даже толком не понимали, что значит это слово – свобода. А тут она пришла к ним сама и улыбнулась пленительной и коварной улыбкой – никто вами не командует, кроме вас самих. У вас нет хозяев – вы сами себе хозяева. Можете делать что хотите. Даже тяжелый, опьяняющий воздух казался сладким. Я дышал, словно пил. И опять дышал, и никак не мог насытиться, почти до головокружения.

И вдруг я увидел у своих губ бутылку. Руупе подошел так тихо, что я его не заметил. Под рыжими усами обнажились крупные желтые

зубы. Он улыбался.

– А теперь шаманенок выпьет коньячку...

Я, ни слова не говоря, перехватил у него липкую, захватанную бутылку с желтовато-мутным «коньячком» и представил, как размахиваюсь и бью этой бутылкой ему по виску, как он падает у моих ног. Мне очень ясно обрисовалась эта сцена: певец смолкает, общая суматоха, крик. И кровь, кровь – как прекрасно было бы вломить этому сукину сыну... и он понял, в глазах его полыхнул ужас. Но я удержался от соблазна – и, вместо того чтобы ударить, поднес бутылку к губам. Сделал два больших глотка змеиного яда и отдал ему зелье. А может быть, глотка было три – не помню. Руупе усмехнулся еще веселее и неожиданно хлопнул меня по плечу, будто с этой минуты мы стали друзьями не разлей вода.

Покачиваясь, наклонился ко мне совсем близко – намеревался поговорить. Я давно заметил: пьяные всегда друг с другом говорят так, будто шепчут в ухо, у них чуть волосы не путаются, но при этом голос не понижают. Обычно мне было противно на это смотреть, а сейчас – ничего, так и быть должно. Я посмотрел на Руупе, постарался, чтобы взгляд был суровым и изучающим, – мокрые губы, блестящий от пота лоб, рыжие жесткие усы. Они смешно задрожали, когда он закашлялся, и я отошел на шаг – вдруг вырвет. Но он встряхнулся, схватил за руку стоявшую поблизости девушку и закружил в вальсе.

Никогда раньше не пробовал я спиртного. Будто огонь проглотил, но только на мгновение. Жжение сразу прошло, зато немного заболел живот, там что-то стало расти, как огромное яйцо, росло и росло – и лопнуло, и из разбитой скорлупы высунулась когтистая лапа, а потом и покрытая чешуей голова. Дракон был на свободе. Я сам превратился в дракона. Небрежно кивнул Руупе с его приятелями и двинулся вдоль стены свободным, пружинистым шагом. Они хотели было за мной увязаться, но я, не оборачиваясь, махнул рукой – вы мне не нужны. На меня посматривали, но теперь уже без насмешки. С боязливым интересом. Встречаясь со мной взглядом, отводили глаза, поворачивались спиной и втягивали головы в плечи, будто пугались. В груди выросли новые, красиво изогнутые ребра, мало того – я стал выше ростом. Самое меньшее на два позвонка. И кровь стала заметно горячее; я ощущал ее пульсирующий поток не только внутри, я ощущал его кожей, и это было необычно и приятно. И самое главное:

мне не было страшно. Вообще-то не могу сказать, что мне было страшно раньше, до того, как я выпил самогона, но стало легче двигаться. Будто таскал на спине тяжелый мешок, а теперь сбросил. Я обошел весь сарай, потом сделал еще круг. Вышел на луг, вернулся. И никого не надо спрашивать, ни у кого не надо просить разрешения – передо мной открылся новый мир. Где-то там, в углу, все еще маячил прежний Юсси, но это лишь тень, призрак, не более того. Этот призрак с ужасом смотрел на происходящее – неужели Юсси пьян? Юсси прикоснулся к спиртному! Он следил за мной, рывками, как птица, поворачивал голову то туда, то сюда – но стоило ли слушать его ныть!

Я подошел к певцу, встал рядом и без всякого страха, без всякого стеснения смотрел на танцующих. Среди них было много знакомых лиц. Все они жили в селе или на близких хуторах, кое-кого я знал только по имени, но были и совсем неизвестные парни и девушки. Может, пришли из Финляндии. Или с предгорий, или с побережья – кто их знает, откуда они тут взялись.

Мне казалось, все куда-то спешат; торопливость сквозила в движениях, во взглядах, в разговорах. Что-то должно случиться сегодня и сейчас. А потом суббота кончится, и опять настанут изводящие тяжелой работой скучные будни. Чем больше я смотрел на танцующих, тем сильнее крепло ощущение этой лихорадочной спешки.

В глубине души я понимал: дракон. Во мне вылупился дракон. Вот так все и происходит: он машет крыльями и застилает мраком наши глаза. Мраком, да...прекрасным, волнующим мраком. Он позаботился обо всем: руки стали легкими, а ступни уж совсем невесомыми; он позаботился, чтобы мои взгляды стали двусмысленными, и не забыл придать обычному приветственному жесту наготу желания.

И вдруг я почувствовал угрозу. Что-то должно случиться, опасность все ближе. Дверь открылась. Я повернулся к двери и на фоне светлого прямоугольника увидел ее.

Она нерешительно остановилась на пороге.

Моя возлюбленная. Моя Мария.

Она сняла платок, распустила волосы, наверняка ей жарко после долгой ходьбы. Я смотрел на нее, и вокруг ее головы мне почудилось золотое сияние... нет, не почудилось, так оно и было; она стояла

против света, и низкое, внезапно пробившее облака вечернее солнце щедро золотило ее и без того золотые волосы. Она выглядела, как картина за алтарем. Вот она обменялась парой слов с подругой и вошла в сарай.

Пока она меня не видит.

Сладкий туман опьянения словно рассекли мечом, в нем появились крутые и пустынные ущелья, и из этих ущелий поднимался едкий туман одиночества. Но это продолжалось недолго, горячая вспененная кровь хлынула со склонов, и провалы начали заполняться...

...Кровь, кровь... закололи кабана, на дворе стоит старуха и взбивает мутовкой текущую кровь для пудинга, другая подсыпает ржаную муку, на сморщенных лицах мелкие брызги крови... обе хохочут, их беззубые рты открыты, как открывается и округляется влагалище оленей, когда на них пытаются взгромоздиться самец...

Господи, как мне хочется до нее дотронуться... Положить руку на плечо, почувствовать тепло ее тела сквозь тонкую ткань блузки. Я приближаюсь к ней, ноги мои легки как пух, я лечу, как летят полозья санок по только что выпавшему снегу, – ничто меня не может остановить. Я кладу невесомые пальцы на ее плечо... она поворачивается – вот, вот, уже сейчас... сейчас мы провалимся в музыку, в потный, возбужденный круг.

Но нет – она мельком глянула, похоже, что не увидела, и обратилась к подруге, служанке из Кентте. Они пошли к центру, и женщины во внутреннем кольце хоровода разняли на секунду руки и дали им место. И я тоже. Я расцепляю руки двух парней, втискиваюсь в мужскую цепочку, и тело мое словно членик гигантской гусеницы, одно среди множества разгоряченных тел. Певец по-прежнему заливается, постукивает в старый фанерный ящик, и в том же ритме глухо бьют в скрипучий деревянный пол подошвы множества ног. Оказалось, поймать ритм совсем несложно. Шаг влево, два шага вправо. Весь сарай превратился в огромное бьющееся сердце. Ритм вальса, счет на три: бу-уфф, пауза, бу-уфф, пауза, бу-уфф. Девушки поворачиваются лицом к центру, парни, наоборот, от центра, все как бы отворачиваются друг от друга. А потом словно опомнились, еще один поворот, и – рраз! – самый волнующий миг: каждый оказывается лицом к лицу с новой партнершей. Я покосился в сторону – скоро

дойдет очередь и до моей возлюбленной. Вот она сделала шаг от меня, притопнула – и тут же два шага ко мне, в том же нервно пульсирующем ритме. Бу-уфф, короткая пауза, бу-уфф... Раз, два, три, раз, два, три...

По обе стороны я крепко сжимаю потные мужские руки. Повернулся спиной. Лицом. Опять спиной – и вдруг она стоит передо мной. И, наконец, она меня заметила, опустила голову, опять подняла и уставилась на грудь моей рубахи.

Как долго ждал я этого мгновения...

– Мария... – почти шепчу я.

И она посмотрела мне в глаза. Наверняка поняла: ничего, кроме хорошего, я ей не желаю. Но как же короток этот сладкий миг! Очередной удар в фанерный ящик, очередная сладкая рулада, две цепочки двинулись дальше. И всё.

Певец спел последний куплет, выбил на своем ящике смешную дробь и замолчал. А я не могу прийти в себя от потрясения. Мария не испугалась меня, не закричала, как в тот раз... Наверное, удивилась, увидев меня в общей мужской цепочке, в этой стене мускулов, выпяченных грудей, жилистых рук и могучих бедер. Увидела – и поняла: я – один из них. Такой же, как все, один из многих, не шаман и не тролль.

Вот она разговаривает с подружкой. Чуть ли не уткнулись лбами друг в друга, то и дело смеются, но мне кажется, она думает обо мне. Держусь поблизости: а вдруг посмотрит? На всякий случай вытер потные ладони о штаны: а вдруг придется пожать ей руку? Певец приложился к бутылке, вернулся на свое место и запел. На этот раз песня зажигательно веселая и ритмичная. Публика оживилась еще больше, даже сам сарай, как мне показалось, задышал быстрее.

Какой-то парень, покачиваясь, подходит к Марии и берет ее за руку. Он пьян, она хочет вырвать руку, но хватка у него крепкая, он тянет ее за собой. Это Руупе.

И тут дверь в сарай с грохотом отворяется, в проеме появляется огромный, окруженный дымом силуэт. В воздухе запахло очень приятно. Я узнал этот запах: короткий коричневый цилиндрик.

Сикарр.

Нильс Густаф постоял немного, точно принаравливаясь к ритму музыки, сунул сикарр в зубы и начал хлопать ладонями совершенно в

такт, и при этом будто из ружья стрелял. Оглушительно.

Он собирает левую ладонь в лодочку, а правой хлопает – вроде бы не сильно, а получается как выстрел. Хлопки отскакивают от его ладоней, как упругие, твердые мячи. Потом он начинает притопывать каблуком кожаного сапога, но не одновременно с хлопками, нет, вставляет глухие удары сапога точно между хлопками, удары эти звучат эхом. Причем, как ни странно, ничего не нарушается, наоборот: они словно подхлестывают ритм, тот становится еще более зажигательным и упругим.

Продолжая хлопать и притопывать, Нильс Густаф вплыл в сарай. Он так уверенно двинулся к центру, что кружащиеся пары без всяких возражений уступили ему дорогу. Небрежно отодвинул Руупе от Марии, надвинул шляпу на глаза – и вдруг прыгнул! Прыгнул на удивление высоко, для таких-то размеров. Мало того, в прыжке успел хлопнуть в ладоши и щелкнуть каблуками, словно природа наградила его способностью висеть в воздухе. Пусть недолго, но все же висеть.

Нильс Густаф прошел с Марией целый круг, поглядывая из-под своей шляпы не только на нее, но и чуть не на каждую девушку в сарае. И они ему отвечали восторженными взглядами! Ничего удивительного – они никогда не видели ничего подобного. И я не видел. Даже предположить не мог, что мужчина может выделять такие номера. Недостойно, вызывающе, наверняка греховно... во всяком случае, человек в своем уме вряд ли бы на такое решился. Но девушки, похоже, так не считали. Они, как я уже сказал, не отрывали от него глаз. Губы увлажнились, то и дело прикладывают кулачки ко рту – еле удерживаются от восхищенных выкриков. Кому под силу устоять против колдовства? Против истинного колдовства музыки и танца? Все эти прихлопы и притопы, невероятные по изяществу прыжки заморозили публику. Мне показалось, изменился даже характер музыки: не музыка для танцев, а священнодействие. Певца разобрало, он увеличил темп, открывал рот так, что всем были видны ярко-красное небо и натруженный язык. Он пел самозабвенно и при этом ухитрялся широко улыбаться новому гостю. Он уже был не один в толпе профанов, у него нашелся единомышленник, брат по духу, они творили музыку вдвоем, и она рвалась в дверь, просачивалась через низкий потолок, через щели в стенах, ее наверняка слушали птицы, звери, насекомые – сама природа.

Нильс Густаф в очередной раз прыгнул, щелкнул в воздухе каблуками – и песня в то же мгновение закончилась, будто он этим щелчком поставил точку, будто они с певцом составляли теперь одно целое.

В зубах у него по-прежнему торчит теперь уже совсем коротенькая, но исправно дымящая сикарр.

Наступает тишина. Нильс Густаф подходит к певцу и ерошит ему волосы, как маленькому мальчику.

– В Хельсингланде!^[16] В Хельсингланде, вот где! Вот там уж умеют вертеть ногами! – восклицает он на мало кому понятном шведском и обводит глазами сарай.

Певец хохочет, и веселье мгновенно распространяется на всех. Всем становится весело. Но настороженность не исчезает. То, что гость явился издалека, понятно без объяснений. Но что ему надо? Уж не какой-нибудь ли чиновник с поручением – порядок навести?

– А вы когда-нибудь танцевали кадрили? Нет? Слышали хотя бы, что есть такой танец? Сейчас научимся. Дам попрошу встать вот здесь, да, вот так. Мужчины – по другую сторону.

Он подталкивает меня к остальным парням, не сильно, но властно, как волна на реке. Подходит к певцу и начинает мурлыкать на каком-то неизвестном диалекте довольно быстрый и бодрый мотив. Певец слушает, потряхивает в такт головой – и вот он уже подхватил мелодию. Куплет – припев, куплет – припев.

Художник выходит в центр и показывает движения. Сначала господа идут к середине, отходят, потом то же самое делают дамы (он так и называет нас, «господа и дамы»). Танец напоминает хоровод, но намного торжественнее. Так, наверное, танцуют в господских усадьбах.

– А теперь разбиваемся на пары и кружимся. По часовой стрелке.

Большинство не понимает, что он говорит на недоступном им шведском языке. Остается только показать. Он хватает ближайшего, то есть меня, отрывает девушку от протестующего кавалера, вlepяет ей с хохотом поцелуй в щеку и сует мне ее руку. Это Мария. Под взглядами всей толпы он показывает, как я должен обнять ее за талию и как ей, моей возлюбленной, следует положить руку мне на плечо.

– А теперь кружитесь, только шаги должны быть небольшими. Вот так, да, именно так.

И я танцую с моей любимой! Она держит руку на моем плече, смотрит в глаза, не отводит взгляд. Она уже меня не боится! И мы кружимся, кружимся, как будто в целом мире нет ничего более само собой разумеющегося, ничего более нормального; мы с ней словно одно тело, слитое в волшебном танце. Пара рядом с нами все время спотыкается, начинает заново, Нильс Густаф что-то им показывает – а мы кружимся, кружимся, кружимся, свободно и естественно, будто всю жизнь только этим и занимались. Нас словно несет волна на пенящемся, белом, вспыхивающем солнечными искрами гребне.

Теперь надо разойтись на два шага, Нильс Густаф впереди, он неумоимо учит каждому движению. Скоро мы опять встретимся, она и я. Счастье захлестывает меня, мое тело кажется мне слишком маленьким, как одежда, когда из нее вырастаешь...

Художник провел с нами весь вечер. Болтал с девушками, размахивал руками, поясняя непонятные им шведские слова, – и они, хоть и смущаясь, охотно отвечали ему на своем деревенском финском.

Наконец он пошел к выходу.

Я выскользнул за ним.

Он отошел на опушку леса и начал расстегивать штаны.

Я вздрогнул.

Сзади к нему большими шагами приближается рыжий Руупе. Ему, наверное, тоже понадобилось отлить. Но нет – в руках у него дубинка, и идти он старается тихо, не идет, а подкрадывается. Поднимает свою дубину, как топор, размахивается... я не успеваю даже крикнуть – сейчас обрушит ее на голову Нильса Густафа. Он его убьет! А художник даже не подозревает о смертельной опасности.

Но что это? Нильс Густаф делает изящный, почти танцевальный шаг в сторону, избегая удара. Ловким движением хватает Руупе за руку, заворачивает за спину и поднимает как можно выше. Тот сгибается в три погибели, дубина падает на траву. Другой рукой художник мгновенно отщелкивает застёжку на поясе Руупе, стаскивает с него нож, подносит к носу парня и, что-то сказав, вместе с ножнами закидывает в чашу. Потом неторопливо застегивает штаны и возвращается в сарай.

Все это происходит мгновенно и выглядит как танец, как часть кадрили, которую он пока еще не успел нам показать. Руупе, сжав зубы

от боли и грязно ругаясь, выпрямляется, потирает руку и бежит в лес искать свой нож.

А я пытаюсь сообразить – что же это было такое? Неужели у художника глаза еще и на затылке? Он стоял, отвернувшись, мочился – и все равно заметил опасность. В этом было что-то сверхчеловеческое.

Сколько же силы в буквах, хотя они и такие маленькие. Неровные тонкие черточки. Но вот они появляются в церковной книге, одна за другой, и на тебе! Новорожденный, хрупкий комочек плоти, превращается в крещеного христианина, члена общины.

Каждая такая закорючка ничего из себя не представляет, если она одна. Но когда прост научил маленького саамского мальчика ставить их в определенном порядке, что-то произошло. Это как с костром – что толку от одного полена? Но добавишь еще одно, потом парочку, сложишь в определенном порядке, оставишь промежутки для воздуха – и вот уже весело полыхает огонь. Буквы дают друг другу жизнь, молчаливые сами по себе, в обществе себе подобных они неожиданно начинают разговаривать. Ничего не говорящие *I* и *s* становятся словом *Isä*, Исэ, что означает «отец». Но может означать и другое: Бог. Тоже отец, только Небесный. Буквы умеют танцевать вальс, умеют водить хоровод, они берут друг друга за руки и составляют ряды, а ряды эти все длиннее и длиннее; как это получается – уму непостижимо. Смотришь на эти черточки и петельки – молчат. Сами по себе буквы молчат. Но одним движением губ тебе дано вдохнуть в них жизнь. Превратить их во что угодно – в зверей, мебель, человеческие имена. Удивительно, конечно: ты смотришь на закорючки, ничего не делаешь, а они вдруг превращаются в твоей голове в слова. Нет, даже не в слова. В вещи и тела. К примеру, глаза смотрят на пять буковок, *M-a-r-i-a*, а в голове совсем другое: покрасневшие щеки, блестящие глаза, ее рука в моей.

Кто научил мальчика читать? Прост.

Сел рядом, ласково хлопнул по спине.

– Давай еще раз попробуем.

– И... с-с-с...э-э-э... Исэ!

– Вот и научился! – засмеялся прост.

– Ничему я не научился.

– Смотри!

Он быстро написал несколько букв.

– Йи...йу... Юсси!

– Вот видишь! Дверь приоткрылась.

Какая еще дверь? Я вспомнил слышанную в церкви проповедь.

– В Небесное Царство?

Прост засмеялся еще веселее.

– Сам увидишь, Юсси. Но ты должен практиковаться. Читай все, что попадет под руку.

И с этого дня мир наполнился буквами. Финские санки, если смотреть спереди, похожи на «Н», мотыга – на «Е», пасхальный крендель, который печет Брита Кайса, – на «В». Тощий мужик с большой головой – «Р», а толстая тетка в широкой юбке – «А». Доходило до того, что я смотрел осенью на сучья облетевшей березы и в их замысловатых переплетениях видел буквы. Новву филит умну... что это за слова? Язык деревьев, березовый язык... береза стоит на ковре желтых, как золотые медальоны, опавших листьев и шепчет загадочные, непонятные и волнующие слова. Мне становилось страшно, хотелось все забыть, вернуться в уютное незнание, в те счастливые времена, когда береза была только березой – и ничем больше. Но это уже не в моих силах. Дверь приоткрылась – только теперь я понял, что имел в виду прост.

Я рассказал ему о своих страхах, но он не стал меня утешать. Улыбнулся и достал с полки книгу, наверняка не раз читанную его детьми, даже некоторые страницы порваны. Я принял ее как сокровище. Обложка была тверже, чем бумага. Светло-коричневый картон, уже кое-где отклеившийся.

– Садись и читай. Книга на шведском языке, если какие-то слова не поймешь – спрашивай.

Я сел на пол и прислонился к стене спиной. Скрестил ноги, так что получилось что-то вроде столика. Устроил книгу и осторожно открыл. Первая страница была еще тоньше остальных, почти прозрачная – и пустая. Я ее перевернул и увидел картинку: на земле лежит человек с закрытыми глазами, а над ним стоит другой. Убийца,

наверное. Нет, в руке стоящего горшок, он собирается напоить и накормить лежащего.

Ми-ло-серд-ный.

Это слово прочитать было очень трудно. Мило-серд...

– Милосердный – значит добрый. Добрый самаритянин. Это замечательная притча. Она учит людей помогать друг другу.

И я начал продираться через чащобу неведомых слов. Боялся переворачивать страницы – а вдруг запачкаю? Несколько раз мыл руки, и все равно – на всякий случай взял соломинку и вел ею вдоль строки, проговаривая букву за буквой, пока они не становились словом – все равно непонятным, потому что шведским. Приходилось то и дело спрашивать детей проста, что означает то или другое слово. Они смеялись над моим произношением и дразнились, пока Брита Кайса на них не прикрикнула. Прошло немало времени, прежде чем я перевернул первую страницу.

В книге было очень много картинок, мне было трудно на них смотреть, но оторваться я не мог. Я видел много грабителей, видел, как они отнимали у людей последнее, даже одежду, да еще и избивали в придачу. Сколько таких бродило по нашим дорогам, да и сейчас наверняка бродят. Я видел, как сильные унижают слабых, как до полусмерти, а иногда и до смерти избивают лошадей, видел собак с перебитыми ударами ноги хребтами, видел нищих с протянутой рукой, в которую вместо хлеба летели плевки.

Но вот в самый тяжелый момент мимо идет добрый самаритянин. Он останавливается, хотя никакой нужды останавливаться у него нет, он никогда и в глаза не видел этого несчастного. И у него нет никаких причин ему помогать – кроме доброты. Я видел его перед собой, этого самаритянина. Он был похож на проста. А этот избитый, умирающий путник – это я. Что было бы, если бы прост в тот день не сжалился и не взял меня с собой? Я так бы и остался животным. Никогда не стал бы я человеком.

Много дней подряд, как только выдавалась свободная минутка, я бежал к этой книге. Я положил ее на кусок холста, чтобы не повредить, и медленно вел соломинкой от слова к слову – будто пробирался через густые лесные заросли. Путь к последней странице продолжался очень долго. Лес наконец кончился. Я добрался до конца, перелистал с самого начала пожелтевшие страницы, еще раз посмотрел на

картинки – и закрыл. Корешок порван, но он, кажется, и был порван. Открыл наугад и положил руку на разворот. Странно – бумага была прохладной, ее серебристая шелковистость напоминала бересту. Для сравнения положил руку на доску – дерево теплой.

Теперь, когда я все прочитал, страницы опять погрузились в молчание. Осмотрел книгу со всех сторон, даже приложил ухо – ни звука. Но ведь я уже знал, что там, внутри, знал наперед, что будет, если начну читать снова. Непонятно. Книга – живое существо? Если нет, откуда тогда все эти картины, все эти голоса? Я же видел Палестину, пока читал! Я там был, в этой далекой Палестине! И этот добрый человек из Самарии – мне казалось, я встречался с ним, трогал его одежды! И куда все это делось, когда я захлопнул книгу?

А может, закрытая книга читает сама себя? Буквы летают со страницы на страницу, жужжат, как шмели. Или, скорее, они летают, как семена, носители будущей жизни, и, чтобы укорениться, им нужен перегон, которым туго набит человеческий череп.

Все стены в кабинете проста были уставлены шкафами с книгами. Черные и бурые корешки с маленькими золочеными буквами. В этих книгах в сотни, а может, и в тысячи раз больше страниц, чем в детской книжке с картинками про доброго самаритянина. Когда я на них смотрел, у меня начинало быстрее биться сердце. Неужели прост все эти книги прочитал? Как он справляется с этой нечеловеческой тяжестью, если я не могу избавиться от гнета и обаяния одной-единственной небольшой книжечки? Неужели в душе так много места? Я замечал: иногда прост, когда он пишет свои проповеди, задумывается. Вытаскивает, даже не поворачиваясь, из плотной стены корешков нужный кирпичик и начинает листать тонкие шелковистые листы в поисках нужного места. При этом губы его шевелятся, будто он с кем-то разговаривает.

Он разговаривает с книгой. Недостатка в собеседниках у него нет. Если у человека есть книги, одиночество ему не грозит.

– Я хочу читать, – взмолился я. – Можно почитать еще что-нибудь?

Сельма, старшая дочь, достала с полки книгу и протянула мне. Я завернул ее в рубаху и носил у сердца, как носят младенцев. И вела она себя тоже, как младенец: я ее еще не открыл, но уже чувствовал теплые, требовательные толчки.

В воскресенье в церкви было очень мало народу. Молодые, те, что накануне ходили на танцы, пытались скрыть зевоту, а пожилые ворчали что-то насчет греха и жизни в разврате.

Прост предупреждал: лето – время соблазнов. Мы должны остерегаться попыток дьявола вывести нас на широкую, но коварную дорогу. Дорогу, ведущую в ад. Опять заговорил о спиртном. Спиртное, сказал прост, самый большой и трудно вырываемый корень зла. В который раз осудил кабатчиков – они, дескать, продолжают заниматься своим грязным делом, хотя ясно видят, в какую бездонную пропасть толкают людей. Я слушал вполуха, все время оборачивался на дверь. Марии не было. Я надеялся, что она все же придет. Опоздала – мало ли что. Но она не появлялась. А к концу службы в церковь проскользнул здоровенный дядька. Тихо присел в заднем ряду, а когда начались оглашения, поднялся, подошел к просту и начал что-то нервно шептать. Он и в самом деле нервничал: переминался с ноги на ногу, крутил свою шляпу, словно собирался ее куда-нибудь пристроить и не знал куда.

Прост выслушал его, поднял голову и внимательно и серьезно обвел взглядом присутствующих, будто хотел каждому заглянуть в глаза. Прокашлялся и перевел дыхание.

– Тут говорят, что со вчерашнего вечера никто не видел девятнадцатилетнюю служанку Юлину Элиасдоттер Иливайнио. Если у кого есть что сказать, сообщайте мне. И, конечно, ее отцу, Элиасу Иливайнио, – он кивнул на стоящего рядом арендатора.

Прост подождал немного, точно надеялся, что вот сейчас кто-то встанет и скажет что-то вроде: «А что с ней? Я ее час назад видел, когда в церковь шел».

Но все молчали. Прост кивнул Элиасу, и тот неуклюже двинулся на свое место.

После службы учитель его подозвал, и они долго разговаривали, стоя перед алтарем.

- Когда Юлину видели в последний раз?
- Вчера вечером... еще до ужина.
- Куда Юлина собиралась?

– А вот этого она не сказала, господин прост. В общем, чего там... не знаю я, куда она собиралась. Не только что куда, а даже вообще не сказала, что уходит.

– Мне говорили, вчера были танцы.

– Ага... вот оно что. Значит, на танцы пошла, что ли?

– Она ушла одна?

– Я же говорю: ничего про танцы не сказала. Вообще ничего не сказала – ушла, и все.

– А что на ней было?

Тут и я вмешался в разговор.

– Светло-серая юбка, блузка. Полосатый фартук, черные сапожки. Волосы заплетены в косы с красными бантами.

Я выпалил все это и покосился на проста. Тот промолчал, но, по моему, остался доволен моей наблюдательностью.

– Значит, Юсси ее знает?

– Не то чтобы... ну как сказать... в общем, знаю, кто она такая. Юлина много танцевала вчера.

– С кем?

– Не скажешь с кем... с разными. Руупе, знаете, с заводской конюшни, ее несколько раз вытаскивал. Здоровенный такой, рыжий.

– Он и раньше к ней подкатывался, – вставил Элиас.

– А потом с Нильсом Густафом, ну, вы знаете, учитель, – с художником. Ну с ним-то... с ним почти все женщины плясали.

– Почти все?

– Художник танцует так, что... мастер, одним словом. Наши так не умеют. Прыгает, кружится... нет, у нас никто так не может. Да я никогда и не видел, чтобы кто-то так танцевал.

– А что было после танцев?

– Не знаю... что было после, не знаю.

Прост посмотрел на меня, хмыкнул и повернулся к Элиасу:

– Может, кто-то пошел ее провожать. Не появится в ближайший час, начнем искать. Прежде всего в Кентте, потом пойдем по тропам оттуда. Где-то она же должна найтись.

– Неужели прост думает... – Элиас замолчал и с трудом выдавил: – Опять медведь?

На этот вопрос прост не ответил, и арендатор, понуриив голову, побрел к выходу.

– Руупе? – произнес прост с вопросительной интонацией.

– Что – Руупе?

– Юсси... я же вижу, у тебя есть что рассказать. Ты просто не хотел при Элиасе. Выкладывай!

Он и в самом деле видит меня насквозь. Я прокашлялся.

– Ну... этот Руупе... Он и вчера бузил. Выпил порядочно и к девушкам приставал.

– Что значит – бузил?

– Прилип к этой Юлине... и к другим тоже. Они вырывались, но куда там...

– Спиртное туманит мозги.

Я вспомнил приятный жар, внезапную уверенность, свободу, смелость... и проглотил слюну. Неужели прост догадался, что я и сам хлебнул перегонного?

– Руупе пытался напасть на Нильса Густафа. Думаю, приревновал.

– Вот как?

– Пытался пришибить его сзади деревянной дрыной. Но художник увернулся, скрутил Руупе и закинул его нож в кусты.

Прост задумался.

– Руупе, Руупе... – произнес он, как бы вспоминая. – Я его не видел сегодня в церкви.

– Отсыпается. Наверняка отсыпается.

– А Нильс Густаф оставался там весь вечер?

– Еще как! Ему нравится с девушками. А как он танцует, вы бы поглядели, учитель!

– В самом деле?

– Еще как! Я ничего такого в жизни не видел. Прыгает и кружится как котенок, когда играет.

– А ты сам? Тоже прыгал и кружился?

Я помялся немного.

– А разве это грех – танцевать?

– А о чем ты думаешь, когда танцуешь?

– Откуда мне... нет, этого я не знаю.

– Ну хорошо... а что было дальше?

– Но, учитель...какой же это грех! В церкви же тоже... когда вы проповедуете, тоже... люди закрывают глаза, раскачиваются... это же

тоже танец!

Прост посмотрел на меня внимательно и недовольно.

– Я-то думал, ты будешь искать преступника.

– Там столько всего было...

– Расскажешь по дороге домой.

После полудня за поиски Юлины взялись уже всерьез. Подружка рассказала – Юлина после танцев собиралась домой. Никто ее не провожал, настроение у девушки было прекрасное. После этого никто ее не видел. Как сквозь землю провалилась. Прочесали лес около Кентте и пошли по тропинке, по которой она, скорее всего, шла домой. Даже не скорее всего, а точно, другого пути просто не было. Парень, помощник конюха, заметил чуть в стороне большой сарай, который летом использовали как склад. Подергал – заперто. Хотел уже было уходить, но все же заглянул в щелочку и обратил внимание: дверь заперта изнутри. Это показалось ему подозрительным, он просунул в щель нож и, немного повозившись, отодвинул засов. В сарае никого не было, но внезапно ему почудились слабые звуки на чердаке, что-то там шевелилось. Наверняка мышь. А может, горноста́й. Парень на всякий случай поднялся на чердак. В углу были свалены несколько мешков. Откинул верхний – и обомлел.

Там лежала Юлина Элиасдоттер.

Глаза широко открыты. В первую секунду парня охватила паника – решил, что она мертва. Схватился за пульс – и вдруг она издала отчаянный, леденящий душу вопль. Так кричит заяц, когда его сцапает лиса. Он попробовал успокоить девушку, но она его будто и не слышала. На крик сбежались и остальные. Снести ее по шаткой, прогнившей лестнице не решились – нашли канат, обвязали вокруг талии и спустили вниз. Срубили две молодые елки, очистили от сучьев, кое-как привязали мешки и на этих импровизированных носилках понесли домой. Попытались спросить, что с ней случилось, но на все вопросы она только закрывала лицо руками и тихо стонала. Девушку трясло, как в лихорадке. Принесли домой и поскорее закутали в несколько теплых одеял.

Послали за простом: нашлась Юлина Элиасдоттер. Попросили захватить потир^[17] – а вдруг придется совершить последнее причастие. Прост молча дал знак, и мы поспешили в дорогу.

Идти было близко. Во дворе курной избы Элиаса стояли, переминаясь с ноги на ногу, несколько парней – почти все, кто помогал в поисках. Прост наскоро поздоровался и поспешил в дом. Там царила давящая тишина. У стола, понутив головы, сидели сам Элиас и его взрослые сыновья. Один из них встал и предложил просту стул, а сам, скрестив ноги, уселся на пол.

Едва прост успел поздороваться, дверь распахнулась и на пороге появился исправник Браге в неизменном сопровождении секретаря управы Михельссона. Браге небрежно поздоровался и вытер ладонью красную вспотевшую физиономию.

– Где девушка?

Хозяин молча показал на дверь в спальню. Открыли дверь. В спальне царила полутьма. Все шторы закрыты. У кровати сидела жена Элиаса Кристина, худая женщина с узловатыми мужскими плечами. Она время от времени мочила тряпку в ведре, выжимала и смачивала девушке лоб.

Юлина лежала совершенно неподвижно. Михельссон остался стоять у двери, как караульный, а исправник подошел, наклонился и некоторое время вглядывался в исцарапанное, мучнисто-бледное лицо.

– Спит она, что ли? – Взял у матери из рук тряпку, вытер потный лоб и повторил: – Спишь? Это я, исправник Браге. Что с тобой случилось?

Девушка молчала, будто не слышала вопрос. Он вытянул руку и помедлил, словно боялся до нее дотронуться. Потом все же решился, через одеяло взял ее за плечо и легонько потряс.

Тишину прорезал хриплый, надрывный крик. Девушка забилась, кое-как высвободила из-под одеяла руки и начала колотить исправника. Он перехватил ее за запястья, но она продолжала вырываться и кричать.

– Ты что, не слышишь? – прикрикнул он. – Это исправник Браге! Кончай драться!

Тело девушки изогнулось дугой в отчаянной попытке высвободиться, и он почел за лучшее оставить ее в покое и отойти на безопасное расстояние.

Юлина перестала кричать. Выставила сжатые кулачки, приготовилась бить, царапаться, кусаться, любой ценой защищать свою жизнь. Невидящие глаза широко раскрыты.

– Эти фасоны не по мне, – строго заявил исправник.

Он тщательно вытер капли слюны с мундира. Кристина ринулась было ему помочь, но он остановил ее величественным жестом.

– Юлина... – произнес он. – Тебя ведь зовут Юлина?

Она молча уставилась в потолок.

– Кто-то тебя обидел, Юлина?

Молчание.

– Это был медведь? На тебя напал медведь?

– Она и с нами не разговаривает, – извинилась Кристина.

– У меня нет времени на эти фокусы. Почему Юлина молчит? Рассказывай. Медведь? Кивни по крайней мере.

Слабое движение головы.

– Она кивнула, – уверенно сказал исправник.

Мать не решилась возражать. Мне-то как раз вовсе не показалось, что девушка кивнула утвердительно. Но я промолчал. На всякий случай.

– Я-то думал, людоеда уже поймали, – тихо, без выражения, как бы рассеянно произнес прост.

– Значит, поймали не того. Объявим еще одно вознаграждение. Он от нас не уйдет. Раньше или позже мы с ним покончим.

– Предплечья. – Это так же без выражения. Прост словно заскучал.

– Что – предплечья?

Прост подошел к кровати и, бормоча что-то успокаивающее, приподнял одеяло. Глаза девушки по-прежнему были широко раскрыты и устремлены в одной ей ведомые дали. Некоторое время он, не прикасаясь, изучал ее руки, покрытые багрово-синими пятнами, особенно неприятными на фоне идеально белой кожи.

– Кто-то держал ее за руки. Точно так, как недавно показал нам исправник. – Он еле заметно, но не без ехидства, ухмыльнулся. – Следы пальцев совершенно очевидны.

– А почему это не медвежьи когти? Очевидны! Для меня не менее очевидно, что это следы медвежьих лап.

– Юлина, – начал прост тихо и ласково, не обращая внимания на замечание исправника. – Расскажи, дорогая моя девочка, очень прошу. Кто напал на тебя в лесу? Постарайся вспомнить.

Может быть, девушка поддалась на мягкую, почти нежную, отеческую интонацию. Она на долю секунды отвела руку от губ, еле слышно прошептала: «Seolimies» – и снова прижала кулак ко рту.

– Что она там бормочет? – Исправник начал раздражаться.

– Мужчина, – перевел прост.

Исправник недоверчиво покачал головой, но тут вмешалась мать. Кристина тоже слышала – это был мужчина.

– И как же он выглядел, этот твой мужчина? – Браге постарался не упустить инициативу. – Может, ты его узнала? Это твой знакомый?

Он подождал, потом повторил вопрос. Девушка закрыла глаза и медленно отвернулась, легла щекой на подушку.

– Знакомый? Незнакомый? Большой? Маленький? Как одет?

Юлина начала шептать что-то неразборчивое. Прост наклонился поближе и вслушался.

– *Sehaisikonjakille*, – повторил он по-фински. – От него пахло коньяком.

– Еще бы не пахло, – пожал плечами исправник. – Еще раз: как он был одет?

Юлина даже не шевельнулась. Она и была бледной, а сейчас стала еще блее, в бледности ее появился зловещий голубоватый оттенок. Вот-вот потеряет сознание, а там, глядишь...

Прост поднялся с колен.

– Личность мужского пола, от которой пахло коньяком, – резюмировал исправник. – Какой-нибудь работник. Возвращался, сукин сын, с танцев, увидел юбку, вот его и разобрало.

– Похоже на тот случай, с Хильдой, – сказал прост. – Ту тоже заманили в сарай и пытались задушить.

– Юлина ни слова не сказала про задушить, – возразил исправник.

– Но вы же видели следы у нее на шее.

– Но ведь Хильду задрал медведь! – послышался голос от двери. Михельссон не сводил с Браге преданных бледно-голубых водянистых глаз.

– А кто же? Ясное дело, медведь. Думаю, даже господин прост не сомневается в доказательствах.

– Вторая жертва за лето. Где-то среди нас скрывается убийца и насильник.

– Пьяный батрак, – заключил исправник Браге. – Держу пари. Ей не следовало идти домой без провожатого.

– Вы, значит, так считаете... а я боюсь, этот случай не последний.

– Давайте сделаем так, господин прост, – вы будете заниматься своим делом, а мы своим.

Он подозвал Михельссона, и они встали между простым и девушкой, как непреступная стена.

Прост пожал плечами, подал мне знак, и мы вышли во двор. И так было понятно: в присутствии исправника и его оруженосца она не скажет ни слова.

Я покосился на учителя.

– Ничтожество, – пробормотал он.

Любой бы заметил: прост, всегда такой сдержанный, кипит от негодования.

Подошла дворняга, осторожно вильнула хвостом и обнюхала наши колени. Я протянул руку ее погладить, и она ткнулась в ладонь мордочкой. Небольшая, рыженькая, с острыми ушами и ласковыми черными глазами. Прост достал из рюкзака вяленое оленьё мясо, отрезал кусок, протянул собачонке, и его гневную мину на секунду сменила улыбка: дворняга не выхватила кусок, а взяла зубами и терпеливо ждала, пока прост отпустит неслыханное лакомство.

Понемногу подходили соседи – видно, слухи о нападении на девушку уже просочились. Но прост был не в настроении обсуждать случившееся. Отвернулся, посмотрел на облака, взял меня за руку и потянул за собой.

В нескольких метрах от дома Элиас построил сауну. Прост открыл дверь. В предбаннике чуть не на пороге лежала куча тряпья. Он показал на нее пальцем. Я присмотрелся: нет, не тряпье. Женская одежда. Наверное, готовятся к стирке.

Прост нагнулся и стал разбирать ворох. Юбка, белье, незамысловатая блузка.

– Видишь, Юсси?

– Что?

– Это же наверняка одежда Юлины. Та, что на ней была вчера.

Он прикрыл за собой дверь сауны, поднял тряпки и стал рассматривать у маленького, как бойница, окошка.

Юбка из грубой шерсти, прилипшие сухие соломинки. Он вывернул, поднес ближе к свету и показал пальцем. Я присмотрелся и увидел темное, еще не просохшее пятно. Он поднес его к своему немалому носу и понюхал.

– Мужское семя. Будем считать, что это сперма насильника... или как?

Вопрос остался без ответа, потому что я не понял, спрашивает он или уже сделал для себя вывод. А учитель продолжал возиться с тряпками. Грязь – наверняка с пола в сарае, где ее нашли. Мышиный помет застрял в шве. Черное пятно. Я решил было – кровь, но он заставил меня понюхать. Пахло чем-то острым, даже копченым.

– Знаком тебе этот запах, Юсси?

– Жир... или, скорее, смола... и еще что-то. Но не деготь, пахнет не так резко...

– И что же это может быть?

– В церкви так пахнет, – вдруг осенило меня. – Скамьи.

Прост понюхал еще раз.

– Правильно, Юсси. Сапожная мазь.

– Ну да... я же сказал...

– Мазь, которой смазывают воскресные сапоги.

– Гуталин?

– Вот именно. Гуталин. Бедняки им не пользуются. Во-первых, дорого, а во-вторых, саамы ни за что не откажутся от своих оленьих унтов. Их обувь пахнет чем угодно – псиной, костным мозгом, но только не гуталином.

Прост достал носовой платок, положил на черное пятно, прижал и подождал, пока впитается.

– Но как сапожная мазь попала на изнанку?

– Он задрал ей юбку и уселся верхом. Запиши все, что мы видели.

Я поспешно вытащил лист бумаги и карандаш, а прост продолжал осмотр одежды. Теперь настала очередь блузки. Наверняка она когда-то была белой, но за годы стирки стала желтовато-серой. Кое-где заштопано, зашито. И пуговицы разные.

Я поделился с простом своим наблюдением.

– Правильно, – согласился он. – Мало того: верхняя пуговица оторвана. А посмотри сюда, Юсси!

Я нагнулся и увидел несколько маленьких бурых пятнышек.

– Кровь? Вроде бы свежая...

– Обрати внимание на форму. Они имеют вид клякс. Кляксы образуются, когда жидкость падает сверху. Ты же сам делаешь иногда кляксы, когда пишешь. Сорвалась капля – и разбилась в кляксу. Это раз. На изнанке блузки их почти не видно – это два. О чем это говорит?

– Что кровь на нее откуда-то брызнула...

– Продолжай.

Меня осенило:

– Что это не ее кровь! Это кровь кого-то еще!

– И кого же? Как ты думаешь?

– Преступника! Это кровь убийцы и насильника!

Прост кивнул, медленно набрал в легкие воздух и так же медленно выдохнул.

– Значит, этот негодяй ранен...

Белье Юлины сильно пахло потом. Но это был не просто пот – ну, вспотела от жары, и все дела. Я знал запах оленьего пота. Олени потеют, когда приближается волк. Это пот испуга, и пахнет он испугом. Смертельным испугом.

– Киркохерра? Господин пастырь?

Дверь сауны открылась. На пороге стояла Кристина. Вид у нее был до крайности удивленный. Прост поспешил собрать одежду в кучу.

– Это ведь одежда Юлины? – спросил он. – Та, в чем она была вчера на танцах?

Кристина нервно кивнула. Прост соорудил суровую мину.

– Сделайте одолжение, не стирайте, пока не посмотрит исправник.

– А господин исправник с господином секретарем уже ушли.

– Да? Тогда поступайте как хотите. Вообще-то все это неважно. Только... нам хотелось бы еще разок попробовать поговорить с Юлиной.

В спальне было очень душно. Воздух застоялся: все окна наглухо закрыты. Девушку укрыли с головой, и если бы простыня чуть заметно не шевелилась от дыхания, можно было бы подумать, что она мертва. Никто не произнес ни слова, но странным образом пережитый ею ужас ощущался в комнате, как смутная тревога, как запах гари еще далекого, но беспощадного пожара. Должно быть, пока нас не было, исправник продолжал задавать свои вопросы и делиться с домашними унижительными выводами. Мать сидела на табуретке рядом с кроватью. Она безвольно уронила руки и время от времени вздрагивала всем своим изможденным телом. Отец и братья молча стояли у дверей, сжимая и разжимая кулаки.

Прост запел псалом «Ты нес Твой крест, Отец наш Иисус» – я всегда поражался, откуда в таком щуплом теле такой теплый, такой бархатный голос. Он достал из дорожного саквояжа потир и шкатулку с облатками. Кристина тоже сложила руки и притворилась, что поет, хотя видно было, что слов псалма она не помнит. По памяти прост спел еще один псалом: «Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих, призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои».

Пение, как мне показалось, подействовало на Юлину благотворно. Дыхание стало не таким поверхностным – возможно, сообразила, что рядом с ней уже не исправник, а священнослужитель. Прост зачитал утешительные слова о признании грехов и следующем за признанием непременно прощении, затем неторопливо приступил к ритуалу, который совершал сотни, если не тысячи раз у постели тяжелобольных и немощных старцев. И вот что странно: мне показалось, что даже воздух в комнатке стал пахнуть по-иному. Грозное присутствие смерти ощущалось уже не так остро, не так неизбежно. Прост знаком велел мне открыть окно. Я откинул тяжелую холщовую штору, и в комнату, как порыв свежего ветра, ворвался живительный свет летнего дня. Девушка вдруг начала извиваться под простыней, как угорь, будто свет причинял ей боль. Прост прочитал слова причастия и тут же, очень медленно и вятно, начал читать «Отче наш». При первых же словах молитвы девушка трясущимися руками откинула с лица простыню, и ее искусанные, израненные губы зашевелились. Совершенно беззвучно, но видно было: она повторяет слова молитвы.

Прост причастил девушку Христовой кровью и плотью – и тут произошло нечто необъяснимое. Тело ее изогнулось в судороге, по крошечной комнате прокатилась горячая волна, а прост вжал голову в плечи и долго стоял на коленях, прежде чем собрался с силами, чтобы прочитать завершающую молитву.

Кристина заметила, что пастырю не по себе, и поспешно протянула ему свое единственное лечебное средство – влажную тряпку. Он благодарно кивнул, вытер лоб и осторожно погладил девушку по щеке.

– Юлина... – тихо сказал он. – Юлина... дорогая моя девочка, Юлина... – Услышав свое имя, произнесенное трижды, Юлина открыла глаза. – Зло побеждено. Темные силы отступили.

Она по-прежнему избегала его взгляда, но было совершенно очевидно: девушка слушает.

– Мы должны остановить насильника. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось.

Прост дал знак всем покинуть комнату. Никто не спешил выполнить его просьбу – всем было любопытно знать, что же скажет бедняжка. Учитель не стал настаивать. Он склонил голову в молитве и молчал, пока спальня не опустела. Я тоже хотел уйти, но он меня остановил. Быстро извлек из торбы бумагу и карандаш и сунул мне.

– Что у тебя с головой? – спросил он, на всякий случай, очень тихо.

Я тоже был почти уверен: у дверей подслушивают.

Она молчала. Слышала ли?

– Я вижу на правом виске... Можно чуть-чуть откинуть волосы?

Не дожидаясь ответа, прост осторожно отвел в сторону прядь волос. На опухшем виске красовался безобразный синяк.

– Запиши, – кивнул он мне, что я и поспешил сделать. – А шею можешь показать? – Прост постарался попросить как можно мягче, без нажима.

И тут она посмотрела ему в глаза. Блеснули огромные черные зрачки.

– Я только посмотрю... ничего страшного.

Прост понимал – после всего пережитого ее пугало любое прикосновение. Но так и непонятно, разрешает она осмотреть шею

или нет? Ни согласия, ни отказа. Только задышала быстрее – хрипло, с перерывами.

– Если бы ты позволила мне чуть-чуть откинуть простыню... вот так, теперь я вижу. На шее синяки. Тебе больно?

На этот раз – впервые за все время! – она почти незаметно утвердительно наклонила голову и судорожно, со всхлипом вздохнула.

– А откуда они, эти синяки? Ты помнишь?

Юлина хотела что-то сказать, но голос ей не повиновался. Подняла руки и растопырила пальцы наподобие когтей.

– Он? Он начал тебя душить?

Она, по-прежнему молча, но выразительно показала, как насильник схватил ее за шею, начал трясти и как она почти потеряла сознание.

– А дальше? Он тебя отпустил?

– Нет... – с трудом прошептала она единственное слово.

– Значит, ты что-то сделала?

– Там... у тропы...

– Это важно. Значит, он напал на тебя в лесу, а не в сарае. Схватил за шею и начал душить. Но тут что-то случилось?

Юлина слабо кивнула.

– Кто-то помешал? Кто-то проходил мимо?

– Нет... это я... я...

Ей было трудно говорить, при каждом слове она морщилась от боли. Замолчала, подняла руку и махнула, будто отрубила что-то.

– Ты его ударила? Сильно ударила?

Она, не опуская руки, показала на голову, а потом сделала такое же рубящее движение.

– Не понимаю... Юлина?

Она повернула голову и показала на волосы.

– Он схватил тебя за волосы?

– Заколка... – сипло, еле слышно прошептала девушка.

И прост тут же понял.

– Ты ткнула его заколкой для волос?

Кивок.

– В какое место ты его ткнула?

Юлина подняла руку и дрожащими пальцами прикоснулась к левому плечу проста.

– В плечо? – Он возбужденно кивнул мне: – Запиши. Спасибо, дорогая девочка, это очень важно. То, что ты рассказала, – очень важно. А могу я взглянуть на эту заколку?

Отрицательное движение головы – нет, не можете.

– А ты знаешь этого мужчину? Кем бы он мог быть?

Юлина попыталась что-то сказать, издала какой-то странный, похожий на воронье карканье звук и натянула простыню на лицо.

– Лица ты не видела? Он закрыл лицо тряпкой?

Слабый кивок.

– Может, что-то еще привлекло твое внимание? Как он был одет? Бродяга? Наемный работник? Слуга?

– Х-х-х... – прошипела она, словно пытаюсь отхаркаться, – h-hh-h-herrasmies...

Прост глянул на меня. Я молча кивнул. Понятно. Herrasmies. Из господ.

– Спасибо, Юлина. Храни тебя Бог.

Губы девушки искривились, лицо сморщилось. Она внезапно перестала дышать, тело судорожно изогнулось. Прост молча склонился и пальцем начертил на ее лбу крест. Потом еще раз. И еще. При этом он что-то нашептывал, но так тихо, что я слышал только отдельные слова.

– Греха на тебе нет... ты спасла свою... защищалась... – И чуть громче: – Иисус с тобой, дитя. Протяни руку – и Он придет на помощь.

Дверь у меня за спиной скрипнула. Я оглянулся – Кристина. Она не вошла в спальню – от дверей робко и беспокойно смотрела на дочь.

– Сегодня ночью спите с ней, Кристина. Постель широкая. – Прост встал и расправил плечи.

Кристина молча кивнула.

– И еще... я хотел бы позаимствовать у вас вот это. – Он взял влажную тряпку, которой вытирал лоб Юлины, и сунул в карман.

Коровник в Кентте ничем не напоминал вчерашний праздник – огромное серое, полуразвалившееся сооружение. Никакой музыки, никакого пения – мертвая тишина, если не считать изредка доносящегося спокойного мычания животных на выпасе. Прост поднял с травы пустую бутылку, вылил последние капли на ладонь и с гримасой отвращения понюхал. Потом открыл дверь и вошел. Как только я сам переступил порог, вновь услышал музыку, ритмичные

удары, хлопки и притопы, увидел элегантные прыжки Нильса Густафа. Закрыв глаза и представил: моя рука все еще лежит на талии Марии.

Прост, ворча что-то себе под нос, поднял с пола ленту для волос – видно, кто-то потерял в лихорадке танца.

Пожал плечами, вышел на воздух, направился к опушке и внезапно остановился.

– Значит, Руупе напал на Нильса Густафа именно здесь? – неожиданно спросил он.

– Да, здесь... Но откуда учитель знает?

Он, ни слова не говоря, поднял с травы короткую, но довольно толстую дубинку. Замахнулся, прикидывая что-то, потом еще раз – и посмотрел на меня:

– Так?

– Да, верно.

Прост огляделся и пошел по следу в лес. Я двинулся за ним. Он все время нагибался и рассматривал что-то – точно так, как когда мы с ним выходили на прогулки в поисках какого-нибудь необычного растения. Внезапно он остановился и показал на густой низкий черничник – два или три крошечных кустика сломаны. Присел, отодвинул сломанные кустики и достал из мха нож.

– Да... это его нож, Руупе.

– Днем искать легче. Ночью хоть и светло, но не так, – резюмировал прост.

Сунул нож в карман и опять огляделся.

– Надо найти тропу, по которой шла Юлина. Иди вперед, Юсси. Крикни, если увидишь что-то необычное.

Мы медленно пошли вдоль тропы. Прост по-прежнему то и дело останавливался – что-то привлекало его внимание. Тропа была утоптана как никогда – ничего удивительного. Накануне здесь прошли десятки любителей потанцевать. Мы нашли несколько пустых бутылок, горки пепла, где парни выбивали свои трубки. Иногда попадались коричневые табачные плевки. Один из них угодил на лист купавы. *Trollius europaeus*, вспомнил я латинское название и мысленно похвалил самого себя.

– Юсси! – Я даже вздрогнул. Прост остановился и показывал на что-то. – Что думает Юсси вот об этом?

– О чем?

Мог бы и не спрашивать – на мху ясно виднелись следы.

– Большие... – сказал я неуверенно. – А рядом маленькие. Парень с девушкой, наверное.

– И еще кто-то... Странно.

Прост двигался, как собака, когда берет след, – рыскнет в сторону и возвращается, рыскнет и возвращается. Потом опять остановился и показал пальцем. Здесь земля была помягче, и след женского ботинка отпечатался очень ясно.

– Зарисуй-ка, Юсси, этот след. Погоди... Я дам тебе бумагу. Как можно точней, не упускай ни одной мелочи.

Довольно долго я, отмахиваясь от комаров, рисовал этот след. Даже прикладывал к нему рисунок, чтобы не ошибиться с размером. А прост пошел дальше.

– Смотри, Юсси! – крикнул он. – Мужчина и женщина идут вместе. Но за ними идет еще кто-то! Следы короткие, он крадется. И все время останавливается, прячется за кустами.

Я нагнал его и протянул рисунок.

– А вот тут преследователь остановился и спрятался.

Он показал на мох за поваленным, вырванным с корнями деревом, похожим на огромный гриб с мохнатой шляпкой. Мох и вправду был утоптан. Прост нагнулся и некоторое время внимательно разглядывал кустик багульника.

– Он долго здесь стоял, что-то высматривал... Ага... вот что он высматривал! Наша пара, должно быть, прилегла отдохнуть, – бледно усмехнулся прост и показал на смятый черничник на поляне. – Лежали, целовались, наверное. Обнимались... кто их знает, чем они тут занимались. А он стоял вон там, за деревом, и подглядывал. Но кто были эти двое?

– Юлина и насильник?

– Возможно, возможно... Нет, вряд ли. Склад, где нашли Юлину, довольно далеко отсюда. Не думаю, чтобы она, полузадушенная, могла туда добежать. А это у нас что?

Он сделал несколько шагов, встал на колени, раздвинул кустики черники и, почти не дыша, поднял с земли... Я сначала не понял, что это. Еловая шишка? Помет какого-то зверька?

Он передал мне находку – и я вздрогнул. Коричневый обрубок с серым обгоревшим концом.

Сикарр...

Мы направились в аитто, склад, где нашли Юлину. Прост не переставал выспрашивать, не заметил ли я на танцах что-то странное или, по крайней мере, необычное. Кто танцевал с Юлиной, не задирали ли кто-то, не считая Руупе, кто как был одет?.. Может, кто-то принарядился, как herrasmies, человек из господского класса? Я старался все припомнить, но не мог избавиться от ощущения, что подвел учителя. Я, конечно, видел и Юлину, и других девушек – но словно и не видел. Их черты расплывались, сливались в безликую массу, потому что я смотрел только на Марию.

Прост и я прошли уже довольно много, когда встретили на болотной тропе Элиаса, отца Юлины. На поводке он вел собаку. Сутулостью и могучим, слегка наклоненным вперед торсом Элиас напоминал вола. Шеи у него вообще не было – казалось, что большая голова растет прямо из широченных плеч. Он старался не смотреть просто в глаза. Разговаривая, поворачивал голову то в одну сторону, то в другую – и вправду, как вол в упряжке.

Элиас пошел впереди, указывая дорогу. За перелеском зеленело покрытое ряской небольшое болото, а за болотом – скошенный луг, на краю которого и стоял этот сарай, аитто, – традиционная для наших мест постройка с выступающим чердаком на сваях.

– Значит, Юлину здесь и нашли?

– Ну...

– И дверь была заперта изнутри?

– Ну...

– Исправник смотрел?

– И он, и секретарь.

Прост многозначительно на меня глянул. Я понял – он разочарован. Все ясно. Теперь-то мы никаких следов не найдем, кроме отпечатков сапог начальства.

– А вокруг сарая они тоже смотрели?

– Ну... кругом обошли.

– А подальше?

Элиас вопрос не понял. Задумчиво посмотрел на пастыря и почесал свой твердый и массивный, как колено, подбородок.

Сарай, как видно, никто запереть не озаботился. Прост вошел, огляделся и неожиданно ловко вскарабкался по лестнице.

– Здесь, значит, ее и нашли? – крикнул он сверху.

– Да... у стены. Там, где мешки.

Мы, Элиас и я, тоже поднялись на чердак. Прост нагнулся, потом выпрямился и кивнул сам себе. Поманил меня пальцем и почему-то шепотом сказал:

– Мышиный помет. Помнишь, Юсси, – застрял в шве юбки?

Мы опять спустились. Прост попросил меня запереть дверь на стоящий рядом засов и вышел из сарая. Я послушно сунул засов в железные скобы и услышал, как он дергает ручку.

– Здесь она была в безопасности. Она до того знала про этот аитто?

– У нас все про него знают.

– Значит, она поспешила сюда, как в убежище... но напали на нее не здесь. Где-то еще. Я не вижу следов крови.

– Исправник думает, что... – хрипло начал Элиас, но замолчал.

– Что думает исправник?

– Исправник думает, что она тут назначила свидание... Юлина? Да никогда в жизни!

Хрип перешел в рычание. Элиас выкрикнул последние слова с такой яростью, что я на всякий случай отступил на пару шагов.

– Скоро все узнаем, – попытался успокоить Элиаса прост.

– Юлина? Взбрдет же в голову! Она не из таких!

Прост уже не слушал продолжающихся заверений в не подлежащей сомнениям порядочности Юлины; он подошел к собаке, лежащей на привязи около старой березы. Увидев знакомого, похожая на лисичку дворняжка тут же встала и облизнулась. Прост погладил ее по голове, вытащил из кармана тряпку из дома Юлины и поднес к носу. Та на пару секунд зарылась мордочкой во влажную тряпицу и покосилась на проста умными карими глазенками. Прост отвязал от дерева поводок.

– Ищи! – коротко произнес он.

Несмотря на свои несерьезные размеры, собачка тянула довольно сильно, нам пришлось почти бежать по кочкам. Вскоре она остановилась в березовой поросли и замерла. Трава тут была примята, похоже на лежку лося. Я поначалу решил, что собаку взволновал лосиный запах, но она оглянулась на проста, который, очевидно, пользовался у нее большим уважением. Словно спросила – одобряет

ли он ее действия? Прост кивнул, и она тут же начала копать землю передними лапами.

– Умница! – похвалил прост и опустился на корточки. В вырытой ямке что-то блеснуло. Он достал блестящий предмет, отряхнул от земли и показал Элиасу. Это была длинная латунная заколка для волос.

– Узнаете?

– Заколка, как не узнать. Ее, говорю, заколка. Юлины.

Прост поскреб ногтем бурое пятно на металле и попробовал на язык.

– Кровь? – спросил я.

Он молча кивнул.

– Юлина ухитрилась ткнуть насильника этой штукой, как она и рассказала. Он ослабил хватку, она вырвалась, из последних сил добежала до сарая и там забаррикадировалась.

– Ее заколка, как же... на конфирмацию купили, как сейчас... ее, ее заколка. – Элиас протянул руку, но прост завернул заколку в платок и предупреждающе поднял руку.

– Пусть исправник посмотрит. Кстати, Элиас... Могу я попросить вашу рубаху? Протереть очки... Ткань подходящая.

Элиас удивленно пожал плечами, но рубаху неуклюже снял и протянул священнику. Прост протер очки и вернул рубаху хозяину. По взгляду проста я понял, зачем он попросил снять рубаху, – очки-то и без того чистые.

На плечах Элиаса никаких следов от удара заколкой не было.

– Спасибо.

Прост нацепил очки на нос и присел на корточки.

– Вы правы, Элиас, никаких свиданий в аитто Юлина не назначала. Нападение произошло здесь. На этом самом месте, где мы с вами стоим.

Он поднимал травинку за травинкой и тщательно их осматривал.

– Вот она, – с удовлетворением сказал он. В руке у него была пуговица с обрывком белой нитки. – Он разорвал ворот, чтобы добраться до шеи.

Пуговица переселилась в носовой платок к заколке. А учитель в очередной раз меня удивил: начал обнюхивать траву.

Помахал мне рукой: присоединяйся.

И уже через несколько мгновений мне ударил в нос знакомый запах. Тот же самый, что и у черных пятен на ее юбке.

– Гуталин? – прошептал я.

– Юлина пошла домой после танцев. Что произошло потом?

– Кто-то... то есть не кто-то, а насильник. Насильник пошел за ней следом.

– Да, скорее всего, так и есть. Возможно, он с ней танцевал и ему захотелось чего-то посущественней. – Прост задумался. – Помнишь, час назад... мы догадались, что некая неизвестная нам парочка шла по тропе, а кто-то за ними тайно следил? Думаю, этот кто-то и есть насильник. Он видел, как они залегли в траве и начали тискать друг друга или что-то там еще. Тискать или что-то еще... зрелище, несомненно, возбуждающее. Проснулось плотское желание... похоть, одним словом... Или как, Юсси?

Я почувствовал, что краснею, и пробормотал что-то вроде «да, наверное»...

– Наглядевшись, он покинул нашу парочку и пришел сюда. Распаленный до крайности, да еще и пьяный. Может быть, вспомнил Хильду Фредриксдоттер и распалился еще больше. А почему бы не повторить?

Я промолчал. Прост пробурчал что-то невнятное, потом оглянулся.

– Смотри-ка... тропа здесь почти прямая, прямее, чем в других местах. Так что прохожего видно издалека. Негодяй, скорее всего, спрятался... но не здесь, здесь она бы его заметила... Скажи мне, Юсси, если бы это был не он, а ты? Какое место ты бы выбрал, чтобы видеть ее, а она бы тебя не видела?

На другом конце тропы тесно росли несколько молодых елочек. Меня почему-то начало тошнить.

– Вон там.

– Именно там, – согласился прост. – Но... мы пытаемся рассуждать, как он. Пошли посмотрим.

Мы пошли к ельнику. Элиас остался с собачкой. За молодым ельником торчал старый, заросший лишайником пенёк. Около пня трава была примята.

– Как мы и подозревали. Здесь он и сидел в засаде. И глянь еще вот на это... – Он показал на валяющуюся у ног небольшую еловую

веточку. – Еще свежая.

– Срезал, чтобы не мешала подглядывать?

– Нет... скорее всего, нет. Думаю, он...

– От комаров отмахивался?

– Вот именно! Молодец, Юсси! Значит, пришел сюда заранее.

Задолго до того, как появилась Юлина. И что нам это говорит?

– Рассчитывал, что она будет возвращаться домой именно по этой тропе.

– Юлина, ты имеешь в виду... Но почему именно Юлина? Он же знал, что в Кентте танцы, мало ли там было красивых девушек... Когда девушки шли стайкой, он их не трогал. Ждал, пока появится кто-то без... – Прост замер на полуслове и быстро наклонился к пню. – А это что такое?

Он аккуратно поднял что-то двумя пальцами. Сначала мне показалось, что это засохший листочек осоки. Но нет, не листочек – крошечная деревянная стружка.

– Помоги мне, Юсси. Наверняка найдутся еще такие.

Мы начали переворачивать комки мха и шарить среди ярко-зеленых, глянцевых листьев брусники. Прост был прав – нашли еще несколько таких же стружек.

– И что это?

– А разве ты не видел такие же в моем кабинете?

Я взгляделся пристальнее. Явно соструганы ножом, а на некоторых видны знакомые темные следы.

– Карандаш... Это графит! Он чинил карандаш!

– Ну да... сидел и, пока ждал, точил свой карандаш, – пробормотал прост с отвращением. – Этот мерзавец сидел здесь и что-то писал в ожидании своей жертвы...

– Или... или рисовал? – нерешительно вставил я.

Прост завернул стружки в бумагу и подозвал Элиаса.

– Никого из незнакомых к Юлине не пускайте, – тоном приказа распорядился он. – Среди нас есть насильник и убийца.

Мы возвращались в усадьбу. Прост довольно долго шел молча, а потом спросил:

– Помнишь синяк у нее на правом виске? Что ты об этом думаешь?

– Наверное, он ее ударил.

– Да, и? Чем ударил?

– Думаю, кулаком.

– Давай-ка я попробую тебя ударить...

Я уставился на проста – что это с ним?

– Учитель хочет меня ударить кулаком в висок?

Он спокойно кивнул – да, мол, собираюсь, и, пока я приходил в себя от изумления, размахнулся правой рукой и остановил кулак в сантиметре от моей головы.

– Довольно неудобно.

– Попробуйте другой рукой, – с обидой предложил я. – Может, будет поудобнее.

– Вот это я и хотел сказать. Кстати... ты помнишь Хильду Фредриксдоттер? У нее был вырван клоч волос... и тоже справа.

– Учитель хочет сказать, что насильник... что насильник – левша?

Прост пососал трубку и выпустил внушительное облако дыма.

– Отлично, Юсси! Глубокая и верная мысль.

Люди очень боятся дьявола. Особенно когда он появляется в образе волка или змеи. Но многожды опасней дьявол в человеческом образе, а еще опаснее – дьявол в облике ангела, поскольку, если князь тьмы выступает как ангел света, спастись от него нелегко.

Обрывки тумана медленно рассеялись. Брита Кайса ласково погладила плечо мужа. В бледном, словно створоженном свете белой ночи щеки проста блестели от пота.

– Ты так беспокойно спал. Вертелся, метался. Чуть меня с постели не стряхнул.

– Мне снился медведь.

– Медведь? Еще чего...

– Да... огромный разъяренный медведь у нас под кроватью. Он пытался вылезти, кровать ходила ходуном, а я всеми силами пытался его не выпустить.

– Ты совершенно мокрый.

– Думаю, я сражался с князем тьмы. – Прост дышал тяжело, как после долгого бега. – Каждый день ощущаю его присутствие. Мне

кажется, он хочет уничтожить все, чего мы достигли здесь, на севере. Он покушается на самую нашу веру.

– Но мы выстоим?

– Каждое воскресенье мне кажется, что дьявол затесался в ряды агнцев Божьих. Сидит на скамье в церкви, один из тех, кто, сняв шапку, молча смотрит на крест Господень. Смогут ли мои проповеди его остановить? Смогут ли слова мои пробить чешую дракона, пронзить его ожесточенное сердце? Какие слова найти, чтобы победить затаившееся в нас самих зло?

Прост замолчал и уставился в потолок, будто рассчитывал там найти ответ.

– Юлина, – сказала Брита Кайса после паузы. – На нее напал насильник, но она нашла в себе силы выстоять. Она его узнает, если увидит.

– Он был в маске.

– Запах. Манера двигаться. Возбужденное дыхание, руки на теле. Женщины такое запоминают надолго.

– Не уверен... Она парализована страхом.

– Юлина сильная девочка. Со временем пройдет.

– Возможно, возможно... сильная – это да. Ей удалось его поранить.

– Как это?

– Ткнула в плечо заколкой для волос. До крови. И смогла убежать. Думаю, это спасло ей жизнь.

– Так чего же проще? Ищите раненое плечо!

– Это, вообще-то, дело полиции.

– Расскажи всем, что напал на след. Всем и каждому. Он испугается и больше на такое дело не пойдет.

– Может быть... – прост задумчиво кивнул, – может быть, и не пойдет.

Прост собрался в лавку в Пайале и попросил меня его сопровождать. Если ярмарка в Кенгисе кончилась, где, как не в лавке, узнаешь последние деревенские сплетни? Здесь часами толклись

любопытные – а вдруг какая-то новость? Кого-то поймали на разврате, кто-то подрался, кого-то обокрали. Братья перессорились, кто-то заболел, кто-то, упаси Господи, помер ни с того ни с сего. И уж конечно, на все лады обсуждали Юлину. Надо же – насильник ее чуть не удушил! А за каким лешим она поперлась на эти танцы? Сидела бы дома, как порядочная девушка. А может, – шепотом – ее же парень? Надоело ходить на коротком поводке, вот и не выдержал, решил взять свое.

Прост, кое-как отвечая на поклоны, подошел к лавочнику.

– Карандаши, – коротко сказал он. В лавке оказалось два сорта, он заплатил и за те и за другие. – А сапожной мазью богаты?

Лавочник Хенриксон открыл небольшой бочонок, и лавка сразу наполнилась острым запахом скипидара.

– Самые лучшие отзывы. Водоотталкивающая, – значительно произнес он и сделал жест бровями. Поднял, опустил и подмигнул – мол, этот секрет сообщаю только вам. Из уважения.

Прост сунул палец в бочонок, поднес к своему носу, потом к моему, вытер и сунул платок в карман.

– Цена высоковата.

– Настоящий гуталин. Высшего качества! Никогда не протухнет. Думаю, господин духовный отец вполне может себе позволить, – льстиво произнес лавочник.

– Значит, не каждый? Только обеспеченные господа... могут себе позволить, как вы выразились?

– Сам господин заводчик смазывает нашим гуталином. И ваш собственный пономарь – я знаю точно, у него особые сапоги для службы. Но поглядите-ка – к нам господин исправник!

В лавку вплыл исправник Браге и холодно кивнул просту.

– Вот господин прост сомневается насчет сапожной мази... Скажите, господин исправник, а вы довольны нашим гуталином?

– Как идет расследование? – спросил прост намеренно громко, чтобы лавочник наконец замолчал и наострил уши.

– Идем по следу, – важно сообщил Браге.

– Есть ли что-то, что люди должны знать уже сейчас?

– Похоже, какой-то бродяга. Не из наших краев. Люди видели.

– Да? А разве бродяга... – Прост покосился на лавочника. – Разве бродяга может себе позволить смазывать сапоги дорогим гуталином?

На юбке Юлины следы именно такой мази. Вы же наверняка обратили внимание.

Исправник не нашелся что ответить.

– Но вы же осмотрели ее одежду? – неумолимо продолжил прост.

– Само собой, само собой.

– Так что вы знаете, что насильник ранен...

– Ранен?

– Да...так называемая колотая рана. Юлине удалось ударить нападавшего заколкой для волос. В левое плечо. Его кровь на ее блузке. Хорошо, если люди будут знать. Колотая рана левого плеча.

– Да, разумеется...

– Она вряд ли успела зажить.

– Неужели господин прост перетряс ее грязные тряпки? – насмешливо произнес исправник.

– Конечно. Но вы же тоже это сделали. Перетрясли тряпки... Можно, к примеру, потребовать, чтобы все прихожане мужского пола показали левое плечо. Или у вас есть какие-то особые доказательства, что это был нищий бродяга? Не из наших краев?

Как прост ни старался скрыть злорадство, ему это не особенно удалось. Я, во всяком случае, заметил – он же, по сути, уличал исправника в лени и неумении делать свое дело. Все, кто был в лавке, слушали со все возрастающим вниманием. Прост мог бы быть и помягче, но цели своей он достиг: сегодня же об этом разговоре будет знать весь приход.

– К тому же я почти уверен, что Юлина, как только поправится, сама укажет нам преступника.

– Но он же был в маске?

– Есть особые признаки. – Прост пристально посмотрел на исправника. – Женщины большие доки по части деталей. Мы, мужчины, народ толстокожий. Нам на мелочи плевать, мы их не замечаем, но женщины...

Исправник подошел почти вплотную. Вид у него был угрожающий – не приведи Господи, ударит. Я чуть не насильно вытащил проста из лавки.

– Зачем вы так, учитель?

– Зато теперь каждая собака в приходе знает, что никакой бродяга здесь ни при чем.

– А Юлина? Вы же ее...вы же ее подвергаете опасности!

– Не думаю... Когда все станет известно, преступник поймет, что мы наступаем ему на пятки. Наверняка поостережется.

Мы сложили покупки и двинулись домой. У калитки лавки стояла женщина. Вся в черном, плечи приподняты, будто ей холодно. Судя про всему, давно дожидалась проста – как только завидела, всплеснула руками и бросилась к нему. Из-под платка торчал только острый покрасневший нос. Прост поймал ее похожую на птичью лапу руку и дружелюбно поздоровался.

– *Jumalanterve, мир вам и покой.*

Женщина попыталась ответить, но не смогла – пробормотала что-то нечленораздельное. Стуча зубами, протянула просту сложенный кусок ткани, но когда тот попытался его развернуть, вырвала и прижала к груди.

– Госпожа себя неважно чувствует? – участливо спросил прост.

– Нет... плохо... не я, не я! Мой мальчик...

– Ваш сын?

Она повернулась и почти побежала. Прост поспешил за ней.

– Расскажите, что вас мучает.

– Мой мальчик очень болен. Очень!

– Да остановитесь же на минутку! Давайте помолимся за вашего сына.

Она, не слушая, ускорила шаг.

– Остановитесь! – сурово скомандовал прост.

Она внезапно послушалась, замерла и повернулась к пастору. Бескровные губы сжаты в узкую, еле заметную полоску. Прост взял кусок ткани из ее ледяных рук. Она не возражала, только обреченно закрыла глаза.

Он развернул – детская рубашонка. Совсем маленькая, на новорожденного.

– Почему вы хотели отдать ее мне?

– Нет... – прошептала женщина.

– Как же – нет? Вы дали мне ее, а потом чуть не вырвали.

– Мальчик должен... эта рубашка должна быть на нем.

Только теперь прост понял, в чем дело. Глаза его блеснули.

– Исцелять может только Иисус, – сказал он спокойно.

Я вздрогнул – внезапно осознал, чего стоит ему это спокойствие.

– Иисус... – прошелестела женщина. – Jeesusken Kristuksen...

Она судорожно схватила проста за руку, точно хотела насильно втянуть в свое тело, проникнуться его воображаемой духовной мощью. Но потом опомнилась, низко поклонилась и прижалась влажным лбом к его руке.

– Мы будем молиться, – выдавил прост. – Что с вашим мальчиком?

– Корь...

Прост помрачнел. Наверняка вспомнил маленького Леви – отечное, пылающее лицо, светобоязнь, быстрое, лихорадочное дыхание. Сколько тысяч молитв он прочитал за душу малыша... тысяч, тысяч и тысяч.

– Иисус, – пробормотал он. – Святой Иисусе, услышь нашу молитву.

Женщина вдруг начала раскачиваться – вперед-назад, вперед-назад. С ее длинным острым носом она была похожа на клюющую птицу.

Пастырь, духовный отец стоял с закрытыми глазами и что-то бормотал. Около него начали собираться любопытные. Круг становился все теснее. *Jeesuksen Kristuksen... Вот-вот произойдет чудо – спасение невинного ребенка. Потом будут рассказывать, как все почувствовали дуновение теплого ветра, сладостного и упоительного, ветра, напоенного медовым ароматом, – и ветер подул не с лугов, а сверху, с небес.*

Люди окружали его все теснее, всем хотелось быть к нему поближе. Не кто иной, как прост зажег на нашем севере огонь Пробуждения и возрождения. Финские окраины полыхали духовным энтузиазмом. Но я не мог отделаться от мысли – а что, если он подкидывает в этот святой огонь не дрова, а хворост? Да, сейчас он пылает бойко и заразительно, но хворост долго не горит. Чуть-чуть тепла – и, глядишь, остались только выжженная земля да носимая ветром зола.

Неужели он всех обманул? Может, его энтузиазм излишен и даже вреден? Не лучше ли греть, чем гореть? Огонь веры необязательно должен стать пожаром, он может и тлеть. Тлеть бесконечно долго, как трутовик, почти не давая тепла, но постоянно напоминая о себе тонкой петлей дыма, которая не исчезает никогда. Не надо делать так много и

сразу, важно постоянство. Прост сто раз говорил, как он презирает служителей церкви с их обязательными цитатами из Библии, которыми они пичкают скучающих прихожан, с их тягучими литаниями, с их неприятием любых перемен, в том числе и перемен к лучшему.

Прост рассуждал по-иному. Не надо ползти в гору, говорил он, надо бежать – только тогда можно достигнуть вершины веры. И еще: чтобы выгрести против течения, надо грести изо всех сил.

Проповедуемое простым Пробуждение наделало много шума, и прихожане, кажется, одобряли его пылкость. На его проповедях сердца грешников бились быстрее, лица искривлялись в плаксивых гримасах, прихожане кричали и подпрыгивали в припадке *liikutuksia*, маниакального религиозного энтузиазма.

И мне иногда закрадывалась в голову мысль... Неужели все, чего он достиг, – всего лишь идолопоклонство, и средства изменили цель до неузнаваемости...

По дороге домой прост шел в паре шагов впереди меня. Значит, не в настроении. Когда в настроении, он с удовольствием рассуждает, спрашивает и азартно объясняет, поднимает локти и будто лепит слова руками. Кажется, держит в руках всю цепочку рассуждений, как держат подошедшее тесто, бесформенную расползающуюся массу, которую надо все время мять и перемешивать, чтобы не упала на пол. А сейчас руки вяло повисли вдоль туловища. И молчит.

Я заметил: большинство людей ведут себя, как олени. Хотят быть вместе с остальными, со стадом. Если олениха хрюкает, тут же начинают хрюкать и другие. Если олень трубит сигнал опасности, бегут все, хотя сами никакой опасности не видят и им ничего вроде бы не грозит. Главная сила – страх. Кругом враги – росомаха и волк, медведь и рысь. И наверное, у людей так же. Страх. Человек всего боится, таким уж создал его Господь. Мы должны любить и бояться Господа, объяснил Лютер. Но не меньше, а может, и больше мы любим и боимся друг друга. И сильнее всего страх потерять друг друга, остаться в одиночестве, выпасть, лишиться хоть и призрачного, но все же спокойствия, которое дает стадо.

Но с простым все не так. Он словно другой породы. Все вокруг кричат – а он молчит как рыба. Все идут вперед – он сворачивает в сторону. Пробовать ему грозить или насмехаться над его убеждениями – значит лить воду на его мельницу, помогать в этих убеждениях укрепиться. Он видит то, что видит, а не то, что должен видеть по закону стада. И вот что удивительно: его совершенно не пугает начальство. Вот, к примеру, со спиртным – кто не любит приложиться к бутылке? Народ с удовольствием хлещет перегонное, а кабатчики подливают и набивают кошельки звонкой монетой. И все счастливы. Кому это мешает? Что плохого в водке? Первая рюмка согревает, вторая веселит, третья развязывает язык. И что в этом дурного? Разве сам Иисус не пил вино?

Но прост видел другое. Он видел то, чего я досыта насмотрелся в детстве. Валяющиеся в грязи безвольные тела с полными штанами дерьма и в луже блевотины. Налитые кровью глаза, языки, слизывающие с кружки последние капли ядовитого пойла. Все так делают, все пьют, всё стадо. Стадо бежит вперед, а прост свернул в сторону. Он, наверное, самый храбрый человек из тех, кто мне повстречался в жизни.

Из-за своего упрямства и храбрости он очень одинок. Я тоже одинок, но уж никак не из-за храбрости. Мои детские губы постоянно кровоточили от бесконечных затрещин, а руки были покрыты никогда не сходящими синяками от немилосердных щипков. Но хуже всего была ее привычка при малейшей провинности драть меня за волосы. Хватала прямо у корней, чтобы было больней, и принималась драть, как репу. Дергала и мотала, пока не начинала сочиться кровь и волосы не слипались в клейкую кашу.

Сестре доставалось не так часто. Она была тихой и покорной, никогда не возражала, только смотрела на меня своими большими... чересчур большими глазами. Она так и не выучилась ползать, как все дети. Вместо этого елозила на попе, помогая себе маленькими ручонками. Выглядело это довольно смешно, ведьма, когда была в настроении, называла ее зайчиком. Я помню ее попку – красная, в ссадинах и ранках от щепок и колючек. Мухи и комары садились и сосали кровь, и вся кожа между ног выглядела как одна большая рана. Она сдирала пурпурно-красные корки и кричала от боли. Я поворачивал ее на живот, плевал на ранки и втирал слюну – других

мазей у меня не было. Когда сестренка немного подросла и начала ходить, ведьма кинула ей свою драную кофту, но лечить кожу все равно было нечем. Она садилась писать, и щель между ног выглядела как след от удара топором. Я научил ее вставать в раскоряку над тлеющими углями – тонкий слой смолы покрывал ранки. Это помогало, по крайней мере, отпугнуть мух и комаров. Но она все равно чесалась, чесалась, чесалась – непрерывно, днем и ночью.

– Зайчонок, – каркала ведьма и хохотала. – Иди-ка сюда, зайчонок.

И сестра, моя родная сестра, залезала к ведьме на колени. Та вынимала изо рта полупрожеванные оленьи жилы, иногда кусочек мяса, из которого высосала весь сок, а иногда просто мучную жвачку – и давала ей. Мучная жвачка пополам с ядовитой слюной из ее поганой пасти... но это тоже еда. Другой не было.

У нее было два имени, у моей сестры. Самые красивые имена из всех, что я знаю. Анне Маарет. Но ведьма ее так не называла. Зайчонок. Поглядите-ка, что зайчонок вытворяет. Лапкой жопу чешет, ну вылитый зайчонок. Но я называл ее по имени. Рядом была небольшая роща кривых карельских берез, мы уходили с ней туда, и я шептал в ее расчесанное до крови ухо: Анне Маарет... Анне Маарет. Смотри, Анне Маарет, я приберег для тебя немного хлеба.

Я решил бежать и звал ее с собой. Кричал, плакал, тянул за собой так, что чуть не вывихнул ей руку. Но она была слишком мала. Мне было не под силу ее спасти. Никогда, умирать буду, не забуду ее горький, тихий плач. Она держалась за ведьмину юбку и плакала. Так безнадежно, так отчаянно. А ведьма, эта гора протухшего мяса и завшивевших волос, храпела. Она ничего не видела и не слышала. Ведьма. Я никогда не решусь назвать ее матерью.

И я бросил сестру. Я бросил единственное существо, которому я был дорог и которое было дорого мне. И остался один. Отбивался от комаров и думал: хорошо бы родиться комаром. Комар живет быстро, неприметно и не мучается.

Вот и все. Меня не пугает – а вдруг кто-то меня бросит?

Я уже брошен.

Прост одинок, потому что идет против всех. А я одинок, потому что и был одинок, и буду одинок всегда.

Вот такие мысли лезли мне в голову, пока я шел за понурым и молчаливым учителем. Два диких оленя, которых не взять ни одним

арканом.

Он велел зайти в его кабинет. Молча достал нож и стал чинить оба купленных карандаша. Стружка была другой, чем та, на месте преступления. Карандаш насильника куплен в другом месте, не в лавке в Пайале. А вот сапожная мазь, гуталин, пахла точно так же – он дал мне понюхать. Я очень хорошо помнил этот запах – похож на деготь, но не деготь.

Скипидар.

Враги проста делали все возможное, чтобы отравить ему жизнь. Теперь написали донос в Соборный капитул – он якобы отказал молодой матери в крещении ее младенца. На самом деле прост не отказывал, но поставил условие: никакой пьянки по этому поводу. Жалоба была анонимной, но все прекрасно понимали, что написал ее не кто иной, как местный кабатчик. Отметить крещение – как же без этого? После появления проста его доходы, да и не только его – доходы почти всех кабатчиков в наших краях уменьшились чуть не вдвое. Прост обжаловал решение, но Капитул обязал его выплатить женщине ни много ни мало триста риксдалеров – более чем чувствительная сумма.

Прост призывал саамов не закладывать свои серебряные украшения в кабаках, а жертвовать их на помощь самым бедным и на школы. Уже это вызывало разговоры – а не опускает ли он серебро в собственный карман? Или в карманы родственников? И это была не первая жалоба – доносы сыпались как из рога изобилия. Ни один не подтверждался, но расчет простой: когда-то церковному начальству надоест. Надо продолжать закидывать его грязью, что-то да прилипнет.

Наконец в Соборном капитуле приняли решение действовать – нагрянуть в Кенгис с проверкой. Епископ Израель Бергман из Хернёсанда взошел на палубу корабля и пустился в долгое путешествие по Ботническому заливу на север. Проведя несколько дней в море, вышел на берег в Хапаранде, у истоков реки Торне. Дальше предстояло плыть по реке на обычной для этих краев длинной, узкой, приспособленной к порогам лодке. Лодкой управляли несколько

жилистых мужиков, ни на каком языке, кроме финского, не говорящих. Незнание языков искупалось мастерством и опытом: на длинной и опасной реке им был знаком каждый порог, каждая извилина, они ловко обходили камни, в том числе и подводные, невидимые с поверхности, знали, где можно сделать привал. Река напоминала епископу неправдоподобно длинное живое существо, преклонившее голову в горах и полощущее натруженные ноги в водах Ботнического залива.

Не успевали они зачалить свою лодку, как уже начинал потрескивать костер из заранее приготовленных смолистых дров, согревающих и, главное, отгоняющих бесчисленное комарье. Ловили закидными хариусов, и епископу волей-неволей приходилось их потрошить, а гребцы, побросав у костра добычу, вновь налаживали снасть. Потом он ел только что сваренную, нежную, исходящую ароматным паром несказанно вкусную рыбу, но надо было есть быстро. Ему казалось, что его провожатые не едят, а закидывают в себя пищу, как дрова в печь. Руки их были грубы и жестки, как бычья кожа. Ничего удивительного: он ни разу не видел на ком-то из них перчаток или варежек. Они гребли и гребли, они гребли изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и на старых веслах были ясно видны вмятины, оставленные их неутомимыми руками.

Чем дальше на север они продвигались, тем светлее становились ночи.

На остановке в Эверторнео епископ воспользовался случаем и зашел в церковь с ее богато изукрашенным барочным органом, привезенным из Стокгольма. Потрогал посох, которым русские казаки убили проста Юханнеса Торнберга, – и не мог уснуть всю ночь. Ворочался, прислушивался к упрямому звону комаров под потолком и думал про этого странного человека, к которому ехал в Кенгис.

Епископ Израель Бергман знал проста Лестадиуса очень давно, еще с Упсальского университета, – прост был его студентом. Бергман по образованию математик, студенты восхищались его интеллектом, отточенным, логическим мышлением. К тому же он любил студентов, особенно тех, кто вырос в маленьких поселках на далеком севере. Сам-то он родился в приходе Аттмарс недалеко от Сундсваля. Бергман читал курс астрономии, и студенты валом валили на его лекции – ничего удивительного, звездное небо увлекало его с детства.

Как-то раз в осенний, для проста незабываемый, вечер он пригласил студентов к себе в сад. Там стояло странное сооружение, напоминавшее пушку с очень длинным стволом.

– Телескоп, – объяснил он. – Оптический прибор для наблюдения за небесными телами.

Студенты по очереди подходили, садились на особым образом сконструированный табурет, смотрели в маленький глазок и восхищались открывшейся им картиной. Особенно Сатурном с его геометрически правильными кольцами. Они заметно заразились астрономическим энтузиазмом Бергмана, когда он ясно и доходчиво объяснил, что святающиеся точки – не звезды, а другие планеты, очень маленькие и потому обреченные вечно вращаться вокруг огромного Юпитера.

Но самое большое впечатление произвело вот что. Когда пришла очередь будущего проста посмотреть в телескоп, он устроился на табуретке, прильнул глазом к окуляру и удивился: небо было совершенно темным. Попросил Бергмана наладить прибор – наверное, кто-то его сдвинул. И будущий прост совершенно обомлел, когда услышал, что телескоп никто не трогал, а сдвинулась Земля, на которой мы живем. Как огромный шар, летит наша планета сквозь бесконечный космос. У будущего проста закружилась голова, и он вынужден был опереться на плечо улыбающегося лектора.

У Бергмана был своеобразный суховатый юмор, очевидно перенятый у старой упсальской профессуры. Он терпеть не мог опозданий, а если такое все же случалось, спокойно говорил провинившемуся: «Простите, мы вас не дождались». Сам он постоянно был в работе: что-то писал, вычитывал диссертации, присутствовал на заседаниях разнообразных обществ и правлений. Утверждал, что именно поэтому не женат – не успел.

И теперь он вошел в церковь в Кенгисе с той же иронической усмешкой, как и много лет тому назад.

Епископ был на пять лет старше проста, и годы оставили свой след на обоих. Когда-то пышные волосы Бергмана заметно поредели, а те, что остались, щедро посеребрила седина. Крупный нос, небольшой, то и дело вздрагивающий в иронической улыбке рот.

Острый, оценивающий взгляд – и достаточно, за несколько секунд он составил себе представление о пастве: кто на какой скамье сидит,

как распределена власть в приходе, кто с кем в альянсе, кто и когда может начать скандалить. Опыт и аналитический ум – беспроегрышные союзники.

Приезд самого епископа в Кенгис – дело необычное, поэтому народу набилось много. На передних скамейках восседали главные противники проста – заводчик Сольберг, купец Форсстрём, фогт Хакцель и исправник Браге, все с женами. А союзники разместились позади. Их было намного больше, но в основном бедняки, забитые и темные. Епископ уселся в парадное мягкое кресло с украшенными резьбой подлокотниками. А прост примостился на обычном самодельном кухонном стульчике.

Неторопливо нацепив на большой нос очки, епископ разложил привезенные документы и жалобы на откидном столике, ради такого случая накрытом белой праздничной салфеткой. Его попросили сказать несколько слов. Намерения у духовного лица были самые наилучшие – попытаться настроить собравшихся на спокойный, благожелательный лад. Но сразу выяснилось, что его академический шведский почти никто не понимает. Он пожал плечами и спокойно продолжил. Рассказал о причине приезда: поступило и поступает много жалоб на пастыря прихода, проста Лестадиуса.

– Начнем с серьезного обвинения. Господина проста обвиняют, что он не отчитывается за приношения, которые якобы собирает с прихожан для учреждения школ и для помощи бедным. Я сам проверил все счета и никаких несоответствий не обнаружил. Все поступления учтены до эре, все расходы представлены и также учтены.

– Духовный отец сам объявил в церкви: мол, каждый, у кого есть золото, серебро или дорогие одежды, пусть несут ему, – выкрикнул владелец постоялого двора.

Епископ повернулся к просту:

– Это правда?

Учитель был готов к этому вопросу. Он вынул исписанный от руки листок, который раньше зачитывал во время службы.

– «Если кто-то пожелает одарить школьников и бедных, приношения приму я, нижеподписавшийся. В том числе золото, серебро или одежды. Все это будет переведено в деньги и передано на нужды школ и бедняков». Вот что тут написано.

Прост прекрасно знал, что епископ и сам организовывал сбор вспомоществований в Хернёсанде, потому с его стороны никаких не только обвинений, но и возражений не последует.

Кто-то ткнул Браге в бок. Он встал и громко объявил:

– Прост не следует лютеранской вере. Что это еще за признания собственных грехов?

– А почему вы считаете, что это противоречит учению Лютера?

Браге покосился на единомышленников и повторил:

– Не, это не по-лютерански.

В чем заключена ересь самоисповеди, уточнить он не смог. Епископ с трудом скрыл улыбку.

И наконец, добрались до главного обвинения: отсутствие порядка во время службы.

Заводчик Сольберг и другие возмущались, что так называемые духовно пробужденные – они всегда прибавляли это «так называемые», – особенно женщины, слушая проповеди проста, кричат и плачут и – стыдно сказать! – танцуют парами в проходе и даже у самого алтаря. Это мешает вдумчиво слушать проповедь. К тому же прост призывает молодежь стыдить и позорить «злостно противящихся Пробуждению». Да-да, он так их и называет – «злостно противящиеся». Мало того – священник использует такого сорта слова и выражения, что в храме Господнем их произносить не пристало.

Теперь епископ сообразил, что имелось в виду в невнятных жалобах, то и дело приходивших в Капитул. Этот «беспорядок», о котором писали жалобщики, был ему хорошо известен. Это не беспорядок. Это явление духа.

Liikutuksia. Религиозное возбуждение. Экстаз.

Люди, слушая доходчивые и ясные слова, приходят в состояние экстаза. Старые, сгорбленные, побитые жизнью прихожане встают на цыпочки, прыгают, машут, как гуси, руками, будто хотят улететь. Зачерстевшие арендаторы срываются в горький плач, раскачиваются, как молодые деревья на штормовом ветру.

Прост никогда не поощрял такое поведение, а его жена-саамка, как и большинство саамов, никогда в этом безумии участия не принимала. Но правда и то, что он не пресекал этот транс. Экстатические выходы прихожан – проявление духовной силы, считал он. Это кажущееся безумие не наиграно, а идет от сердца. Можно даже

считать эти необычные проявления признаком незримого присутствия Святого Духа.

Слово взял купец Форстрём. Он красочно описал, какое омерзительное зрелище – это так называемое «пробуждение» (он поставил невидимые, но всеми замеченные кавычки). Кричат, воют – невозможно слушать проповедь, ни слова не слышно. Носятся как угорелые по церкви. Могут толкнуть, наступить на ногу или даже плюнуть. Неужели уважающий себя член общины не имеет права спокойно послушать проповедь?

– Мне кажется, любой уважающий себя гражданин в нашем королевстве такое право имеет.

Епископ обратился к задним рядам, где сидели «пробужденные» – новообращенные простом трезвенники, – мешают ли им описанные господином купцом проявления душевного волнения? И ему чуть не в унисон ответили: нет, духовный отец. Не мешают. Наоборот, так и проявляется близость к Господнему промыслу.

Стороны некоторое время препирались, но епископ, почувствовав, что спор становится чересчур воспаленным и может кончиться плохо, поднял руку и держал довольно долго, пока прихожане постепенно не успокоились.

Высокий гость пометил что-то на листе бумаги, встал и обнародовал свое решение:

– Поскольку подобные проявления сердечного волнения имеют очевидно духовный характер, мы не имеем права, да и не хотим им препятствовать. Но чтобы избежать недовольства, я предлагаю всем, кого охватывает подобный восторг, покидать храм. И возвращаться, только когда они обретут душевное равновесие.

С задних рядов послышались недовольные перешептывания. Гости из Пайалы, наоборот, чуть не захлопали в ладоши.

– Но это не все, – продолжил епископ. – Думаю, ничто не помешает господину просту после ординарной службы прочитать еще одну проповедь.

Так и порешили. С этого дня прост будет читать две проповеди: одну для беззаботных горожан, другую – для пробужденных и возбужденных.

Под конец епископ поинтересовался, есть ли в приходе незаконные кабаки.

Прихожане молчали, и за них ответил прост:

– Раз мы то и дело видим пьяных, значит, есть и кабаки.

– Возможно, господин комиссар знает, где есть такие кабаки и кто их содержит?

Исправник неуклюже пожал плечами. Ему было неловко, хотя епископ и повысил его в чине, ведь один из таких кабатчиков сидел рядом с ним.

– Я знаю, конечно...

Епископ не стал его допрашивать. Вместо этого произнес страстную проповедь, призывающую к трезвости. Напомнил о хорошо всем известных последствиях пьянства.

– Я думаю, в душе каждый знает, касается это лично его или нет.

На этом и закончили. Прихожане осыпали епископа словами благодарности за его мужество и мудрость. Пожилая женщина, обливаясь слезами, неожиданно заключила его в объятия, отчего сюртук епископа сделался совершенно мокрым. Она что-то быстро ему говорила. Он не понимал ни слова по-фински, но был заметно взволнован ее энтузиазмом. И что там говорить – епископ был горд и доволен достигнутым соглашением.

Поразмышляв, поворчав и посоветовавшись с женой, прост все же решил заказать свой портрет. Через пару дней появился художник Нильс Густаф и наделал немало шуму: его сопровождали несколько носильщиков с ящиками, мешками, шкатулками и большими штативами. В его честь устроили обед, прошедший за взаимными похвалами и уверениями в совершеннейшем почтении. Но и не без некоторой нервозности: прост то и дело высказывал сомнения, удобно ли священнослужителю создавать из своей персоны нечто вроде кумира. Единственное оправдание этой затеи он видел в том, что община, возможно, захочет вспомнить его в будущем, а раз вспомнит его, значит, вспомнит и его учение. И уж коли община захочет вспомнить его учение («возможно» – повторил прост несколько раз), дай Бог, случится так, что найдется кто-то, кто будет ему следовать.

Нильс Густаф, выразив изящным взмахом рук искреннее восхищение скромностью духовного пастыря, пустился в рассуждения. Подобная скромность отличает только великих людей, сказал он. Истинно великих – еще раз подчеркнул он и добавил, что ни секунды не сомневался в несомненном величии проста уже после первой их встречи. Именно поэтому портрет должен быть написан. Мало того – он должен висеть в ризнице, вдохновляя грядущие поколения пасторов и указывая им путь истинного служения Господу. И это должно стать традицией. Грядущим поколениям пастырей тоже следует вменить в обязанность заказывать свои портреты в масле, и ваш, господин прост, станет первой жемчужиной в этом благородном и величественном пантеоне.

После чего живописцу был вручен задаток – довольно значительная сумма. Он тщательно пересчитал деньги, сложил в кожаный кошель и приступил к работе над эскизами.

Одному из носильщиков художник приказал принести плоский деревянный ящик величиной с небольшую столешницу. Там лежали пачка огромных бумажных листов и коробка с узкими угольными стерженьками. Нильс Густаф попросил проста выйти в сад и выбрать любую удобную ему позу. Я хорошо знал учителя и ясно видел, как ему неловко, как он скован, не знает, куда деть руки, как заметно страдает от неестественности требуемых от него действий, но покорно, хоть и морщась, выполняет все указания. Выставить вперед правую ногу, опустить плечо... нет, не это, левое... слегка выпятить грудь. Художник раз, наверное, десять обошел вокруг проста, приседал, смотрел с разных углов. Он то и дело поглядывал на небо, оценивал освещение и при этом недовольно хмурился, словно упрекая силы природы в небрежном исполнении своих обязанностей. И бесконечно что-то поправлял: убирал упавшую на лоб прядь, выпрастывал воротничок, потом опять прятал. Это продолжалось довольно долго.

Наконец пружинистым шагом он подошел к штативу, укрепил на нем специальными скрепками большой лист и выбрал подходящий угольный карандаш. Но и тут приступил к работе не сразу. Некоторое время закрывал то один глаз, то другой, всякий раз наклоняя голову в сторону прищуренного глаза. Вдруг, словно укушенный, бросился к штативу и сделал несколько размашистых движений рукой – сначала в

воздухе. И лишь потом уголь опустился на бумагу и начал метаться по листу с тихим кошачьим шипением.

Уже через несколько секунд Нильс Густаф, обливаясь потом, отступил от штатива, оценивая работу, кивнул сам себе и прикрепил другой лист. Другая поза, другой сюртук. Достали из ларца французский орден Почетного легиона, который прост получил за участие в экспедиции Гаймара^[18], бережно хранимый Бритой Кайсой за семью замками. Появился стул, на котором прост по требованию художника принимал разные, но непременно достойные и многозначительные позы.

Вскоре работу перенесли в кабинет – Нильс Густаф окончательно разочаровался в дневном светиле и уверил, что в помещении свет мягче и ему будет легче выявить цветовые нюансы. Он достал из жестяной коробки маслянистые толстенькие мелки – желтые, лиловые, льдисто-голубые, розовые и пурпурные, – сделал еще несколько набросков, извлек большой носовой платок, вытер шею и щеки, и в него же звучно высморкался.

– Думаю, поймал, – объявил он и начал торжественно выкладывать сделанные эскизы на пол. Некоторые представляли проста в полный рост, на других были только отдельные детали, по несколько штук на листе.

Особое внимание художник уделил носу. Большой бугристый нос проста удостоился отдельного рисунка.

– У вас, господин прост, очень интересный нос, – объявил он, явно вознамерившись порадовать клиента. – Вы даже представить не можете, насколько ваш нос важен для портрета.

Прост и Брита Кайса нерешительно рассматривали рисунки, боясь сказать что-то неуместное. Сбежались и дети, те, кто был дома. Но вот Нильс Густаф передохнул и успокоился.

– Сидячий портрет. До колен. Полупрофиль – иначе не удастся выявить убедительнейшее своеобразие вашего носа. Вы смотрите на зрителя... даже не на зрителя, а в глаза зрителю. Смотрите вашим чудным, завораживающим взглядом. И что видит созерцатель? Он видит неутомимого путника, искателя истины, ненадолго присевшего перевести дух. Справа... в верхнем углу... игра света должна напоминать перголу.

– Перг... что напоминать? – удивилась Брита Кайса.

– Беседку в саду... в вашем превосходном, заслуживающем самых высоких слов саду. Беседку, не построенную человеком, а созданную самой природой. С помощью садовника, разумеется. И сквозь ветви растений открывается небо... Вы же понимаете символику?

Брита Кайса, ошеломленная неожиданным комплиментом, улыбнулась и застеснялась. Прост немного удивленно показал на стол:

– Вы хотите сказать, что мой письменный стол будет стоять в саду?

Художник закрыл глаза, довольно долго не открывал, а потом, словно внезапно проснувшись, уставился на проста.

– Символика! – воскликнул он и поднял неестественно длинный указательный палец. – В одной руке у вас увеличительное стекло, а в другой горный цветок... истинное чудо, созданное Господом. Вы только что его изучали, а теперь задумались. И на столе не бокал с коньяком, как многие предпочитают, а простой ковш с родниковой водой.

– Да... символика, – неуверенно согласился прост.

– И преломленный хлеб. Не облатка, нет, самая обычная сухая лепешка. И две рыбешки на тарелке... белой? Надо подумать... На заднем плане ваше ружье, прислоненное к березе... Видите ветку? Что, по-вашему, она символизирует, эта ветка? Вместе с ружьем?

– Крест! – догадался я.

Крест Христа в саду у Бриты Кайсы! Этот неожиданный ход потряс всех до глубины души.

Художник продолжал перебирать эскизы, показывал, как все вместе они составят совершенное, никогда не виданное целое. Картину волнующую, поэтичную и вместе с тем исполненную светлым духовным смыслом.

– Замечательный портрет, – сказал Нильс Густаф. – Так же глубок и многогранен, как ваша жизнь, господин прост.

– Но ведь портрет потребует много времени?

– Естественно, вам придется попозировать несколько раз. И в этом тоже я нахожу глубокий смысл: мы по ходу дела сможем обмениваться мыслями и соображениями. Но не сразу, не сразу... У меня есть кое-какие наброски северной деревенской жизни, мне бы хотелось их закончить, пока ощущение не ушло.

– Танцы, к примеру? – спросил учитель как бы мимоходом.

- Да... это было вдохновляющее зрелище. Истинно народное.
- Только с печальным концом.
- Да, я слышал... ужасно! И самое ужасное, что насильник по-прежнему бродит среди нас. Выбирает жертву.
- А сами вы ничего подозрительного не заметили?
- А что я мог заметить? Нет... ничего такого я не заметил, и слава Господу.

Художник дал команду собрать свои принадлежности и высокопарно попрощался. Прост проводил его до дороги к заводу, где Нильс Густаф снимал флигель. Носильщики, сгибаясь под тяжестью ящиков, шли чуть позади.

Учитель посмотрел им вслед и спросил:

- Ты видел, как он рисовал, Юсси?
- Удивительно! Как он так все это... у вас будет замечательный портрет, учитель.

– Я не про то. Заметил, как он держит угольный карандаш?

– В левой руке...

Прост поправил воротник, и мы провожали глазами удаляющуюся процессию, пока она не скрылась за поворотом.

Я нанялся косцом-поденщиком. Погода стояла чудесная, дождя не предсказывали даже самые ядовитые гадалки, и сено высыхало уже к утру. Меня послали на один из порядком заболоченных лугов, которые испокон века были поделены между селами. Хозяин, мрачный молчаливый старик, объяснялся со своей сварливой и ехидной супругой исключительно косыми взглядами и жестами. Они постоянно ссорились, вернее, ссорилась она – шипела и опасно размахивала косой, а он молча разминал спину, сводя лопатки к позвоночнику, так что хребет становился похожим на большую букву «Г». Их взрослые сыновья жили своими домами, с родителями осталась только дочь – такая же злобная, как мамаша. Спали они в переносной будке для кос, а я заворачивался в одеяло, укладывался прямо на земле и невольно прислушивался. Старуха продолжала пилить своего бессловесного мужа, причем никогда не называла его по имени, у нее был припасен

целый набор оскорбительных кличек – от «хряка» до «муравья вонючего». Я на второй же день получил кличку Сопля, и очень быстро понял, почему эта семейка вынуждена нанимать косцов со стороны – свои их слишком хорошо знали.

Обедали возле той же будки. Там стояла здоровенная бочка. Я долго не мог сообразить, как ее сюда дотащили, но потом узнал: привезли зимой на санях. Крышка, само собой, набухла, и хозяин долго колотил обухом топора по окружности. Я тогда впервые видел, как он улыбается, – это была торжествующая, предвкушающая небывалое наслаждение улыбка. Под снятой крышкой обнаружилась еще одна – серо-зеленая, толстая и волосатая лепешка плесени. Он зацепил ее своими корявыми, коричневыми от снюса^[19] пальцами и вытащил. Бочка была почти до краев заполнена жирной желтоватой жижей. Жена и дочь смотрели на его действия, затаив дыхание и ласково переглядываясь, будто на их глазах свершалось чудо. Больше я ни разу не видел никаких проявлений дружелюбия в этой семье.

Они называли эту жижу riimäa, простокваша. Но это было нечто совсем другое, не та свежая простокваша, что готовила Брита Кайса в пасторской усадьбе. Эта пахла тухлятиной, кисло-едкая – ничего удивительного. За месяцы в наглухо запечатанной бочке она успела скиснуть, перебродить до полусмерти, а потом воскреснуть и снова начать бродить. В конце концов жижа сделалась настолько кислой, что в ней даже трупные яды не ужились и взаимно уничтожили друг друга – наверное, именно потому у нее был отчетливый кладбищенский запах и даже вкус. Другой еды не предлагалось, так что пришлось есть, борясь с рвотными судорогами. Но вот что странно: уже на другой день эта так называемая простокваша не показалась такой отвратительной, а на третий я почувствовал, как уже от одного запаха во рту набегают слюна, – и понял, что побежден. Дрожащей рукой протянул свой неизменный ковш, и когда получил его обратно полным до краев, когда с нетерпением отхлебнул, когда почувствовал во рту вкус, во мне уже рос стих, нет, даже песня... еще не успев доесть, я уже знал, что захочу добавки.

Работа была трудной и потной. Изводили насекомые, особенно оводы, так что рубаху, давно промокшую, снять я не решался. Само собой, коса мне досталась самая скверная. Наточить ее было невозможно, сколько ни правь, – наверное, само лезвие погнуто, хотя

на взгляд и незаметно. На взгляд незаметно, но понятно: она не издавала, как хорошая коса, такого приятно свистящего звука, будто это и не коса, а ты сам дуешь на траву, и она послушно ложится набок. Но я косил и косил; мазал дегтем кровавые мозоли, ведрами пил воду и косил.

Я весил меньше всех, даже меньше дочери, поэтому надевать ступняки и лезть на зыбкие кочки доставалось именно мне. Несмотря на эти широкие плетеные лыжи, вода поднималась до щиколоток, кочки качались, как море в ветреную погоду, – и я знал, что если упаду, мне уже не подняться. Мне казалось, что подо мной шевелятся ледяные руки подземного мира. Он населен созданиями, которым ничего так не хочется, как заключить мое горячее потное тело в объятия и утащить к себе. Я вспомнил Хильду Фредриксдоттер, как она лежала лицом вниз в таком же болоте. Каких только ужасов не насмотрелись ее глаза, перед тем как погаснуть навсегда...

Перед сном я лез в свою торбу и доставал книгу. Мне дала ее Сельма, старшая дочь пастора. Она попросила быть поаккуратней, и я никогда не брал книгу в руки, не вымыв их в ручье. Книга называлась «Апостол диких лесов». Там рассказывалось о юноше, таком же, как я. Он ушел жить в леса, срубил себе дом, ловил рыбу и охотился. А потом встретил женщину, и она обратила его в истинную веру.

Чем дальше я читал, тем чаще буквы и строчки исчезали. Словно открывались ворота в другой мир, и я входил в этот мир с трепетом и восторгом. Я превращался в этого паренька, его звали Арон. Мне было страшно, когда меня окружили волки, а не оставалось ни одной стрелы и моим единственным оружием был пылающий факел. И конечно, слово Божье. Факел и слово Божье. Вот что помогло Арону пройти через все испытания.

С огромным трудом дались мне первые страницы: маленькие буковки, к тому же по-шведски. Но постепенно стало легче, и уже со второй главы я не мог оторваться. Иногда я складывал губы так, чтобы произнести непонятное слово, – и оно почему-то становилось понятным, это очень облегчало чтение. Но звуков я не слышал, все происходило перед моими глазами совершенно беззвучно, как на картинке. Днем книга лежала в котомке, а по вечерам я мог с ней разговаривать, слушать, брать за протянутую руку и идти за ней, куда бы она меня ни повела.

Я даже не заметил, как она подкралась. Да нет, наверное, и не подкрадывалась – пошла пописать, прежде чем залезть в свою конуру, и увидела меня. А я настолько погрузился в мир книги, что не слышал шагов. И не видел ее. А что не видел – тут уж вообще ничего удивительного: я постелил еловый лапник и лежал на животе.

Она уставилась на меня как на сумасшедшего: никогда в жизни она ни с чем подобным не встречалась. Губы ее шевелились. Злобная старуха набрала слюну и сплюнула.

– Спяишь, – решила она. – Обязательно спяишь, Сопля, шаманенок чертов. От этой гадости любой спятит.

Я смутился и хотел было спрятать книгу, но тут же раздумал. И пусть! Со мной что-то произошло, я уже был не Юсси, а Арон. Я махал факелом и отгонял диких зверей. Отвернулся и продолжил читать. Какое ее дело? Я свое отработал, у меня время отдыха. Рабочий день кончился.

А Арон, сам Арон дожидался меня. Ему нужна была помощь: он стоял с копьём в руке перед огромным разъяренным медведем. Как можно заснуть, так и не узнав, чем закончился этот поединок?

Несколько дней спустя я вернулся в усадьбу. Шел по двору – и тут внезапно дверь сауны с грохотом распахнулась, в ней показалась голова проста в облаке пара.

– Юсси! – грозно завопил он, улыбаясь во весь рот. – Камни еще горячие!

Я остановился в нерешительности. Когда топили сауну, я парился последним. Гости, семья проста, работники, а потом уж и я. Но учитель был явно в хорошем настроении, так что я поставил у входа свою торбу и подчинился.

Впервые я видел проста голым. К моему удивлению, все тело его было покрыто волосами. Не как у нас, саамов, и не как у торнедальцев – мы гладкие, безволосые. Внушительный член висит набок. Вообще-то его член указывал мне на дверь, но я решил не обращать внимания на эту символику, как говорил художник Нильс Густаф. Он постелил на полку кусок мешковины, чтобы я не запачкался сажей, велел лечь и плеснул воды на раскаленную кучу камней.

– Воистину, воистину! – стонал он от удовольствия. – Драгоценнейший Божий дар нам, грешным... драгоценнейший... воистину драгоценнейший...

Он продолжал бормотать и кричать, и мне оставалось только включиться в игру, хотя и без большой охоты. Лопатки болели, бедра ломило, руки в кровавых мозолях. Болело все тело, даже пальцы ног. Он плеснул кипятком на камни, и мне захотелось выскочить: словно все тело сжали раскаленными тисками. Я стиснул зубы от боли, но уже через пару секунд чувство ожога отступило, будто его и не было. Ощутил вдруг, как одна за другой открываются поры, как мелкие капли ядовитого рабочего пота просачиваются на поверхность и испаряются, как тело мое открылось для чудного, лечебного, с трудом выносимого и оттого еще более желанного жара. В ушах приятно шумело – кровь устремилась в свое русло, как река во время ледохода. О эта кровь, соленая, загадочная и могучая кровь, неостановимо несущая нас по жизненным порогам...

Прост, судя по всему, парился уже довольно долго и излучал такое добродушие, какого я раньше и не видел. Протянул березовый веник и попросил попарить спину, особенно ниже лопаток, с возрастом сам он туда уже не дотягивался.

Я начал хлестать его («Не торопись, Юсси! С оттяжкой!»), кожа еще больше покраснела и даже задымилась. Томительно-летний березовый аромат был так силен, что стало трудно... нет, я бы сказал, приятно-трудно дышать. Веник облеплен непонятно какой силой удерживающимися на прутьях листьями – разве что один-другой пристанет к распаренной коже.

Потом настала моя очередь. Я радостно вопил от чудесной, облегчающей и целительной боли. Сначала он махал веником вдоль спины, не касаясь кожи, отчего по телу пробегала томительно-жаркая волна, потом начал хлестать – и хлестал довольно сильно, как учителя порют нерадивых учеников в школах, потом поливал спину по очереди горячей и ледяной водой, и вся болотная нечисть, все корки от укусов оводов, вся отмершая, высохшая кожа на ладонях и ступнях уходила с водой в щели банной полки.

Потом мы долго сидели молча. Протопившаяся печь начала понемногу остывать, острый, душистый жар сменился долгим, приятным, почти животным теплом; печь напоминала свернувшегося в огромный клубок медведя, отдыхающего после долгого бега.

– Я побывал в раю, – сказал прост, довольно покряхтывая.

– О... – кивнул я, думая, что он имеет в виду баню.

– В раю, в раю, – подтвердил учитель. – Я и не знал, что у нас, на крайнем севере, есть рай. Называется Поронмаан Йенке. У подножия горы Юпукка. Никогда не думал, что в этих краях может обнаружиться такая ботаническая роскошь.

Он прикрыл глаза – не закрыл, а прикрыл наполовину. Тяжелые веки опустились – он всегда так делал, когда уходил в свои мысли. Я почти физически чувствовал, как он проецирует проходящие перед его внутренним взором картины на темные стены сауны, будто внутри у него, как в волшебном фонаре, тайный источник света.

– Орхидеи! – воскликнул он. – Целое болото орхидей! Траурно-фиолетовые, розовые, винно-красные. Словно Господь нечаянно брызнул кистью с палитры. Целое болото... целое море орхидей, Юсси!

– Море?

– Море! Я не собирался надолго задерживаться, но не мог оторваться. Еда кончилась, комары меня съели наполовину, но оставшаяся половина будто прилипла к этому болотцу.

– Вы, наверное, здорово устали, учитель?

– Думаю, не так, как ты... Он тебе хотя бы заплатил, как обещал?

– Немного заплатил. И главное – я читал по вечерам.

– Вот как? Читал? Что ты читал?

– Сельма дала. «Апостол диких лесов».

– А-а-а... вот оно что... И что ты можешь сказать?

– Это... это...

– Ну же!

– Здорово! Никогда не читал ничего, что было бы так... интересно. – Я запнулся на этом «интересно», но подходящего слова, чтобы описать то, что со мной происходило, не нашлось.

– А Священное Писание?

– Да, само собой. Писание. Но эта книга...

Прост поставил локти на колени и дождался, пока я перестану захлебываться восторгами.

– Такие книги называются романами. И я их немного побаиваюсь.

– Но там же говорится о святой вере!

– Я знаю... я боюсь не содержания. Я боюсь слова. Эта магическая сила поставленных в определенном порядке слов... Как ты думаешь, Юсси, это к добру?

– Арон сражается с дикими зверями и приходит к истинной вере. Начинает проповедовать слово Божье.

– Вот именно, Юсси, вот именно... А подумай... ведь слово может служить и дьяволу. Захватывающий рассказ о злодеяниях, о смерти и распаде.

– Такие книги никто не станет писать.

– Может, и придет такое время... вот этого я и боюсь, Юсси. Время, когда станет чуть не правилом...

– Что? Прославлять зло?

– Да. Представь: книги об убийцах и убийствах, о смерти, о всеисилии зла.

– Но...

Я не мог прийти в себя от изумления. Как могут книги быть опасными?

Попытался собраться с мыслями.

– Но... если... если, допустим, в книге описано зло... а потом показано, что и зло можно перехитрить и победить? Мы читаем... вы сказали – роман, читаем и видим воочию, как дьявола побеждают, как он, обессиленный, падает, чтобы никогда не подняться.

– Кто?

– Что – кто?

– Кто побеждает?

– Мы все! Добрые, справедливые люди. Думаю, учитель мог бы написать такую книгу.

– Роман?

– Да... роман на службу добра. Людям это будет на пользу. Мне кажется, книги могут сократить путь к спасению.

Прост уставился на меня. Мне показалось поначалу, что он рассердился. Но нет. О чем-то размышлял.

– Я уже подумывал об этом, Юсси. И не раз. Написать книгу, где добро побеждает зло.

– Ну да... не так, как в жизни.

– Поэтому его и станут читать. Роман о преступниках и преступлениях. Может, ты сам напишешь такой роман?

Я думал, он насмехается, и неуверенно улыбнулся. Но он не смеялся. Положил мне руку на плечо.

– Для начала мне надо научить тебя говорить.

– Я же умею! Говорить-то я умею!

– Нет... ты умеешь болтать. Чесать языком. А говорить – это нечто совсем иное. Говорить... осознавать силу слова, уметь словом смягчить ожесточенное сердце. Вгрызаться в него, в это сердце, преодолевать сопротивление.

– То есть проповедовать?

– На этой неделе у нас будут гости. Братья Юхани и Пекка Рааттамаа и проповедник Пер Нутти. Обязательно послушай, наверняка сможешь многому научиться.

Он плеснул из ковша на подостывшие камни, и нас окружило облако приятного, дремотного тепла. И мимоходом добавил:

– Кстати... ты придешь на допрос вечером?

- Какой допрос? Вы будете экзаменовать по Писанию?
– Нет-нет... Я жду посетителя. Вернее, посетительницу. Должна прийти юная особа по имени Мария.

Я устроился на трехногой табуретке в чистой одежде и обливался потом. Может, сауна продолжала действовать, может, что-то еще, но мне приходилось все время вытирать лоб. Мы сидели в кабинете проста и ждали. Он нацепил свои очки со стальными блестящими заушниками и внимательно читал наши записи. Очки сползали на нос, он поправлял их указательным пальцем и все время поглядывал в окно.

В дверь постучали, и я перестал дышать.

– К просту пришли.

А за спиной служанки стояла она. Моя возлюбленная. Вокруг головы ее сиял нимб, а грубые деревенские башмаки едва касались пола. У меня запершило в горле, и я осторожно прокашлялся в кулак – боялся, что она улетит, рассеется, как утренний туман на болоте. Заколеблется, как дым из простовой трубки, поблекнет – и исчезнет. Она глянула, и у меня тут же заболело сердце. Этот взгляд... она посмотрела, будто с картины. Такой же, как у той женщины, играющей на селло. Мне было так страшно, что я даже не мог уловить ее запах... а может, его и не было, запаха, может, она была в другом мире, а оттуда запах сюда не доходил. Ломило пальцы от желания опять обнять ее за талию, опять, как тогда, на танцах, вдохнуть ее целиком и больше никогда не выдыхать. Я еще раз прокашлялся, и в безумной картине появилась прореха: какой еще другой мир? Вот же она, стоит на пороге и водит своими волшебными глазами. С проста на меня и с меня на проста.

– Проходите, проходите. – Учитель показал на пустой стул для посетителей.

Я вскочил, с отвращением чувствуя, как по спине бегут ручейки пота, дождался, пока она сядет, и дрожащей рукой потянулся за бумагой и карандашом. Прост строго распорядился, чтобы я не открывал рот, молчал – разве что он сам что-то у меня спросит.

– Записывай все до мелочи. Пусть тебе покажется неважным – все равно записывай.

Я приготовился записывать.

– Мария, насколько мне известно, работает служанкой? Доит коров?

– Да. – Еле слышный писк.

Она надела все самое лучшее, как если бы собралась на службу в храм. Шея розовая – наверное, долго стояла и оттирала несуществующую грязь. Из-под платка выбилась пара золотых прядей. Я представил, как подхожу к ней и тихонько наматываю эти золотые нити на палец, провожу по ним губами. Мне бы очень хотелось написать что-то о ее несказанной прелести, я даже начал, сам того не подозревая, – но вычеркнул и коряво начертил: «Служанка в коровнике».

– Красивое имя – Мария, – сказал прост.

– Маму тоже зовут Марией.

– Я слышал, Мария очень любит танцевать.

Она украдкой бросила на меня взгляд и сильно покраснела, будто ее накусили комары. Я был вне себя. Теперь она подумает, что это я донес про танцы.

Она промолчала. Сидела с пылающими щеками.

– Ничего плохого в танцах нет, – успокоил ее прост. – Мария, наверное, решила, что я осуждаю танцы? Знаю, знаю – ходят слухи о моих строгих правилах, но могу признаться: в молодости я тоже очень любил танцы.

Я не поверил своим ушам. Неужели этот согбенный годами старик может пройти в вальсе? Наверняка привирает.

– Но нельзя забывать и про опасности, – поспешил прост приземлить свое мечтательное признание. – Танцы могут вызывать плотские желания. И жарко, как в сауне. Иногда хочется прохладиться, правда?

Она попыталась кивнуть, но отсюда, в полупрофиль, я видел, как напряжена ее шея. Кивнуть не вышло, она скорее дернулась, как от удара. Прост, полуприкрыв глаза, ждал ответа. «Как в сауне», – судорожно записал я.

– А после танцев? Когда начали расходиться?

– Что?

– Мария была одна?

– Одна, – ответила она быстро.

Чересчур быстро. Прост сложил кончики пальцев обеих рук, получилось что-то вроде клетки. Наверное, подражал кому-то из университетских профессоров.

– Значит, никто не провожал Марию с танцев?

– Нет... никто.

«Никто не провожал», – записал я дрожащей рукой.

– И из девушек никто?

– Не-а.

– Вы совершенно уверены?

Она судорожно сглотнула и, мучительно покраснев, хотя краснеть уже было некуда, кивнула – да, уверена. Я еле удержался, чтобы не закричать на учителя: хватит ее мучить!

– Да... уверена. Я шла домой одна.

– Может, Мария заметила, что кто-то ее преследует?

– Кто бы это мог быть?

– Мужчина.

– Нет...

– Видела ли Мария Руупе в тот вечер? Работника с конюшни?

– Да, он там был. Противный.

– В каком смысле противный?

– Ну... пьяный.

– Понятно... Значит, и Руупе не преследовал Марию?

– Я не видела.

– А Юлина? Может быть, вы заметили, что кто-то пошел за ней?

– Нет, я ее не видела.

– Мария вообще ее не видела?

– Видела, конечно. На танц... вечером видела.

– А Марии было не страшно идти домой одной? Если вспомнить, что случилось с Хильдой Фредриксдоттер?

Она посмотрела ему в глаза. Потом оглянулась на меня и покачала головой. На щеках ее цвели алые розы.

– Я очень благодарен Марии за эту беседу. – Прост встал и неожиданно ласково улыбнулся. – Кстати, мне хотелось бы показать одну штуку. Если у вас есть минутка... Я посадил немного картофеля.

И он так принялся, будто Господь его благословил. Пойдемте, я вам покажу.

Она покорно вышла за ним в сад. Я видел из окна, как они прошли по огороду Бриты Кайсы, как он наклонился, осторожно разгреб землю пальцами и обнажил белые червячки корешков. Он вел себя совершенно непринужденно, как будто и не было этого неприятного разговора... «допроса», как он его назвал. А по ней видно было, что она только и мечтает поскорее от всего этого избавиться.

Наконец, она не особенно ловко сделала книксен и быстрым шагом пошла к калитке. А я не мог оторвать взгляд. Смотрел на ее мягко покачивающиеся бедра, на выбившиеся золотые завитки на шее, прижатые к юбке тонкие, но сильные руки.

Я вышел из дома и подошел к просту. Он вытирал руки пучком травы.

– Что скажешь, Юсси?

Я откашлялся. Постарался выбрать слова.

– Она выглядела немного... она беспокоилась.

– Ты так думаешь? Беспокоилась? – Прост посмотрел на меня весело, я бы даже сказал – игриво. – У нее были основания беспокоиться?

– А зачем просту понадобилось показывать ей картофель?

– Картофель? О, Юсси, Юсси... сегодня мыслительные способности тебе отказывают. Ты ничего не заметил, кроме ее красоты.

Я покраснел и чуть не наступил на грядку с картошкой, но на полушаге меня остановил яростный вопль проста, а в следующий миг он толкнул меня так, что я не удержался и сел на землю.

– Что вы делаете?

Прост, даже не глядя на меня, сунул руку в карман, вытащил оттуда лист бумаги и уставил палец на грядку, куда я чуть не наступил. В мягком, заботливо разрыхленном перегное отчетливо отпечатался ее башмак. Он развернул бумагу и показал:

– Узнаешь?

Еще бы не узнать. Это был мой собственный рисунок. Я тут же вспомнил, как он просил меня как можно подробнее зарисовать след башмака на мокрой глине в Кентте.

– Смотри, Юсси. Ты молодец, рисунок замечательный. Видишь вот этот след от трещины на подметке?

Мне оставалось только молча кивнуть. Я вспомнил мятую траву там, на поляне, где лежали любовники. И мерзкий, обслюнявленный огарок. Сикарр...

– Значит, Мария показалась тебе взволнованной? – сказал прост без особого добродушия. – Ничего удивительного: она лгала мне в лицо. Она там миловалась с Нильсом Густафом, на той полянке. А преследователь стоял за кустом и подсматривал.

– И прост считает... это и был насильник? Тот, кто подсматривал? Вместо ответа он ласково погладил толстый, сочный стебелек.

– Картофель... – задумчиво произнес он. – Думаю, он будет очень важен для наших краев. Лишь бы успел созреть...

Я показал на мелкие белые цветы. Кое-где лепестки опали, и на их месте выглядывали маленькие зеленые ягоды.

– Уже начинают созревать.

– Дурачок! – засмеялся прост. – Ягоды картофеля ядовиты. Никогда не верь внешней красоте, Юсси. В картофеле съедобно совсем другое. Покажу, когда придет время.

Мы пошли в дом. По пути он прочел мне маленькую лекцию: оказывается, одно и то же растение может выглядеть совершенно по-разному, все зависит от места, где оно посажено. И это большой соблазн для честолюбивых ботаников: они гордятся, что открыли новый вид, и спешат назвать его своим именем. Прост даже придумал название для таких торопыг – «видоделы».

– Надо всегда критически относиться к своим наблюдениям. – Сделав этот вывод, он замолчал.

У меня вертелся на языке вопрос, который я тут же и задал:

– А как быть с исправником? Разве не надо ему сообщить?

Хорошее настроение проста тут же исчезло. Он резко остановился и брыкнул ногой, как конь.

– А чем мы, собственно, располагаем? Рисунком знаменитого художника Юсси?

– А наши выводы? Как все на самом деле было?

– Это не выводы, а рассуждения, Юсси. А у органов порядка рассуждения не вызывают ничего, кроме раздражения. Так было и так будет.

Пасторская усадьба ходила ходуном. Мыли, скребли, подметали, стирали и вывешивали постельное белье, в саду выколачивали ковры. Прост сам украсил двери искусно подобранными цветочными венками, а из кухни шел дух свежееиспеченного хлеба.

Гости явились сразу после полудня. Пришли пешком. Я уже видел их, когда мы жили в Каресуандо, поэтому узнал издалека, едва они появились на дороге. Юхани Рааттамаа – светловолосый, с ухоженной бородой, прямым крупным носом и тонкогубым, но улыбчивым ртом. Едва завидев проста, он еще издалека широко распахнул руки для объятия и так и пошел навстречу, похохатывая и недоверчиво покачивая крупной головой, будто хотел сказать: «Ба! Да неужто это и в самом деле ты? Ни за что не поверю».

За ним шел его брат, Пекка Рааттамаа, совершенно на него не похожий, неулыбчивый, с квадратным, чисто выбритым лицом. Пекка был на несколько лет старше и, наверное, рассудительнее – иной раз окорачивал чересчур восторженного брата. Последовали объятия и восклицания, сопровождаемые радостным повизгиванием вертевшейся у ног гостей Чалмо. День выдался довольно прохладный, дул не сильный, но настойчивый и знобкий северный ветер, но гости все равно вспотели после долгой ходьбы, особенно Юхани. Он беспрерывно отдувался и стирал с носа нависшую каплю, которая тут же появлялась вновь.

Оба гостя были на редкость хорошо одеты, куда лучше и богаче, чем прост, – сюртуки из дорогой ткани, изящные финские сапоги, судя по горячему маслянистому блеску и полному отсутствию царапин, только что от сапожника.

Они сняли рюкзаки и, улыбаясь, потирали затекшие плечи.

Чуть позже появился Пер Нутти, еще один из знаменитых проповедников. На нем был саамский костюм, и – странно! – вид такой свежий, будто забежал с соседнего хутора. Никак не скажешь, что он преодолел куда более длинный путь, чем его собратья по вере, – от норвежского побережья через северные горы. Они долго обнимались и хлопали друг друга по плечам. Даже Брита Кайса вышла встречать гостей со всей оравой детей и с младшим, Даниелем, на руках. Дочери присели в книксене, сыновья поклонились. Прост и Пер Нутти

задымили своими трубками и тут же начали с азартом состязаться – кто выпустит самое красивое кольцо. Пер Нутти попросил напиться, и Юхани протянул ему ковш.

– Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой^[20].

– Иоанн, семь-тридцать восемь, – без запинки ответил Нутти и прильнул к ковшу, успев при этом подмигнуть просту.

– Сауна топится, – сказал Юхани и продолжил стих Евангелия – Воистину, Царство Небесное уже близко.

– Хватит проповедовать, – решительно сказала Брита Кайса и чуть ли не пинками начала загонять гостей в дом. – Сначала набейте животы.

Я шел за мужчинами, прислушиваясь к каждому слову этих знаменитых проповедников. С тех пор как прост начал борьбу за духовное пробуждение верующих, они были глашатаями его идей в нашем скупом и суровом северном краю. Было очень трудно – их необычные службы встречали в лучшем случае насмешками, а иногда шли в ход и кулаки. Юхани был одним из самых рьяных миссионеров проста, он организовывал в селах школы, а по вечерам разъяснял слово Божье взрослым.

Я ходил за ним по пятам, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Я с наслаждением вдыхал запах странствий – мокрой шерсти, пота и дегтя, видел, что и гости, и прост взволнованы и полны ожидания, как перед любовным свиданием.

В кухне Юхани неожиданно резко повернулся, хотел взять что-то из своего рюкзака, и я не успел отскочить – мы стукнулись лбами, да так, что у меня посыпались искры из глаз. Звук был такой, будто разбили глиняный горшок. Он не сказал ни слова, только уставился на меня, потирая свою несчастную голову. Остальные уже рассаживались за столом и ничего не заметили.

– *Annaantheeksi*, – пробормотал я, сдерживая слезы стыда. – *Простите...*

Юхани помотал головой, борясь с головокружением. Он стоял совсем близко. Я не столько увидел, сколько почувствовал, что он старается сказать что-то остроумное по поводу нашего столкновения, унять раздражение.

– Деревянная голова... у тебя деревянная голова, пареньь.

– Простите, – повторил я.

– Но есть и преимущество. С таким поплавком не утонешь.

Я потрогал лоб – там набухала внушительная шишка. Юхани словно вызывал меня на поединок, и я попытался срочно придумать ответ на его посылку. Прост прав – умею я говорить, обязательно что-нибудь пришло бы в голову.

– У меня нет такого дара... я не умею говорить... – пролепетал я и сам почувствовал, что краснею.

Юхани молниеносным движением выхватил клинок из ножен на моем поясе и потрогал лезвие большим пальцем.

– Острый... – одобрил он. – Язык – не дар. Язык всегда с тобой. Он почти ничего не весит, как этот клинок. Язык и есть клинок, но следить, чтобы он не тупился, ты должен сам.

Изящно и быстро он перебросил нож из руки в руку и протянул его мне рукояткой вперед.

Я молча сунул нож в ножны. Два – ноль в его пользу. Такой поединок мне в жизни не выиграть.

Пекка пошел к сауне колоть дрова. Поиграл колуну, проверил баланс, похвалил кузнецов в Кенгисе, и за три минуты выросла целая поленица. Огонь в печке полыхал, камни медленно раскалялись – сауна готовилась к приему дорогих гостей.

Вернулись в дом: еще осталось время для разговоров. Я внимательно слушал. Голова до сих пор гудела, но я уже не мог определить почему – то ли от удара, то ли от того, что слова Юхани пробили в моем наглухо закупоренном сознании дыру и в эту дыру kloкочущим потоком устремился новый, почти неизвестный мне мир. Эти дядьки, согнувшиеся над своими Библиями с тысячью закладок, мгновенно находящие нужный стих. Они говорили о начатом простом движении за духовное обновление, возрождение, пробуждение, называя его по-разному, но суть сводилась к одному: люди севера не должны и не могут жить по-прежнему – в темноте и поголовном пьянстве. Прост начал свою борьбу в Каресуандо, но теперь волны, как от землетрясения, покатались по всему краю – и на запад, и на восток. Но не так уж гладко. В Каутокейно – разброд и шатания. Пер Нутти рассказал, что несколько человек – он назвал их по именам: Уле Сомбю, Аслак Хаetta, Расмус Спейн и еще человек пятнадцать – посадили в каталажки в Тромсё и в Альте. На суде их обвинили в нарушении порядка и ереси.

– Ереси? – переспросил прост.
– Хаэтта и Сомбю начали выкрикивать, что они и есть Господь Бог и Христос. Не где-нибудь, а в храме.
– Не может быть!
– Полно свидетелей.
– Господь Бог и Христос! – ужаснулся Юхани. – Надо срочно идти туда и вправить им мозги.

Священники долго обсуждали «работу в нашем винограднике», как они называли свою неустанную, ни на день не прекращающуюся проповедь во славу духовного пробуждения. Называли село за селом, хутор за хутором, и со шведской, и с норвежской, и с финской стороны. Рассказы о чуде спасения, горячие, но спокойные теологические споры – я многого не понимал, но видел, с какой глубокой серьезностью и с каким увлечением занимались эти люди своим делом.

Особенно тревожило их положение в Пайале.

– Взойшли ли посеянные вами семена, брат мой? – спросил Юхани.
– Семена! – горько усмехнулся прост. – Может, когда-нибудь и взойдут. Земля здесь черства и тверда, как скала.

Он рассказал про бесконечный поток жалоб в Соборный капитул, пожаловался, что вынужден теперь читать каждое воскресенье не одну проповедь, а две. Одну – традиционную, тишь да гладь, а другую – для пробужденных, где допускается присутствие Святого Духа. И приплюсуйте бесконечные нападки и пасквили в газетах. Можно бы и не обращать внимания, но тогда люди решат, что все, что пишут, – правда. Значит, надо тратить время и писать длинные ответы на лживые обвинения.

– Единственное преимущество Пайалы перед Каресуандо – картофель здесь лучше себя чувствует, – усмехнулся прост.

– Значит, господа в Пайале никак не хотят просыпаться, – подытожил Пекка с отвращением.

– И не только господа, рабочие тоже. Дайте ему графинчик с перегонным – и он счастлив.

– Вся надежда на детей, – задумчиво сказал Юхани. – Не знаю, с чем сравнить...но когда ты видишь мальчонку или девчушку, как они водят пальцем по книге и читают вслух имя Господа...

Юхани рассказал о своей учительской деятельности, как он на несколько недель собирает детей в миссионерские школы. Родители поголовно неграмотные, едва могут поставить закорючку вместо подписи, но они охотно посылают детей учиться, и когда ребенок начинает читать, то смотрят, как на чудо. В последний день он обычно собирает всех, и детей, и родителей, на молитву и просит кого-нибудь из малышей почитать из Писания. У всех слезы на глазах, а взрослые мужики и тетки подходят и спрашивают, нельзя ли им тоже поучиться читать.

Брита Кайса присела за стол к мужчинам.

– Только образование, – сказала она важно. – Только образование даст народу свободу. Последний бедняк не так уж беден, если умеет читать и писать. Даже финны, даже саамы смогут выучиться на учителя, врача, ученого. Вот это и есть будущее нашего края. Свободные, грамотные, богобоязненные люди не понесут последний медяк кабатчику...

– А пожертвуют на образование, – заключил прост. – Свое и своих детей. И это тоже повод: нас обвиняют, якобы мы кладем эти жертвования в карман. Приезжал епископ Бергман, проверил нашу бухгалтерию и, слава Господу, никаких замечаний не сделал.

Пекка не возражал. А Юхани подчеркнул: и в образовании нужна определенная строгость. Он не раз обращал внимание, что некоторые ученики стремятся взять карандаш в левую руку, а не в правую. Но поскольку левая сторона, как известно, – сторона дьявола, таких учеников необходимо поправлять. Если это сделать с самого начала, вполне можно добиться, чтобы дети писали правой рукой. Тогда эта привычка останется на всю жизнь. Сам он призывает учеников держать левую руку за спиной, а для верности сжать в кулак.

– И еще, – серьезно произнес Юхани. – Я должен рассказать о молитвенном собрании в Киткоерви. Пришли несколько взволнованных женщин и умоляли меня решить – правильна их вера или нет. Я ответил так, как мы всегда отвечаем на этот вопрос: это может определить только сам верующий. По подсказке сердца. Но одна из них не успокаивалась. Рыдала безутешно. Оказывается, она недавно овдовела, ее одолевают невыносимые муки совести, и она умоляет отпустить ей грехи.

– Если ты честен перед Господом, ты сам знаешь, прощен твой грех или нет, – сказал прост. – Всем телом чувствуешь.

– Может быть... а может, нужно что-то другое. Потому что вскоре после этого мне рассказали нечто... После молитвы женщины ушли, и, оказывается, одна из них взяла и отпустила вдове ее грехи.

– Что? – в один голос спросили трое слушателей и недоуменно посмотрели друг на друга.

– Одна из этих женщин? – переспросил Пер Нутти, словно не мог поверить.

– Ну да. Одна из этих женщин.

– Отпустила грехи? Именем Господа? – Я никогда не видел проста в таком изумлении.

– Надо ее найти, – сказал Пекка. – Я уже говорил – надо ее найти и строго предупредить.

Видно было, что братья уже не раз обсуждали этот вопрос.

– Может быть, может быть... – задумчиво произнес Юхани. – Но... можно ведь и по-другому посмотреть... Может, она как раз и сделала то, что надо было сделать? Может, мы с нашим Пробуждением... может, мы пока на полпути?

– Ты имеешь в виду, что мы должны?... – Пер Нутти не закончил вопрос.

– Вдруг она показала нам верный путь? Вдруг это и есть данный нам Небом ключ и мы, ничего про то не ведая, уже держим его в руках?

Прост долго молчал. Шум порога вдаль то стихал, то нарастал. Где-то тоскливо блеяла овца.

После сауны мужчины уселись на веранде. Прост попросил меня принести табак, иначе съедят комары. Я отрезал от тугой косички порядочный кусок, принес, и они раскурили свои трубки. Над верандой поплыло густое сизое облако.

– Что насчет этого трагического случая, о котором весь край судачит? – спросил Юхани.

– Ты имеешь в виду девочку, которую задрал медведь? – уточнил Пекка.

– Хуже, – прост выпустил струю дыма, – Много хуже.

И он неторопливо рассказал всю историю. Одна девушка погибла, другая при смерти. Может, выживет, а может, и нет. Рассказал о своих

наблюдениях, рассказал, как мы нашли следы насилия в сарае у болота и как потом нашли и саму пастушку Хильду Фредриксдоттер в болоте. Вернее, ее труп, прищипленный ко дну вырванным из сушила колом. Рассказал про клочок выдранных чуть не с корнем волос.

– С какой стати медведь станет нападать на пастушку, если кругом полно коров?

– Да... непредусмотрительно со стороны медведя, – печально пошутил Пер Нутти. – Но если это была самка? Медведица? Защищала своих медвежат?

Прост покачал головой:

– На шее следы пальцев. Он ее задушил. И у другой девушки такие же следы. Тоже на шее.

– Значит, этот мерзавец гуляет где-то среди нас?

– Именно так.

– У проста нет соображений, кто бы это мог быть?

– Соображения... разве что косвенные. В сене, где была задушена Хильда, мы нашли необычное для наших мест растение. Взяться ему здесь неоткуда, так что наверняка прилипло к сапогу или к одежде убийцы. Кто ходит отсюда в горы и назад? И наоборот, с гор к нам – и опять в горы?

– Мы, саамы, – сказал Нутти.

– И мы, проповедники, – пожал плечами Юхани.

– Купцы. Коробейники, – добавил Пекка. – Мытари, всякие чиновники.

– Некто, кто шел через Кенгис, – подытожил прост. – Зверь, который или не может, или не хочет совладать со своими низменными страстями. Насилует девушек, а потом затыкает им рот навсегда.

– Ты рассказывал, что последнее нападение совершено после танцев, – строго сказал Юхани. – Музыка пробуждает страсти. Я всегда боялся музыки. И тем более танцев.

– Не столько музыка и не столько танцы, сколько спиртное, – возразил прост.

– Танцы и зелье – близнецы-братья, – резюмировал Пекка Рааттамаа. – Я сам не раз видел дикие сцены. Нечаянный толчок, непродуманное слово... Какая-то старая ссора всплыла в памяти – и дело доходит до убийств. Вино усугубляет все: ярость, похоть, обиды.

– Это правда, – кивнул прост.

– Но, может, на том все и кончится? Насильник ушел из наших краев и больше не появится?

Прост пожал плечами:

– Не знаю... И еще вот что: мне кажется, в последнее время вокруг меня сгущаются тучи. Кто-то за мной следит. Выжидает момент, чтобы со мной покончить.

– Помилуй Бог, – перекрестился Пекка и бросил быстрый взгляд через плечо.

– А я понимаю, почему зло находит дорогу сюда, к нам, – неожиданно и уверенно произнес Пер Нутти.

Все посмотрели на него с удивлением.

– Это же здесь, у нас, на крайнем севере, главный бой. Нигде так не чувствуется присутствие Господа. Святой Дух чуть не ежедневно осеняет нас своим крылом.

– Да, это правда, – согласился Юхани. – Здесь у нас линия фронта, здесь идут самые жаркие бои. Мы начали битву за духовное пробуждение, за возвращение к Богу, как же может сатана оставить такое без внимания?

Меня вдруг зазнобило – показалось, что я услышал возню демонов под крышей.

– И боюсь, что это только начало, – сказал Пекка. – Они хотят задушить наше движение.

– Кто – они?

– Наши враги. Те, кто боится правды.

– Наши враги... – задумчиво повторил прост. – Какие враги? Внешние? Или те, что среди нас?

Внезапно хлопнула дверь, на пороге появилась Брита Кайса с большим кувшином в руках и грозно глянула на полуодетых мужчин.

– Хватит уже! – нетерпеливо сказала она. – Освобождайте место. Женщинам тоже охота попариться.

За ней на веранде появились и дочери – они, оказывается, тоже мечтали о сауне. И мужчины нехотя двинулись в кабинет проста. Шли на цыпочках, старались не шуметь, – малыши уже спали.

Я, как всегда, забрался в дальний угол и сел на полу, положив подбородок на колени. Вряд ли они меня замечали – серая тень на серой стене.

– В Норвегии я слышал одну историю, – неторопливо начал Пер Нутти. – Четыре года назад... да, четыре, в тысяча восемьсот сорок восьмом, Антин Пиети и Маттис Сийкавуопио пришли проповедовать Пробуждение норвежским саамам. На зимней ярмарке в Шиботне вышли на площадь и начали говорить – под звон кошельков и бутылок с перегонным. Их, конечно, подняли на смех. Никто и слушать не пожелал. В отчаянии они двинулись к побережью и там встретили двух рыбаков, Монса Монсона и Ханса Хейскала. Именно там, между бушующим морем и смертельно опасными отвесными скалами, эти двое пришли к истинной вере – первые в том краю, кто поверил в возможность духового обновления. Соседи и знакомые от них отвернулись, встречали насмешками и угрозами. Никто не желал их слушать.

И вот однажды в море их застал шторм. Монсон и Хейскала побросали снасти и попытались выгрести к берегу, но ветер отгонял их назад, лодка трещала под ударами волн, и они уже приготовились к неизбежной смерти в ледяной могиле моря. Тогда они взялись за руки так, что ладони онемели, и начали молиться.

И произошло чудо – их лодку вынесло на берег. Мокрые и промерзшие, они постучались в одинокую хижину, там их встретили, согрели и накормили, не переставая дивиться их чудесному спасению. И только потом, у пылающей печи, они рассказали хозяевам, что их спасли молитва и непреклонная вера. Их рассказ, их спокойная убежденность, что по-другому и быть не могло, произвели на хозяев огромное впечатление. Подумать только – эти двое чудом вырвались из лап смерти, но души их преисполнены покоем и благодарностью Спасителю!

Уверовала вся семья, и это-то и стало началом великого пробуждения в Люнгене.

– Благодарение Богу, – пробормотал прост.

– Антин Пиети, несомненно, великий проповедник.

Глаза проста весело блеснули.

– Вы же все слышали Антина Пиети? Знаете, как он ведет народ к истинной вере? А я вам скажу. Он говорит очень медленно.

– Да... не быстро, – согласился Нутти.

– Медленно и долго, – улыбнулся прост. – Часами. За это время можно обратить в истинную веру скалу или большое озеро. Ну, не

большое... средних размеров.

Все засмеялись. Мне показалось, никого не задело, что прост вышучивает единоверцев.

– А я – наоборот, – Юхани никак не мог унять смех, – я успел бы прочитать проповедь птицам и бабочкам.

– А мне не дает покоя вот что... – Пер Нутти соорил серьезную гримасу. – Придет час, явится в наши края Иисус – что мы с комарами-то делать будем? Зажрут ведь Спасителя!

Было очень приятно и весело смотреть, как эти известные всему краю люди подтрунивают друг над другом. Только Пекка оставался серьезным. Нет, иногда он, конечно, улыбался, но лицо напоминало чеканку по меди, даже улыбка его не меняла.

Вечер перешел в ночь, а они никак не могли оторваться от разговора. Говорили очень тихо, чтобы не перебудить большое семейство, и голоса их жужжали, как рой мух. Вспоминали знакомых, друзей, вновь обращенных, обсуждали, как преодолеть разногласия, грозящие расколоть движение. Я сидел в своем углу и сонно улыбался, а они, как мне кажется, и вовсе обо мне забыли. Мне было очень хорошо, я чувствовал себя совсем как ребенок, прислушивающийся к спокойному и уверенному голосу отца. Ребенок, знающий, где искать защиту.

Так я и уснул, прислонившись к большому книжному шкафу, вдохновленный мудрыми словами и с благословенной шишкой на лбу.

Мне было очень радостно видеть, как изменилось настроение учителя. Мрак, одолевавший его, рассеялся, он словно хлебнул из живительного источника, просто-напросто повеселел. Нет, не повеселел. Утешился. Утешился и успокоился. Духом прост был крепче других, поэтому очень горько было смотреть, как с каждым днем все больше сгибается его спина, как опускаются плечи. Будто он несет непосильную ношу.

Но вот появились друзья и единомышленники и подхватили этот груз. И настроение поднялось. Как четыре дотлевающих полена – их сложили вместе, и они снова вспыхнули ярким, согревающим огнем.

Четыре апостола. Они похожи на четырех апостолов, думал я. Четыре евангелиста. Четыре рыцаря в святом бою.

– Ты сидел там, в углу, как приклеенный и слушал, – сказал прост, когда мы наутро спустились к реке.

– Я учусь. Все время учусь.

– Да, верно. Ты выучиваешь все, что я показываю. А как дела с готическим шрифтом?

– Уже читаю и готический.

– Вот видишь, Юсси, вот видишь... И все же самое трудное – научиться хорошо говорить.

– Да уж...

– Думаю, трудности связаны в первую очередь с голосом. С природой голоса. Голос идет изнутри, он возникает в глубине груди, поднимается из легких и выходит наружу через гортань, как облачко мельчайших капелек слюны.

Он тут же рукой обрисовал возникшее у его рта облачко слюны, показал его форму, показал, как оно рассеивается и исчезает.

– Мы стесняемся всего, что покидает наше тело, – объяснил прост. – Все мы должны избавляться от отходов, но делать это принято в одиночестве. Не публично. В отхожем месте мы хотим избежать посторонних глаз и ушей. Знаешь ли, в Хернёсанде сортиры даже запирали на специальный латунный крючок, будто испражнения профессуры заключали в себе некий постыдный секрет. Но говорить-то они умели и любили! Иногда я думаю, школы для того и созданы, чтобы избавить человека от ложного стыда за свою речь.

– Хуже, когда много слушателей, – вставил я.

– Вот потому-то ты и должен практиковаться в одиночестве! Вот, смотри, – река. Что бы тебе хотелось сказать реке?

Он что, шутит? Я посмотрел на широкую спокойную реку. В ней отражались бледно-голубое небо и легкие белые облака. Где-то вдали ревели пороги.

– Сказать?

– Именно сказать. Одних мыслей недостаточно. Мысли, которые ты не облек в слова, может, и порадуют тебя на секунду, но они превращаются в кашу, и уже в следующий миг ты их забываешь. Только когда ты их произнес, придав им форму, ты можешь понять их значение и их ценность.

– Но можно же записать?

– Да, но для этого требуется важное условие: чтобы тот, к кому ты обращаешь свои мысли, умел читать. Итак, река... что бы ты хотел сказать этой реке? Посмотри, она даже поморщилась от нетерпения.

И в самом деле – пролетевший ветерок взъерошил водную гладь, и отражение облаков исчезло. Прост, не добавив ни слова, повернулся и пошел к дому. Я остался один, но подождал еще немного, пока не убедился, что никто, кроме реки, не может меня слышать.

– *Väylä*, – сказал я тихо. И повторил погромче: – Река!

Прозвучало странно и глупо. Я еще раз огляделся по сторонам – никого.

– Знаешь ли ты, река, какой самый большой грех? Самый большой грех, который человек может совершить, – не любить своих детей.

Я прислушался к спокойному шороху текущей воды.

– Не любить своих детей! Рожать детей, чтобы их мучить. Делать им больно, не утешать, когда им плохо.

И я увидел перед собой бурую, отекающую рожу ведьмы. Ее ухмылка была такой злобной и издевательской, что мне стало страшно: скажи я еще хоть слово – получу такую взбучку, что вряд ли выживу. Вырвет с корнями все волосы.

– Что ты сделала с Анне Маарет, чертова ведьма? Если... если... то я тебя убью!

Как она? Что с ней, с моей сестричкой? Жива ли она вообще?

На следующее утро, очень рано, в усадьбу пришли. Я уже проснулся, но все еще валялся на моем набитом соломой мешке, когда услышал, как хлопнула дверь в сенях. Натянул штаны и побежал открывать. На пороге стояла женщина. Я сначала ее не узнал – мокрое лицо было настолько искажено, что напоминало выжатую половую тряпку. Но быстро сообразил: Кристина. Мать Юлины. Она машинально переступала с ноги на ногу, будто все еще была в дороге. Я сразу понял: что-то произошло.

– Господин прост должен прийти... должен прийти...

– Он еще спит. А что случилось?

– Должен прийти... – Она попыталась что-то сказать, но разразилась такими рыданиями, что я не понял ни слова.

Я побежал к просту – оказывается, шум его разбудил. Он сидел на краю кровати в своей длинной, до пят, ночной рубахе и протирает глаза. Начал одеваться, но по неуверенным движениям было ясно: еще не совсем проснулся.

Мы пошли за Кристиной. Она вцепилась в рукав проста и тащила за собой. Он мягко освободился от ее хватки, и тогда она пошла впереди, почти побежала, то и дело оглядываясь, идем мы за ней или нет. Увидела, что не успеваем, и перешла на мелкий, но очень быстрый семенящий шаг.

В воздухе еще стоял ночной холодок, на листьях и траве матово поблескивала пыльца росы. Уже понятно – лето кончается. На березах все чаще просвечивали золотые монеты пожелтевших листьев, вот-вот начнется листопад. Грустно. Скоро, очень скоро зима заставит замолчать все живые звуки мира, сучья и листья почернеют, а созревшие семена разнесет колючий ледяной ветер. Перепутанные ветки склонятся под тяжестью снега, и эти белые аркады будут держаться всю долгую зиму, до весны.

Нас встретил хозяин, Элиас, и его взрослые сыновья. Не произнося ни слова, они повели нас через весь двор, мимо сарая и отхожего места к опушке леса, подступавшего прямо к их наделу. На земле лежал старый лоскутный ковер, а на нем что-то, прикрытое серым домотканым одеялом. Я догадался сразу – слишком уж это «что-то» напоминало человеческое тело. Все молчали, стояла полная тишина, если не считать непрерывного, на одной и той же противной ноте, жужжания мух.

Прост медленно нагнулся, опустил на колени и откинул одеяло. Он, конечно, знал, что увидит, но все равно испугался – судорожно отбросил тряпку в сторону, прикрыл рот рукой и откинулся назад.

Зрелище было жуткое.

Когда-то красивое лицо Юлины было не узнать. Сине-лиловое, язык распух так, что ему уже не нашлось места во рту, свисает на сторону. Элиас уже успел положить монеты, и когда прост их приподнял, глаза оказались полуоткрытыми, налитыми кровью, будто она в последние секунды жизни увидела самого дьявола.

– Я ее отрезал, – пробормотал Элиас и показал на стоящую совсем рядом старую сосну.

Только сейчас мы увидели обрывок веревки на одном из толстых нижних сучьев. Другой конец привязан к стволу.

Прост встал, внимательно осмотрел землю под деревом.

– Был какой-то табурет? Или что-то?

– Нет... наверное, забралась на дерево и прыгнула.

– Господи, помилуй ее душу, – еле слышно пробормотал прост.

Оглядел грубый сук, через который была перекинута веревка, опустился на корточки и задумчиво подобрал несколько темно-оранжевых чешуек сосновой коры.

– Жена-то проснулась совсем рано, – продолжил Элиас тихо и монотонно, без всякого выражения. – Будто чувствовала.

Прост повернулся к Кристине.

– Да, хотела глянуть, как она там... – Кристина говорила отвернувшись. Видно, не могла заставить себя посмотреть на тело мертвой дочери. – Гляжу – пусто. Видно, улизнула, пока мы спали.

Прост взял одеяло за края, сложил и откинул в сторону. На Юлине была только длинная, серая от сотен стирок ночная рубашка.

– Она всегда спит в этом... в этой рубашке?

– Да. Всегда и спит... спала.

– А на ногах? Никакой обуви?

Элиас покачал головой. Прост еще раз огляделся и заметил, что поодаль лежит еще один кусок веревки.

– А это?..

– Я разрезал петлю. Думал, жива еще... – сдавленным голосом сказал Элиас.

Его могучее тело дернулось словно в судороге, но он сдержался и замаскировал рыдание внезапным приступом кашля.

– А что за веревка? Ваша?

Отец Юлины, по-прежнему кашляя, покачал головой:

– Первый... первый раз вижу. Наверное, попросила у кого-то.

– *Voityäparka*, – *опять заплакала Кристина. – Бедная девочка...*

– Да... что тут скажешь? Бедная девочка... – пробормотал прост.

– Бедная, бедная девочка... неужели душа ее теперь попадет в ад? – внезапно спросила мать, заглядывая просто в глаза.

Прост не ответил. Как мне показалось, не смог себя заставить. Вместо ответа сложил руки и прочитал молитву – точно так, как читал, когда причащал еще живую Юлину. Элиас и Кристина присоединились к молитве, а я так и не решился. Все, что говорит прост, – слова. Всего лишь слова. Его слова не смогли ее защитить.

– Агнец Божий – и такое дело... грех ведь? – спросил отец. – Нельзя ведь?

– Нельзя.

– Даже когда совсем худо... держаться надо, вот что я вам скажу.

Похоже, Элиас уговаривал сам себя. Прост осторожно положил руку Кристине на плечо:

– Расскажите... как вы ее нашли?

– Ну... я же говорю – лежанка пустая. Покричала, конечно, в сарай заглянула. Господи, беда-то какая... потом гляжу, а на опушке-то... Я сразу поняла: она.

– И?

– Закричала, конечно. Криком закричала – Элиас, кричу, ребята... скорее, мол, скорее!..

Братья дружно закивали.

– А потом?

– Отец-то сразу веревку отрезал, – пробормотал старший.

– Ковер велел притащить, – сказал второй сын. – Вережку, значит, отрезал, петлю снял... снял и говорит: нет, говорит. Нельзя в дом такое нести.

– Почему нельзя? Можно.

– Ну, те-то... кто сам себя...

– Пока можете положить тело в сауне. Пусть исправник посмотрит.

– А мы еще и не посылали.

– Значит, пошлите сейчас. И отнесите в помещение прямо сейчас. Мухи...

Элиас нагнулся, отогнал мух, набросил одеяло и вместе с сыновьями поднял безжизненное, уже успевшее окоченеть тело. Я не мог оторвать глаз от выглядывавшей из-под одеяла мучнисто-белой руки с растопыренными пальцами. Мы пошли следом. Юлину осторожно положили на полку, после чего подошедший прост опять опустился на колени и прочитал молитву. Глаза полузакрыты, спина

сгорблена, словно он где-то в другом, недоступном нам мире. Я понял, что он хочет.

Повернулся к родне и прошептал:

– Оставьте проста в покое. Сами видите. Пошлите кого-нибудь за исправником, а я побуду с учителем. И принесите, пожалуйста, свечу.

Кристина вышла, через минуту вернулась с большой сальной свечой и тут же, неловко присев, вышла. Я зажег свечу и запер дверь.

Прост тут же поднялся с колен и засучил рукава.

– Надо торопиться. Бедная девочка.

Я достал бумагу и замер с карандашом в руке.

Он аккуратно откинул одеяло и поднес свечу поближе.

– Шея... шея повреждена петлей. Но посмотри на синяки...

– Что – синяки?

Он развел пальцы и поднес к шее умершей. Багрово-синие отметины совпали так, что мне стало страшно.

– Как и у Хильды Фредриксдоттер. Этот зверь удушил ее голыми руками. Она наверняка была уже мертва, когда он тащил ее к дереву.

– То есть... вы хотите сказать... она не самоубийца?

– Ты же и раньше видел такие синяки, Юсси. Отпечатки пальцев в виде полумесяца.

Прост снова поднял с глаз монеты, слегка раздвинул веки и долго и внимательно смотрел в мертвые глаза.

– Полопавшиеся мелкие сосуды тоже говорят, что ее задушили. Запиши, Юсси.

– Откуда учитель все это знает?

– Обычное естествознание, Юсси. Мой друг в Упсале шел по врачебной линии. Запиши также: синяки на предплечьях, типичные.

– Он держал ее за руки?

– Возможно, прижал коленями. Юлина сильная девушка, но на этот раз у нее не было заколки. К сожалению... Можешь мне помочь?

Я подсунул руки под колени трупа и приподнял, как он велел. Он секунду посомневался, тряхнул головой и задрал подол ночной рубашки.

– Посмотри на ее ноги. Что можешь сказать?

– Ноги... ноги как ноги. Никаких повреждений.

– Вот именно! Ни царапин, ни ссадин. И что думает по этому поводу Юсси?

– В каком смысле?

– В том, что все, что мы видим, говорит против самоубийства. Попробуй вскарабкаться на толстый ствол сосны, потом перебраться на сук – и при этом не получить ни единой царапины! В штанах – возможно, но в ночной рубашке – исключено.

Прост попытался приподнять ногу, но трупное окоченение зашло довольно далеко, и ему пришлось изогнуться, чтобы посмотреть на подошвы.

– А вот пятки сзади расцарапаны. Обе, как видишь.

– Тело волокли по земле.

– Молодец. Убийца повалил ее на землю, задушил, взял под мышки и поволок к дереву. Тогда и появились царапины на пятках. Веревку приготовил заранее. Перекинул через сук. Надел петлю на шею, поднял тело, а второй конец привязал к дереву. Вот, посмотри, – он развернул платок, – вот они. Чешуйки коры, где веревка терлась о сук.

Прост попросил меня зарисовать все повреждения на теле, бережно закрыл глаза покойной, положил медяки и накрыл тело все тем же одеялом.

– Пошли посмотрим, что творится вокруг.

Мы вышли из бани. Он двинулся к дальнему концу дома. Здесь стоял маленький, слегка покосившийся деревянный сарайчик.

– Отхожее место. Думаю, Юлина вышла по нужде. Ночь, все спят, никто и не слышал ее шагов. А преступник уже караулил. Вполне возможно, он пришел не в первый раз. Несколько ночей ждал удобного случая.

Взгляд проста упал на несколько росших чуть поодаль осин.

Уверенно подошел и ткнул в землю:

– Вот здесь он и стоял.

Нагнулся и поднял что-то с земли:

– А это что?

Между большим и указательным пальцами он держал что-то очень маленькое.

– Карандашная стружка? – спросил я.

– Нет, Юсси. Это что-то другое.

И я сразу увидел это «что-то другое»...

На коре были следы ножа – два глубоких, длинных шрама. Вместе они представляли хорошо известную фигуру.

– Крест... – прошептал прост. – Он стоял, ждал свою жертву и вырезал на коре крест.

– Но почему? Почему именно крест?

– Вполне возможно, этот крест предназначен мне.

– В каком смысле? – не понял я.

– Помнишь, в лавке в Пайале я послал ему предупреждение? Дал понять, что мы напали на след? Не исключено, что он стоял там среди других и слушал.

– Значит, крест?..

– Прямая угроза. Ответ.

– Но кто... кто может быть таким хладнокровным?

Ответ последовал немедленно.

– Змея. Змеи хладнокровны. И на Пайалу сочится змеиный яд.

Мы быстро вымыли руки и пошли в дом. Кристина предложила поесть, и мы с благодарностью согласились – оба изрядно проголодались, мы же вышли из дому натошак и с тех пор крошки во рту не имели. Я молча жевал рыбную кашу, прост тоже ел, но при этом махал рукой у рта, словно торопился прожевать побыстрее, а как только удавалось проглотить, тут же задавал вопрос.

– А где ваша собака? Она не лаяла ночью?

– Нет... исчезла куда-то, – равнодушно сказала Кристина.

– Что значит – исчезла?

– Ну... где-то бегают. Течка у нее.

– Понятно... А когда вы видели ее в последний раз?

– Позавчера, думаю. – Элиас вопросительно поглядел на Кристину, но та не шевельнулась. Не подтвердила, но и не возразила. – Она вообще... Как с Юлиной это случилось, сама не своя. По вечерам лает, рычит под дверью...

– Охраняет?

На этот раз Кристина кивнула:

– Ей кажется, крадется кто-то, да после такого... И мне как-то тоже показалось.

– Да... несколько ночей рычала, – подтвердил Элиас. – Мы-то ее выпускаем по ночам, домой не берем – какая-никакая, а охрана. Рычала, рычала... лисы тут бродят. Вообще-то она не рычит. Мирная. Да и маленькая – кто ее испугается?

– Но вчера исчезла?

– Придет. – Кристина пожала плечами. – Всегда приходила и сейчас придет. Куда ей деваться, явится.

– Стоит все же поискать. Как ее зовут? Сири, кажется?

– Ну.

– Красивое имя... Сири.

Не успели мы утолить голод, с дороги послышалось громыхание экипажа. Во двор, переваливаясь, въехала коляска, и с нее еще на ходу спрыгнули трое. Исправник Браге с неизменным Михельссоном и уездный врач Седерин. Несмотря на ранний час, от всей компании сильно пахло пуншем. Оттого-то, как мне показалось, они и были подчеркнута деловиты. Исправник командовал, Кристина бегала туда-сюда с его поручениями. У уездного медикуса, крупного и толстого мужчины, судя по тому, как он, морщась, опирался на трость, болела спина. Круглые очки все время сползали на кончик малинового носа, и он неуклюже возвращал их на место, при этом каждый раз неодобрительно поглядывал на проста. Неудивительно: доктор пил часто и много. Кампания против пьянства, которую развернул прост, угрожала ему лишением единственного лекарства, помогавшего от заполярной тоски.

Исправник поспрошал, как и что, и все трое втиснулись в сауну. Просту в маленькой парной места не хватило, он остался в дверях. Исправник с отвращением посмотрел на труп Юлины, вытащил кружевной носовой платок и вытер руки.

– Все они такие синие, когда вешаются, – объявил он. – Уродство какое. А ведь хорошенькая была.

– Приглядитесь к шее, господин исправник, – негромко сказал прост.

– А...и вы здесь, господин прост. Опять лезете не в свое дело. Извините, мы должны работать.

Доктор Седерин попросил табуретку – не потому что вид повешенной произвел на него сильное впечатление, за годы работы он видывал и не такое. Но после вчерашнего возлияния с исправником он охотнее всего не сел бы, а лег на первую подвернувшуюся лежанку.

– Язык синий, опухший. Лицо – сами видите. Шейные позвонки свернуты петлей. Повесилась, ясное дело.

Седерин согласился – сама мысль о какой бы ни было дискуссии была ему мучительна. Неохотно достал блокнот и записал на латыни: суицид. Самоубийство.

– Отметины на шее не совпадают с петлей, – возразил прост.

– Я вы-то откуда знаете?

– Я знаю только, что у петли нет пальцев. А синяки на шее именно от пальцев. Петля не могла оставить такие следы.

– Конечно, от пальцев, – рявкнул исправник. – Вы что, не помните, что с ней было?

– Нет, это не те следы. Эти синяки свежие. И уж совсем свежи царапины. Наверняка от ногтей.

Исправник шагнул к просту. Схватил его за воротник, чуть не поднял на воздух и начал трясти, обдавая вчерашним спиртным духом.

Прост потом рассказывал – в эту долю секунды он вспомнил отца. Те же самые внезапные, ничем, кроме алкоголя, не вызванные приступы ярости, от которых страдала не только семья, но и все его окружение.

– Господину Браге не удастся меня запугать, – хрипло выкрикнул прост.

И тут последовал удар. Прост отлетел и ударился головой о стену. Заодно и врач получил пинок. Табурет свалился, и медикус оказался на полу. Исправник целил в зубы, но в последний момент прост успел отвернуться, и удар пришелся по скуле. Учитель, наверное, на какое-то мгновение потерял сознание. Он так и остался сидеть, прислонившись спиной к закопченной бревенчатой стене, только поднял, защищаясь, руки. Я попытался встать между ними, но исправник отбросил меня в сторону и навис над учителем – похоже было, что собирается ударить проста ногой. Но тут, к счастью, раздался вопль Михельссона:

– Сейчас свалится! – Секретарь заметил, что труп Юлины вот-вот упадет с полки, и бросился его подхватить.

Этот крик привел исправника в чувство.

– Заткнись, ты, аллилуйщик! – прошипел он просто, снял форменную фуражку, вытер усы и встряхнулся, как огромный пес.

Я помог просто встать. Глаза у него все еще плавали. Он сплюнул – с кровью, как мне показалось. Взял меня за руку, и мы вышли во двор. Там уже собрались домочадцы и соседи. По лицам было видно, как они изумились, увидев покачивающегося проста.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, – все в порядке.

Я посадил его на крыльцо – пусть придет в себя. Он долго сидел, закрыв лицо руками, а я был в ярости, меня аж подбрасывало. Чтобы успокоиться, достал карманную Библию и открыл наугад. Попал на притчу о блудном сыне. Сын уехал в дальние страны, растратил все, что имел, и вернулся к отцу.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду... и приведите откормленного тельца, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся^[21].

От опушки отделилась человеческая фигура. Младший сын.

– *Kirkkoherra!* Пастырь!

Прост, как мне показалось, не слышал. Я подергал его за рукав, и он поднял на меня затуманенные глаза.

– Пастырь! Мы нашли собаку!

Песик лежал, нелепо раскинув лапы, верхняя губа приподнята так, что видны небольшие клыки, в углах пасти застыла желто-серая сукровица. Трупик спрятали под густой разлапистой елью и присыпали хвоей. Если бы не рой мух, парню ни за что бы не пришлось в голову приподнять нижние ветки.

Прост осторожно погладил густую шерсть – мне показалось, прощупывает, целы ли ребра. Уже появился запах – труп лежал под елкой не меньше двух дней. Странно, что россомаха не добралась.

– Сири... – Юноша с трудом сдерживал слезы.

Прост повернулся к Элиасу:

– Вы на лис охотитесь?

– Ну... бывает.

– Как?

– Капканы ставим.

– А отравленными приманками не пользуетесь?

– Я-то нет... соседи, может... кто их знает. Господин прост думает?..

– Я видел лис, отравленных стрихнином. Хотя признаки предсмертных судорог обычно ярче. Жалко... чудесная была собачка.

– Такой не будет больше, – со всхлипом прошептал парнишка и прижал к губам кулаки.

– Надо сжечь тогда... а то еще кто, глядишь, отравится, – забеспокоился Элиас.

– Кто к вам заходил за последние дни?

– Это как? Что господин прост имеет в виду?..

– Думаю, убийца пытался добраться до Юлины с того дня, как это случилось. И отравил собаку, чтобы не разбудила вас лаем.

– Да как это? Кто может...

– Это вполне может быть кто-то, кого вы хорошо знаете.

У Элиаса задрожали губы. Он молчал. Сжимал и разжимал кулаки.

– Давайте помолимся за вашу собаку, – предложил прост.

– Помолимся? За собаку? – Элиас от изумления замер с растопыренными пальцами – забыл в очередной раз сжать кулак.

– Молитва благодарности за радость, которую она приносила вам за всю ее безгрешную жизнь. Молитва благодарности Господу, что он создал такое ласковое и преданное существо.

Младший сын внезапно согнулся чуть не пополам и разрыдался. Он судорожно хватал воздух ртом, как при тяжелом приступе кашля, и рыдал, рыдал горько и безутешно. Элиас посмотрел на него гневно и сжал кулаки. Похоже было, что он собирается отвесить парню затрещину.

– Итак, складываем руки, – поспешил вмешаться прост. – Складываем руки и открываем наши сердца Господу. Господи, благодарим Тебя...

Все замолчали, сцепив руки под подбородком, – и я, и Элиас с Кристиной, и сыновья. Младший еще несколько мгновений продолжал всхлипывать и шмыгать, но потом замолчал и он.

Вот так выглядит горе у нас в Заполярье.

Прост продолжал молиться, но я заметил, что у него дрожит голос. Я понимал почему: и он, и я прекрасно знали – в гибели Юлины есть и его вина. Ведь именно он распространил слух, что Юлина

может опознать насильника. Если бы он этого не сделал, возможно, девушка осталась бы жива.

Тяжелое зрелище – похороны Юлины Элиасдоттер. Почти все сельчане соглашались с исправником Браге: несчастная повесилась. Нападение насильника в ночь после танцев так потрясло девушку, что она не нашла в себе сил жить. Поползли слухи, что она умерла не одна, а унесла с собой и жизнь невинного младенца, зачатого в ту ночь злодеем. Еще как бы и детоубийца. Прямая дорога в геенну огненную. Подобные истории то и дело рассказывали за столом – в первую очередь для юных любительниц танцев. Дескать, одно вытекает из другого. Поплясала – и в петлю.

И чем чаще пересказывали историю, тем больше она обростала леденящими душу подробностями. Оказывается, Юлина не только повесилась, но и приняла перед этим яд. Якобы для уверенности, что нерожденное дитя тоже наверняка погибнет. И собачку отравила. Трупик собачки сожгли – не выбрасывать же его в лес с такой начинкой в животе! А дитя-то, дитя – ни в чем не повинное дитя тоже обречено вечно скитаться по мрачным катакомбам преисподней. Мы же сами иной раз слышим эти дикие вопли по вечерам – как же такой душе попасть в рай без крещения? Вот так и бывает с детьми шлюх, не только сами попадают в ад, но и отродье свое за собой тянут.

Прост изо всех сил старался утихомирить возмущенных прихожан, но без особого успеха – ведь только он и я знали, что Юлина даже не думала кончать с собой, что она жертва хладнокровного и расчетливого убийцы. В своей проповеди он пытался утешить родственников, говорил про окружающие нас темные силы, как нам нужна помощь Господа, чтобы смочь им противостоять.

Но паства слушала его с нарастающим раздражением. Кто там в гробу? Самоубийца, детоубийца, нераскаявшаяся грешница.

Исправник Браге и Михельссон перешептывались, склонив друг к другу головы. Элиас и Кристина сидели совершенно неподвижно, как два черных пня, не поворачивая головы и стараясь не замечать косых взглядов. Ни он ни она не плакали. Но я ясно видел, как растет в них

никому не слышный крик, и крик этот вот-вот, как кинжал, рассекает столбняк горя и вырвется наружу, взорвав мертвую, давящую тишину.

Наверняка они в тысячный раз спрашивали себя: может, неправильно воспитывали дочь? Может, не надо было отпускать ее на танцы в тот проклятый вечер? И была бы жива...

Я повторял слова молитв, но язык мой лежал во рту, как дохлая рыба на дне. Губы старались сложиться в буквы – а, и, е, о, у, но в душе я не слышал слов, мной овладела тоскливая немота. Глянул на переднюю скамью и встретился взглядом с секретарем Михельссоном. Тот написал что-то на клочке бумаги и протянул исправнику. Исправник прочитал, покосился на меня и что-то сказал. Я почему-то был уверен – они говорят обо мне.

Внезапно по церкви прошел леденящий ветерок. Непонятно откуда – двери и окна закрыты. Я посмотрел на проста. Он наверняка тоже заметил, остановился посреди фразы и беспокойно огляделся. На секунду, не больше. Прокашлялся и продолжил с того места, где остановился, но уже не с тем вдохновением. Как будто прислушивался к чему-то и это его отвлекало. Мне почудилось движение у стен – там шевелились какие-то ничего хорошего не предвещающие тени. И прост, точно подслушав мои мысли, схватил с алтаря деревянное распятие и прижал к губам, что-то при этом шепча.

И в ту же секунду словно стон пронесся по церкви:

– Ооолумохху...

И вторым голосом:

– *Herra Jeesuksen Kristuksen, a-ай-йаа...*

Внезапно вырос лес черных рукавов, пальцы царапали воздух, будто отскребали что-то.

«О-о-охху» – по-совиному ухнул первый голос, а какая-то пожилая тетушка начала раскачиваться на скамейке, взад-вперед, взад-вперед, а за ней и остальные. Через минуту вся церковь выглядела как огромная лодка, и сотня гребцов никак не могла сдвинуть ее с места.

Прост все сильнее сжимал распятие, он зажмурился, шептал что-то и дышал все чаще, но его, кажется, не коснулось общее безумие. Женская половина выла и колыхалась, завыли и несколько пожилых дядек на мужской половине. Они стонали, мотали головами и мяли шапки на коленях, будто хотели их разорвать на части. Горько заплакал какой-то малыш. Я нашел его глазами – бедняжка закрыл голову

руками, будто ожидал удара. По обе стороны от прохода черные фигуры выглядели, как деревья, раскачивающиеся под ударами штормового ветра, дунет чуть посильней – и упадут. Прост повернул распятие к прихожанам. Я подумал, что вся церковь теперь уже похожа не на лодку, а на палубу тонущего корабля, а прост – на капитана, пытающегося его спасти. Среди воя, воплей и выкриков слышался протяжный скрип... оказывается, вылетел гвоздь, удерживающий доску с номерами сегодняшних псалмов, и на пол со звоном просыпался золотой дождь латунных цифр. Люди толпились уже по всему проходу, кто-то отталкивал друг друга, кто-то обнимался. Я присмотрелся. На полу рядом с купелью рядком лежали три цифры: 666. В спину мне дышал какой-то толстый дядька, пахнувший прокисшим жиром, серой и еще чем-то, похожим на ту простоквашу, которой меня кормили на сенокосе. Другой схватил меня под локоть с такой силой, будто мы сидели на телеге, запряженной взбесившимися лошадьми. Я вырвался и глянул – плачущий косоглазый мужик с соплями под носом. Свободной рукой он загребал воздух, словно пытался плыть, и, рыдая, повторял:

– *Äiti, äiti... Мама... мама...*

Я высвободил локоть и уперся обеими руками в спинку скамьи: почему-то показалось, что сейчас упаду.

Прост по-прежнему стоял неподвижно с распятием в руках, но его неподвижность только распалаяла паству. Присутствие Святого Духа ощущалось как нечто само собой разумеющееся. Он был в каждом углу храма, мне даже казалось, что я вижу его – облачко тумана, дымок от костра. По церкви распространился явственный запах свежееиспеченного хлеба. Запах Прощения.

Плач перешел в крик, в котором уже не различить отдельных слов, он нарастал, как огонь в печи, куда подбросили сухой хворост. Рядом со мной пожилой дядька начал кряхтеть и тужиться, как в отхожем месте. А может, это были роды: он пытался родить что-то, вернее, не родить, а удержать нерожденным, но это что-то было чересчур велико для него, оно стремилось наружу и грозило взорвать его изнутри.

Я держался за спинку так крепко, что побелели суставы. Михельссон и Браге почему-то не сводили с меня глаз. Они не шевелились, были неподвижны, как камни в штормящем море. Я попытался посмотреть им в глаза, но не смог себя заставить, горло

перехватил ком паники. Внезапно заболела голова, тяжелые, пульсирующие удары, словно кто-то колотил меня по темени кулаком, поленом, пивной кружкой – всем, что попало под руку. Бум, бум... как непрекращающиеся удары грома в грозу... гр-р-р-р-бум, бум...

Я спрятался в кустах. Час, другой. Если кто-то проходит, ложусь и вжимаюсь в землю, пока шаги не стихнут. Комары как с цепи сорвались. Мало того: я устроился поперек муравьиной тропы, и эти крошечные солдатики ползут по лодыжкам, да еще и кусаются, возмущенные неожиданно возникшим на протоптанном маршруте препятствием.

Но скоро я ее увижу. Почему она не идет? Ей пора на скотный двор, она в это время всегда там. Наверное, что-то случилось. Я близок к тому, чтобы покинуть мой наблюдательный пункт, встаю... Но вдруг она все же появится? Я держу ее за талию, мы танцуем кадрили. При каждом прикосновении по коже рук бегут мурашки наслаждения. Ткань ее сарафана, ее запястье, тонкие, изящные пальцы.

И вот она выходит. Вот она, моя возлюбленная. Закрывает за собой дверь, за спиной рюкзак. Куда она собралась?

Я, перебегая от куста к кусту, следую за ней. Она босиком, куда-то торопится. В лес? А в рюкзаке еда для девочек-пастушек на летнем выпасе? Нет... идет по проезжей дороге. А может, догнать? Предложить донести рюкзак? Но вдруг отошьет? Скажет – иди своей дорогой. Нет, на такое у меня смелости не хватит...

И вдруг она исчезла. Куда? Свернула к заводу Сольберга? Зачем? А... вот она, остановилась за сарайчиком. Сердце мое сейчас взорвется. Она раздевается! На какую-то секунду мелькнули голые плечи, белые, как первый снег, метнулось что-то красное, и она вышла из-за сарая. На ней было рубиново-красное платье... мало того! Она распустила косы, сняла косынку, золотые шелковые локоны волной упали на плечи. Боже, как она красива! Неужели пришла на свидание? Кто-то ждет ее в сарае... нет, миновала дверь, пошла к заводу и постучала в дверь небольшого флигеля недалеко от усадьбы заводчика Сольберга... Кто-то ей открыл, и она впорхнула – легко, как птица.

Что делать дальше? Любимая... я жду, и жду, и жду, но она не появляется. Цепной пес учуял чужого и грозно, с хрипом, залаял, но тут же успокоился, улегся и положил морду на лапы. Да и вся усадьба похожа на огромного зверя, равнодушно уставившегося на меня всеми своими глазами-окнами.

Я заметил на грядке ведро, и меня осенило. Вышел из укрытия и надвинул на глаза шапку. Одет, как наемный работник, выгляжу, как наемный работник, – мало ли таких шляется по усадьбе. Взял ведро и двинулся к реке – теперь у меня есть занятие. Набрал воды и пошел назад, вроде бы полить огород, так почему бы не выбрать путь мимо флигеля? Пес встал и снова пару раз гавкнул – так же гулко и грозно.

Я поставил ведро на землю и притворился, что вытираю пот со лба, на всякий случай – а вдруг кто-то на меня смотрит? Опять поднял ведро с колышущейся прозрачной водой и прошел мимо окна флигеля. Никого. Выждал, обошел домик и заглянул с другой стороны; все время делаю вид, что вытираю лицо, а на самом-то деле не вытираю, а прячу.

На этот раз я ее увидел. Вернее, не ее. Я увидел алый сполох в лучах послепопуденного солнца. Она танцевала. Одна, без партнера, а вокруг ее головы летел вихрь распущенных волос.

Внезапно остановилась. По ее лицу, по кивкам видно было, что она слушает чьи-то наставления. Еще раз кивнула и опять начала кружиться, на этот раз помедленнее.

И тут я увидел его. Не узнать эту огромную фигуру было невозможно. С кистью в руке он подошел к ней, поправил волосы, какую-то складку на платье – и она безропотно позволяла ему себя касаться! Мало того – ей это нравилось, она согласно кивала и улыбалась... Меня затошнило, но я не в силах был заставить себя повернуться и уйти. Они могли увидеть меня в любую секунду, а я тер и тер лицо, даже глаза, как протирают запылившиеся окна, – и заметил служанку Нильса Густафа, только когда она подошла совсем близко. Схватил ведро, трусцой пробежал к огороду, вылил воду на репу и кольраби так поспешно, что брызги засверкали на солнце, и собрался было уходить, но служанка успела меня разглядеть.

– Эй, ты там! Иди-ка сюда!

Я бросил ведро и ушел не оглядываясь. Она звала на помощь, но я уже был далеко.

- Значит, он пишет портрет Марии... – сказал прост.
- Пишет, да... в ярко-красном платье!
- С распущенными волосами?
- Прост должен это остановить!
- И как же я могу это остановить? У Юсси есть предложения?
- Поговорить с ней. Объяснить. Запретить туда ходить.
- А хорош ли портрет?
- Не знаю. Мне не видно было.

Прост задумался. Пожевал губами, будто старался снять прилипшую табачную крошку.

– Нильс Густаф был на танцах в Кентте и обратил внимание на девушку, показавшуюся ему очень красивой. Спросил, не хочет ли она позировать ему в свободное время... Не понимаю, почему Юсси так разволновался.

– Нильс Густаф левша! – напомнил я.

– Да, это так. Левша.

– Он из господ.

– И?

– Он наверняка берет с собой карандаши, когда сидит в лесу и ждет, пока кто-то появится.

Прост медленно откинул со лба нестриженные волосы, словно собирався рассмотреть меня получше.

Прост многому старался меня научить, но труднее всего оказалось то, что поначалу выглядело самым легким, – искусство говорить. Чтение и письмо были своего рода приключением, вроде как взбираться на гору – трудно, конечно, но зато с каждым шагом открывается новый вид, величественнее и прекраснее прежнего. А говорить – как копать канаву в болоте: чем глубже копаешь, тем быстрее в нее набирается разная хлюпающая дрянь. Каждое слово – копок лопаты. Канавка делается все длиннее, ты выкладываешь слова в длинные цепочки по обочинам, но они расплываются, опять сползают в канаву и остаются тем же, чем и были – торфом и глиной. А канавка теряет смысл.

Чего-то не хватает в моем голосе. У меня саамский голос – высокий и немного хрипловатый. Никогда мы не говорим низким грудным голосом, как, к примеру, исправник или Нильс Густаф. У нас звук рождается в голове и гортани, достаточно послушать йойк, и сразу понятно. У нас важнее всего чувство, у шведов – объем и громкость. Прост рассказывал, как в годы учения его никто не слышал, его саамский голос не мог заполнить не только храм, но даже небольшую университетскую аудиторию.

Да что там... главное – стеснительность. Хочешь быть хорошим оратором – преодолей страхи, а чтобы преодолеть страхи, надо много упражняться. Ты должен смотреть на слушателей, как на стадо оленей, – вот что посоветовал прост. Сказал, что и сам иногда пользуется этим приемом. Олени большие, они даже могут показаться опасными – рога нешуточные. Но не надо бояться, их интересуется только одно – попасть на ягеле. Если ты чересчур тих и скромн, никогда не отвлечешь стадо от этого занятия. Криклив и напорист – стадо разбежится во все стороны. Но если ты говоришь достаточно громко и при этом спокойно, быстро заметишь, как один за другим олени перестают жевать и наостряют уши. Ты можешь разнообразить звук, даже наращивать напор, но постепенно. Главное – возбудить их любопытство. Ты говоришь и замечаешь, как некоторые подошли поближе. За ними другие. Если тебе удалось развести огонь, если он горит ровно и весело, можешь смело подкладывать поленья – он уже не погаснет. Иногда, сказал прост, читаешь проповедь, начинаешь волноваться и чувствуешь, как среди слушателей растет волнение, они беззвучно повторяют твои слова. Ты становишься их языком, их гортанью, их легкими.

– И вот в такие моменты ощущается присутствие Святого Духа, – неожиданно закончил прост.

– Все эти рыдания, выкрики, прыжки и раскачивания?

– Это от Господа.

Стадо оленей... возможно. Во всяком случае, перед собаками я говорю неплохо, они замечательные слушатели, даже лучше коров или овец. Потому что я их не стесняюсь. Да и кто станет стесняться зверей? Вот, к примеру, замечательное упражнение – попробовать уговорить рычащего сторожевого пса. Только словами, без всяких подачек. Если тоже начнешь на него орать, он рассвирепеет еще

больше. А если говорить негромко, читать, к примеру, молитву, собачья ярость быстро переходит в любопытство. А прост даже может усыплять собак – начинает говорить, а они уже через пару минут утыкаются носом в передние лапы и мирно засыпают.

– Очень помогает, если, к примеру, стоишь перед сворой разъяренных кабатчиков. – Прост улыбнулся, растопырил пальцы, как кошачьи когти, и зарычал – показал, как ужасен разъяренный кабатчик.

Я пытаюсь следовать его советам. Разговариваю с воронами, с пауками. Поговорил с пойманным в силки зайцем. С поросятами, стрекозами и кудахчущими курами. Один раз увидел младенца, плачущего в корзинке, сел рядом и стал уговаривать – и он заснул. Подошедшая мать подозрительно на меня посмотрела, тогда я начал говорить с ней. Это было очень трудно. Искать подходящие слова, эти тысячелетиями обточенные водой камни, гладкие, красивой формации, и я пытался сложить их так, чтобы получилось что-то осмысленное. Мать взяла корзинку и ушла, но несколько раз оборачивалась, и мне показалась, что она хочет вернуться. Это был первый случай, когда мне удалось укротить слова. Соединить их так, чтобы они тронули сердце слушателя. Чтобы не сползли в канаву.

Я, конечно, и раньше умел говорить. И что? Животные тоже умеют объясняться друг с другом. Из чего состоит такая речь? Дай мне то-то. Подвинься. Посмотри туда. Пора уходить.

Большинство людей так и разговаривают. А выразить мысль точно и ясно, более того, соединить эту мысль с другими мыслями – это совсем другое. Порядок спасения души. Учитель, к примеру, всю свою сознательную жизнь объяснял людям, как спасти свою душу, но, как мне кажется, ни разу не повторился. Каждый раз у него находится что-то новое. Новые мысли, новые аргументы. И вот что страннее всего: слова, когда их записываешь, становятся другими. То же самое слово, только в одном случае оно звучит, а в другом – на тебя безмолвно глядят красивые закорючки, буквы. И невозможно понять: что же их отличает? Библия же записана, вон сколько томов! Но никогда не поймешь Книгу, если не станешь читать вслух. Не пропустишь через рот, не превратишь в живое звучащее слово. А в чем секрет этого превращения? Усилие губных мускулов, немного слюны, короткий выдох согретого организмом воздуха. Большое дело... а происходит что-то, что невозможно объяснить. Слушать хорошего оратора – как

вкусная еда. Пастор кормит паству, как птицы кормят своих птенцов. Из клюва в клюв.

Вернулся Юхани Рааттамаа. Он обходил села на юге речной долины. Во время службы сидел, напряженно нагнувшись вперед, словно собирался с силами. А когда дело дошло до проповеди, прост всех удивил. Жестом подозвал Юхани, попросил встать рядом и сказал, что тот будет читать проповедь вместо него. В церкви зашумели, особенно на передних скамейках, – разве можно так поступать? Может ли дилетант проповедовать в церкви? Не нарушает ли это закон о молитвенных собраниях?

Но прост предвидел возражения, потому протянул Юхани несколько исписанных листов и спокойно объяснил, что проповедь написал он сам. Юхани взял листы и внимательно посмотрел на прихожан, словно ожидая продолжения протестов. Но все молчали. Он облизнул пересохшие губы, и церковь заполнилась мелодичными звуками правильной финской речи.

– Нигде и никогда в мире никто не любил христиан. Наоборот, где бы ни появлялись истинные христиане, их гнали и преследовали.

Во время всей проповеди он ни разу не заглянул в полученные листки, но прост стоял рядом, как будто вкладывал слова в рот Юхани Рааттамаа, как будто сам говорил голосом другого человека. Слова, как на крыльях, взлетали к потолку и парили под потолком храма, над головами прихожан – женщин и мужчин, старых и малых, пробужденных и упорствующих, то и дело поглаживающих фляжку с перегонным в кармане.

– И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами...^[22]

Это из Библии. И я вдруг поверил, что этому кошмарному лету и вправду пришел конец. Что дьявол покинул наши края, что мы, сторонники и ученики проста, сумели его изгнать.

Но почему не пришла в церковь моя любимая? На женской стороне сидели, как всегда, служанки и работницы, но Марии среди них не было. Я на выходе пытался спросить, не видели ли они Марию, но они смотрели на меня так, будто не понимали вопроса. Или будто я сказал что-то непристойное.

Я спрашивал, поняли ли они сегодняшнюю проповедь, тронули ли их сердца слова Юхани. Но тогда они вообще замолкали и спешили

уйти, перешептываясь и оглядываясь, словно боялись, что я за ними погонюсь.

Представил, что они куропатки. Белые зимние куропатки с их панически пронзительным хохотом. И как говорить с куропатками? Каким голосом, в каком тоне?

Нет... мне еще многому предстоит научиться.

Весь конец лета Нильс Густаф писал портрет проста. Тот даже стал уделять намного меньше времени своим обычным занятиям, поток посетителей заметно оскудел. Начиная писать, откладывал перо и направлялся на завод, где художник снимал флигель. И позировал довольно долго, час или два. Я как-то видел и поразился: какими изящными, выверенными движениями раскладывает художник свои приспособления! И как он работает! Его массивное тело двигается легко и непринужденно, как в танце. Кисть в огромных руках кажется соломинкой, даже непонятно, как он этими лапищами умудряется выводить тончайшие линии именно того тона и оттенка, который сразу представляется единственно уместным. Палитра лежит на столе, но иногда, смешивая краски и подбирая нужный нюанс, он подносит ее к окну, и я вижу: солнечный свет капает на палитру, как растопленное масло. Каждый раз, приступая к работе, он раскуривает сигару, но потом увлекается, сигара лежит на фарфоровом блюде, и от нее тянется тонкая серо-голубая струйка дыма. Странно, но дымок этот тоже приносит что-то в атмосферу начатой картины, будто оживляет застывшее пространство своими волосатыми, постоянно меняющимися петлями. Впрочем, и прост то и дело достает свою трубку...

Прост внимательно изучал руки художника. Ухоженный, блестящий, заканчивающийся перламутровым полумесяцем ноготь на большом пальце. Наверное, представлял, как он впивается в женскую шею, как жертва, задыхаясь, старается вывернуться. Представлял и думал: неужели такое возможно? Эти руки... Сейчас они по приказу глаз улавливают тончайшую вибрацию света, а завтра будут

насиловать и душить. Могут ли такие крайности сочетаться в одном человеке?

Дверь тихо открылась, и служанка внесла серебряный поднос, на котором лежали небольшие, очень красивые пирожные.

– Пончики, – улыбнулся художник. – Заказал на кухне. Рецепт, между прочим, повара Густава Васы^[23].

Он протянул служанке медную монетку, и та, смущаясь, прошептала «спасибо» по-фински. Внешность у нее была для этих мест необычная: карие глаза, толстые черные косы. Скорее всего, ее предки были валлоны, приехавшие в Швецию, когда начала развиваться металлургия. Художник перехватил ее руку, притянул к себе и поцеловал в шею. Прост заметил, что ей это не понравилось, удивленно поднял брови. Девушка покраснела и поспешила исчезнуть.

– А теперь пончики! – весело воскликнул Нильс Густаф. – Пока горячие.

– Корица, – констатировал прост, попробовав. – Но и... коньяк?

– Несколько капель. Для вкуса.

Прост молча отложил пончик.

– Какая красавица! – засмеялся Нильс Густаф. – Девушка эта, служанка, – какая красавица. Хочу написать ее портрет, но она пока упирается.

– Думаете, удастся ее убедить?

– У меня есть свои способы уговаривать женщин.

– А если не уговорите?

– Уговорю.

– Не стоит недооценивать женщин, – прост поднял указательный палец, – женщины – сильные существа. Некоторые утверждают, что женщины выше мужчин.

– И вы в это верите?

– В каком-то смысле – да.

– Возможно, прост имеет в виду женскую хитрость? Умение заманивать в ловушки, предлагать запретные плоды?

– Я имею в виду, что если бы не моя мать, вряд ли бы вам удалось написать мой портрет. Уж не говоря о вашей.

Нильс Густаф поморщился.

– Да... но это же само собой разумеется. Женщины призваны нас рожать.

– Дом моего детства в Йокквике держался на матери. Если бы не ее самопожертвование, мы бы с Петрусом не выжили. Отец все время уезжал – у него были какие-то дела.

– У него были другие женщины?

– Почему вы так решили?

– Думаю, даже священнику понятно: мужчинам нужны женщины.

– А если их нет?

– В саду всегда найдется несколько роз.

– А если женщина отказывается? Сопротивляется?

– Вы не знаете женщин... Притворство. То, что кажется вам сопротивлением, когда доходит до дела, оборачивается желанием, да таким, какое мужчинам и не снилось.

– И все же... Если женщина сопротивляется... вы считаете, мужчине дозволено использовать свое преимущество в силе?

Художник выпустил облако сигарного дыма и некоторое время следил, как оно расплывается и образует причудливые, похожие на привидения, узоры.

– Господин прост любил свою мать, – сказал он после паузы. – Как бы мне хотелось сказать то же самое...

В комнате расплзлось еще одно облако дыма.

– Я был нежеланным ребенком. Кстати, до сих пор не знаю, кто мой отец. Воспитывал меня ее брат, забрал в свою семью. Лейтенант кавалерии. Из таких, знаете, что даже ужинают в мундире и с саблей на боку. И из меня хотел сделать военного. Хотел, так сказать, сотворить человека из сестриноного выблядка. Теперь, спустя много лет, я его понимаю лучше, но тогда... тогда было тяжело.

– Он жестоко с вами обращался?

– Я помню только коробочку с красками. Ничего дороже у меня не было. Как только он это понял, стал отбирать. За малейшую провинность. Что-то не то сделал – не смей рисовать. И так продолжалось, пока я не начал рисовать лошадей. Тут он смилостивился.

– Лошадей?

– Шаг, рысь, галоп... прыжки через препятствия, кавалерийские атаки, охотничьи лошади, лошади на параде. Четверка цугом, где я придал кучеру черты моего воспитателя. Рисуй, сказал он. Представьте: он любил лошадей куда больше, чем людей.

- А его жена? Ваша приемная мать?
- У нее хватало забот с собственными детьми. Короче, все мои детские годы я чувствовал себя лишним. Вторгся в чужую семью.
- И она совсем не выказывала материнских чувств?
- Не сказал бы... Но одевали меня хорошо – я же все-таки считался представителем семьи лейтенанта кавалерии. И знаете, иногда мне казалось, что она меня боится. Его жена.
- Боится? Вы же были ребенком?
- Крупным ребенком. Очень крупным для своего возраста. Сильным. Она не разрешала своим детям со мной играть – опасалась, что я им наврежу.
- А у вас появлялись такие мысли?
- Нет... я держался особняком. Но в школе... там я впервые услышал слова «выблядок», «бастард». И мне очень пригодилась моя сила.
- Научились драться?
- Еще как! Я никому не давал спуска. Даже старшеклассникам, даже когда их было двое-трое. Короче, все школьные годы я провел в драках.
- А когда подросли?
- Если необходимо – почему нет? А как поступает господин прост? Подставляет левую щеку?
- Прост взял трубку и сделал вид, что протирает белый чубук.
- Не всегда, – признался он. – Но я делаю все, чтобы избежать рукоприкладства. Не хочу быть похожим на моего отца.
- Понимаю... Но мне кажется, все же лучше иметь такого отца, чем никакого.
- А мать... ваша настоящая мать никогда не рассказывала, кем он был, ваш отец?
- Она иногда навещала меня... Всегда шикарно одета, слой пудры в палец толщиной. Когда уходила, я пытался нарисовать ее по памяти.
- Ваш первый портрет?
- Она никогда до меня не дотрагивалась, – продолжил Нильс Густаф, не обратив внимания на вопрос. – Приемный отец утверждал, что из-за болезни.
- Что-то серьезное?

– Он говорил – да. Не знаю... может, выдумала причину, чтобы держаться от меня подальше.

– И никогда не рассказывала про отца? – повторил вопрос прост.

Нильс Густаф ответил недоброй ухмылкой.

– Хорошая идея, господин прост. Эта стерва еще жива, знаете ли. Почему бы не найти ее, взять за горло и сжимать, пока не признается? Как вам такое предложение?

Прост не ответил, а художник неожиданно всплеснул руками:

– Вот-вот... умоляю, сохраните это выражение... именно это выражение, умоляю.

В один из сеансов Нильс Густаф попросил извинения и вышел в отхожее место. Прост несколько мгновений боролся с искушением, потом бесшумно встал и подошел к деревянному дорожному сундуку в углу – заперт. Лихорадочно начал искать ключ – и нашел в кармане висящего рядом жилета. Открыл и замер от удивления. Сундук был перегороден на самое меньшее пятнадцать отсеков, и в каждом стояли запечатанные бутылочки с какими-то жидкостями и порошками. На многих были этикетки с ухмыляющимся черепом и скрещенными костями. Градуированные мензурки и пипетки, пробирки, жестяные коробочки и аптечные весы – оборудование целой химической лаборатории.

На столе – ворох писем, заказы на краски и растворители, заказы на портреты. Приглашение на зимнюю выставку в Стокгольме – значит, имеет успех в столичных салонах. В стаканчике – карандаши. Прост взял один и сунул в карман сюртука.

– Нашли что-то интересное?

Прост резко обернулся. В двери, занимая почти весь проем, громоздилась огромная фигура Нильса Густафа. Он подошел и встал рядом. Прост сделал вид, что перебирает прислоненные к столу полотна.

– Горные мотивы?

– Да... я какое-то время провел в Торне. Еще до Пайалы. Вам нравится?

– Наверное, исходили немало. Такие виды не сразу найдешь.

– Взял палатку. Вечернее освещение в горах... божественная красота.

Прост согласно кивнул.

Художник подошел к стене и повернул штатив, на котором сохла картина на подрамнике:

– А что скажете об этом?

– Это... это потрясающе!

Прост онемел от восхищения. Нильс Густаф переставил мольберт поближе к окну.

– Еще не закончено... Вы узнали, господин прост?

Девушка на портрете была замечательно красива. Распущенные золотистые волосы, рубиново-красное платье на легком, почти невесомом теле – кажется, что она парит в воздухе.

– Мария, – пробормотал прост.

– Знаете, сколько времени ушло, чтобы уговорить ее снять косынку и распустить волосы? Но все же уговорил.

– Не думаю, что этот портрет следует показывать людям.

– В Стокгольме – почему бы нет?

– А следует ли?

– Девушка невероятно красива, господин прост. Красивее всех, кого я встречал. Портрет передает в лучшем случае десятую часть ее красоты.

Прост долго смотрел на портрет, словно хотел запомнить его в мельчайших деталях, потом посмотрел на Нильса Густафа:

– Вы не сторонник Пробуждения?

– В том смысле, который вкладывает господин прост? Нет, не сторонник.

– А хотите стать им? Могу рассказать, какое утешение я сам однажды получил в момент духовной катастрофы.

– Спасибо, не надо, – усмехнулся Нильс Густаф и начал смешивать краски. Но через какое-то мгновение поднял голову. – Впрочем, почему бы нет? Вы будете рассказывать, а я работать. Может, это как раз то, что нужно... если, конечно, мне удастся передать ваше душевное состояние.

Прост ненадолго закрыл глаза.

– Ту женщину тоже звали Мария, – сказал он.

И солгал. Женщину, которая жила в его душе, звали Милла Клементсдоттер. Но если художник узнает ее настоящее имя, начнет, чего доброго, разыскивать. Пытаться уговорить ее распустить волосы.

– Это случилось зимой, сразу после пасторского экзамена. Я предпринял поход по селам и январским вечером остановился в деревне Оселе. День был нелегким, и я очень устал. Все вокруг было словно придавлено тяжелой, бесконечной полярной ночью – и на душе у меня было не веселее.

– В такие минуты ищешь женского общества... – улыбнулся художник.

– Да-да... в такие минуты под звездным небом и нисходит на страдающую душу Божья благодать.

Вечера стали заметно холоднее. Животные уже готовились к долгой полярной зиме, люди тоже спешили собрать все с огородов и пополнить запасы на зиму. Кто-то лез осматривать крышу, кто-то конопатил щели в рассохшихся за лето срубах. Срочно выгребали ямы в отхожих местах, иначе за зиму испражнения вырастут в торчащую из очка обледеневшую башню.

Еще только кончался август, а прост уже с огорчением обнаружил, что кое-какие из его картофельных кустов повреждены ночными заморозками – кончики листьев потемнели и съезжились. Сидя на корточках, маленькой лопаткой он начал копать землю у корней, пока в коричневой глине не блеснула живая желтизна. Прост вытащил твердый клубень и продолжил раскопки. Всего обнаружилось шесть больших клубней и два крошечных, величиной с горошину. Он выкопал их все и с любопытством поворачивал так и сяк. Колупнул ногтем тонкую кожуру – под ней белая мякоть. Вообще-то назвать то, что у картофеля под кожурой, мякотью, – сильное преувеличение. Прост откусил – наверное, ждал чего-то похожего на яблоко, ведь внешним видом клубни и вправду напоминали упавшие с дерева и немного подгнившие яблоки.

– Водянистый, – объявил он. – И никакого вкуса. Как вода.

В горсти отнес урожай к колодцу и отмыл от прилипшей земли.

– Яна, иди сюда! – позвал он дочь.

Дочь, игравшая с собакой, бросила палочку и подошла. Чалмо, которая только что яростно отнимала эту палочку у девочки, тут же

разочарованно оставила ее на земле – потеряла интерес.

Прост отрезал ломтик, Яна начала было жевать, но тут же выплюнула в траву. Собака мгновенно подбежала, понюхала жвачку и беззлively отвернулась.

– Ты хотел меня разыграть?

– Нет-нет... это называется картофель, – поспешил он объяснить. – Мне прислал товарищ по университету.

Теперь, когда клубни стали чистыми, на них легко было разглядеть небольшие темные углубления. Такие же были и на тех, что прост посадил в начале лета. Из этих углублений выстрелили тугие фиолетовые стебельки.

– Наверное, придется отдать поросенку, – сказал прост.

Но не отдал. Отнес картофелины в кухню и долго рассматривал через сильную лупу. Осторожно разрезал и рассмотрел структуру. Показал мне – зернистая, влажно поблескивающая желтовато-белая поверхность немного напоминала репу. На плите стояла чугунная кастрюля с кипящей водой. Прост побросал туда картофелины. Ничего не произошло. Даже кожура не сморщилась. Зато по кухне пошел теплый, приятный запах, немного похожий на запах влажного хлеба.

Прост время от времени тыкал в картофелины острой палочкой. Консистенция должна стать другой, сказал он и тут же объяснил, что это такое – консистенция. И в самом деле – через несколько минут палочка легко проходила насквозь, хотя на вид клубни несколько не изменились. Он начал вылавливать их шумовкой. Руки немного дрожали от нетерпения.

В тот момент, когда все дымящиеся клубни были выложены на блюдо, в кухню вошла Брита Кайса. Посмотрела и сморщила нос:

– Это что, репа такая?

– Нет, не репа. Наш новый *solanum*.

– Снял урожай? – Она улыбнулась.

– Только первый куст. Собака есть не стала. Но то был сырой клубень, а я их сварил.

Брита Кайса осторожно разрезала клубень, отщипнула маленький кусочек и положила в рот. Прост, не сводя с нее глаз, сделал то же самое.

– Неплохо... только надо бы посолить. – Щеки Бриты Кайсы слегка порозовели, она взяла солонку и присолила разрезанный

клубень.

Прост достал нож, дотянулся до масленки, соскоблил немного масла и положил на свой ломтик. Когда масло растаяло, он тоже бросил сверху несколько крупинок грубой каменной соли и отправил в рот.

Лицо его внезапно изменилось. Он даже глаза закрыл от наслаждения.

– Масло надо экономить, – строго сказала жена.

– Надо. Только сначала попробуй. Чуть-чуть масла и соль.

Брита Кайса неохотно повторила всю процедуру. Положила в рот, беспокойно посмотрела на мужа и сказала вот что:

– Ой.

Прост решил, что жена обожгла язык. Но нет – она смотрела с явным недоверием, словно сомневалась, что на свете может существовать что-то настолько вкусное.

– Картофель? – с сомнением спросила она.

– Ну да. Тот, что я сажал, помнишь? Шесть клубней с одного кустика.

– Божественно вкусно...

– Еще бы.

– Он настолько вкусный, что... наверное, ядовитый.

– Скоро узнаем.

Прост разрезал еще одну картофелину. Они так и ели с одного блюда.

– Шесть штук, говоришь, с одного кустика?

– Да... там еще есть.

– Картофель... – еще раз повторила жена. – Вот этот... как его... соланум?

– Я уж хотел поросенку отдать.

– Спятил?

– Шучу. Я знал, его надо варить. И если есть с солью и с маслом...

– Можно и без масла.

– Представляешь? Из одного проросшего клубня получилось шесть! А если и остальные такие же? Надо рассказать прихожанам. На ближайшей же проповеди.

– Народ, думаю, предпочитает репу.

– И что? Почему не посоветовать?

– Ну да... как добавка, наверное, неплохо, – вслух подумала Брита Кайса.

– А какой вкус! – возбужденно воскликнул прост. – Свежесваренный картофель, только что с грядки! На всю жизнь запомню.

– Только бы не заболеть.

– И что? Помрем в блаженстве.

Брита Кайса засмеялась и махнула на мужа рукой.

– Говоришь, там еще есть?

– Я же сказал. И детям сварим.

– У меня в животе что-то урчит. Может, он, твой картофель... вроде мухомора? Сразу ничего не чувствуешь, а уже через час...

– Пойдем-ка полежим, Кайса. Это сытость, и больше ничего.

– Да, наверное... сохрани нас Бог!

– *Solanum... – повторил он. – Картофель... Кто бы мог подумать! Каких только чудес не бывает в Божьем мире!*

Как только они легли, живот у Бриты Кайсы успокоился, и она, которая никогда не отдыхала днем, через две минуты уже спала глубоким сном. Прост долго смотрел, как вздрагивают во сне ее тяжелые, с голубыми прожилками веки, а потом заснул и он. И снилось ему, что в каждом дворе стоят невысокие кустики, усыпанные скромными белыми цветами. Шестикратный урожай... как это возможно? Неужели призрак голода наконец отступит от торнедальской юдоли скорби?

Я стою у колодца и потрошу лососей, доставшихся просту по десятине. Потроха бросаю Чалмо, но не могу сказать, что она в восторге: сначала долго обнюхивает, потом неохотно глотает. Даже безразлично, сказал бы я, если бы Чалмо была человеком. Теперь, когда прост переехал в Пайалу, церковная десятина должна бы стать побольше. Там, в Каресуандо, крестьяне были так бедны, что десятая часть их доходов стремилась к нулю, здесь хутора побогаче, но и платили не так охотно. И я понимал, почему. Как только он начал свою отчаянную борьбу за духовное пробуждение, многие из пробужденных

отказались от перегонного. И кое-кто рассудил так: если нельзя обмыть налог по-человечески, то незачем его и платить.

На серебристой чешуе крупных рыбин виднелись большие уродливые раны – такая уж у нас осенняя рыбалка. По вечерам начинает темнеть, и лосося ловят на огонь. На носу лодки укрепляют металлический поддон и зажигают костерок. Лосося привлекает свет, вода буквально закипает от рыбы. А дальше в ход идет острога.

Чалмо насторожила уши и с лаем бросилась к калитке – встречать Нильса Густафа.

– Могу я видеть проста?

Я ополоснул руки от слизистой чешуи и пошел в дом. Прост писал что-то, но отложил бумаги и пошел за мной во двор. Нильс Густаф широко улыбнулся и раскинул руки, как для объятия.

– Господин прост, что вы может сказать про свет?

– Свет?

– Ну да... что может сказать про свет человек, посвятивший себя религии?

– Свет создан Господом.

Художник улыбнулся еще шире. Что-то он задумал.

– А вы можете подержать свет в руках? Поймать его?

– Не совсем понимаю. Господин художник имеет в виду портрет? Вы его закончили?

– Нет-нет... я имею в виду само понятие... вечный свет, так сказать. Lux aeterna. Пойдемте, я хочу вам кое-что показать.

Он повернулся и пошел по дороге. Нам с простым ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Широким жестом он обвел на ходу купол неба:

– Посмотрите... плывут облака. Откуда вы знаете, что они существуют? Вы можете их потрогать? Подойти поближе? Не можете. И все же принято считать – да, облака существуют. Вон же они, на небе.

– Испарения воды, – пожал плечами прост. – Пар.

– А радуга? Существует она в действительности? Или, скажем, полная луна. Как ты думаешь, Юсси, существует полная луна? Или радуга?

– Ну конечно, существует. И полная луна существует, и радуга.

– Но ты же не можешь их потрогать! Ты так уверен, что они существуют, потому что ты их видишь. А почему ты их видишь?

Я не знал, что на это ответить. Потому что у меня есть глаза?

– Свет! Всему причиной свет! Если бы луна не светила, мы бы и не знали про ее существование. Если бы нам сказали: вот, есть такая штука, полная луна, только ее не видно, – мы бы не поверили. А мы верим, потому что мы ее видим, потому что она, представьте себе, светится.

Мы подошли к церкви.

– Вот вам пример. – Нильс Густаф махнул рукой в сторону храма. – Как считает господин прост... существует эта церковь или нет?

Хорошо знакомый силуэт ясно вырисовывался на церковном холме.

– Несомненно... вот же она стоит.

– Вы так уверены, потому что видите ее своими глазами. А видите вы ее своими глазами, потому что она освещена, не правда ли? А ночью, если темно, можете вообще не заметить.

– Можно и так сказать.

– Вот именно... Я достаю блокнот, и через пару минут вы увидите вашу церковь на бумаге. Изображение, может, не совсем точное, но каждому понятно: это церковь в Кенгисе. А сейчас я попрошу господина проста внимательно посмотреть на эту церковь.

– И что?

– Стоит на месте? Вы ее видите?

– Конечно, вижу.

Нильс Густаф загадочно посмотрел на проста. Уж не пьян ли он? Странные какие-то вопросы. Мало ли что взбредет в голову, когда выпил.

Он медленно сунул руку за отворот накидки, достал тонкую картонную папку и раскрыл. Там лежал небольшой прямоугольник тонкого, даже тоньше оконного, стекла. Он осторожно вынул его и поднес к глазам учителя. Прост пожал плечами, надел очки и наклонился, вглядываясь.

– Это же наша церковь!

Кивок – с тем же загадочным выражением лица.

– Прекрасно нарисовано!

– Нет, не нарисовано. – Нильс Густаф предостерегающе поднял руку.

– Написано. Прошу прощения.

Мне тоже захотелось рассмотреть поближе.

Изображение было небольшим, меньше, чем ладонь художника, хотя ладонь-то как раз была огромной. Но даже на таком маленьком пространстве все детали были переданы с невероятной точностью. Оконные проемы, наклон фасада, деревянный крест на крыше.

– Это не моя работа, – сказал Нильс Густаф шепотом, будто делился с нами важным секретом.

– Нет? А чья?

– В том-то и дело, что ничья. Рука человека не касалась этого рисунка... вернее, касалась, но далеко не привычным способом. Может прост объяснить его происхождение?

Прост перевернул пластинку – там ничего не было.

– Росписи нет.

– Конечно, нет, – засмеялся художник. – Свет способен на многое, но расписываться он не умеет.

– Свет?

– То, что господин прост держит в руках, – торжественно произнес Нильс Густаф, – не что иное, как замороженный свет.

Прост осторожно поднес руку и поскреб стеклянную поверхность. Ничего не произошло, стекло оставалось таким же твердым и гладким. Ноготь не оставил ни малейшего следа.

– Волшебство?

– Можно сказать и так. Да, так и есть – волшебство. Позвольте пригласить вас следовать за мной.

Мы поднялись по холму. Врата были открыты. Вошли – оказывается, в церкви, у самой стены, в самом темном месте художник соорудил нечто вроде палатки из темных одеял.

Он нырнул в палатку. Оттуда слышалось звяканье, запахло чем-то едким.

– Не мог бы Юсси помочь мне со штативом?

Я принял у него довольно тяжелый резной треножник, а он опять нырнул в палатку и тут же появился с коричневым кожаным чемоданчиком с латунными застежками. Расстегнул ремешки и с величайшей осторожностью выпростал черную коробку.

– Не мог бы господин прост взять с собой стул? Желательно с высокой спинкой.

Мы опять вышли на воздух. Нильс Густаф уверенно двинулся по холму, я последовал за ним. Шагов через пятьдесят он остановился, взял у меня треногу, или, как он ее называл, «штатив», и долго прилаживал, выдвигая и задвигая ножки и прикручивая их странными, в виде бабочек, винтами, которые почему-то называл «барашками». А сверху навинтил загадочную черную коробку.

Появился и прост – он волок за собой тяжелый деревянный стул из ризницы. Я поспешил ему помочь. Пока я бегал, художник очертил на траве круг, куда мы должны были поставить этот стул.

– Теперь я попрошу господина проста сесть, откинуть голову на спинку и сидеть совершенно неподвижно. Ни малейшего движения.

– Сидеть – и все? – удивился прост.

– Да. Но пока расслабьтесь, мне нужно тут кое-что наладить.

Нильс Густаф развернул черное покрывало, подошел к штативу и накрылся с головой. Единственное, что торчало из-под черной ткани, – небольшой стеклянный глазок.

Вдруг из-под покрывала послышалось «о дьявол», высунулась рука, нащупала глазок, закрыла его круглой крышечкой и опять скрылась.

Через несколько секунд опять появилась рука, на этот раз левая, и поднялась высоко в воздух.

– Я дам знак, – послышался приглушенный тканью голос. – Махну рукой и буду держать ее поднятой. И, пока не опущу, вы должны сидеть совершенно неподвижно. Вы не двигаетесь, господин прост?

– Сидеть – и все?

– Да. Сидеть неподвижно и смотреть прямо на меня. Постарайтесь не моргать. Запомнили? Пока не опущу руку.

Он правой рукой снял колпачок со стеклянного глаза и слегка помахивал им в воздухе, будто отсчитывал такт в танце.

День выдался теплый, солнце грело как летом. Где-то призывно замычала корова. Мимо пролетела птица, тень от ее крыльев упала на лицо учителя, но он даже не шелохнулся.

Наконец Нильс Густаф на ощупь надел на глазок колпачок, левая рука опустилась, и художник, пыхтя, сбросил покрывало – не дышал

он, что ли, все это время?

Ничего не объясняя, он отвинтил черный ящик от штатива и помчался в церковь.

– Штатив нести? – крикнул я вслед, но ответа не последовало.

Я взвалил на плечи штатив – на траве остались три довольно глубокие вмятины. Оказывается, на ножки были надеты металлические заостренные колпачки, как у копий. Не стал складывать – еще сломаешь что-нибудь. Отнес, как был, с растопыренными ножками, вернулся и помог просту волочь тяжеленный стул. Ни он, ни я не понимали, в чем дело. В тесной палатке что-то происходило, стенки то и дело шевелились, обозначая контуры огромного тела Нильса Густафа. Звякали какие-то стекла, железки, то и дело лилась какая-то жидкость. Потом запахло дымом – очевидно, он что-то разогревал.

Прошло немало времени, не меньше часа, и снаружи показались подошвы сапог художника. Он неуклюже, задом, вылез из палатки. Я успел заглянуть – там были расставлены какие-то чашки и ванночки, в них лежали длиннющие пинцеты. В руках художника была стеклянная пластинка, еще влажная, в углу ее нарастала серебристая капля, потом оторвалась и упала на каменный пол. Стекло так блестело, что я поначалу ничего не увидел. Только когда посмотрел под другим углом, понял, что на пластинке есть какой-то узор или рисунок.

Нильс Густаф вышел на свет, кивком поманил нас за собой и поднял пластинку.

И тогда мы увидели. Это была наша церковь, как и на первом рисунке, который он показывал. Но перед церковью сидел на стуле человек в сюртуке и с длинными, давно не стриженными, зачесанными назад волосами. Четко очерченные губы, большой бугристый нос. И глаза. Они смотрели на меня не мигая.

– Вы сидите перед вашей церковью, прост. Запечатлено навеки.

Глаза проста горели. Он дрожал от возбуждения.

– Я читал об этом! – воскликнул он. – Еще когда был в Упсале. Это же камера обскура, да?

– Лучше! Еще лучше! Совершенно новое открытие. Мой друг заказал этот аппарат во Франции. Эта техника называется дагерротипия.

– Машина, которая запечатлевает свет...

– Возьмите, господин прост. Это первый дагерротип в Пайале. Не только в Пайале – на всем севере. Берегите его. Сохраните навсегда.

– Непременно, – пробормотал прост, принимая пластинку. – Спасибо, обязательно буду хранить. А изображение не исчезнет со временем?

– Утверждают, что хранится очень долго.

– Дольше, чем живет человек?

– Да... то есть вполне возможно. Кто сейчас может сказать? Открытие недавнее, и свидетелей долгой сохранности пока нет и быть не может. Но не странно ли? Если это все же так... представьте: нас с вами давно нет на свете, а кто-то берет этот дагерротип и смотрит на вас – живого! Похоже на ваши гербарии.

Прост не мог оторвать глаз от изображения.

– А если это искусство распространится? Если любой человек сможет создавать изображения чего и кого угодно, как же тогда вы?

– Что вы имеете в виду?

– Нужны ли будут портретисты?

Нильс Густаф задумался – видно, такая мысль ему в голову не приходила.

– Ну, полагаю, это еще не скоро...

– Может, не скоро, а может, и скоро. Все обзаведутся такими аппаратами, будут изготавливать собственные картинки и показывать друг другу. И что же – живописи конец?

– Знаете, господин прост... возможно, вы и правы. Скорее всего, правы. Такое время придет. Новое время.

– И что же это будет за время?

– Света. Это будет время света.

Прост кивнул. Видно было, что он очень взволнован.

– А вы можете показать мне сам процесс? Пока не убрали оборудование... Вроде бы пахнет свинцом?

– Нет, господин прост. Не свинцом. Возможно, вы, с вашим тонким обонянием, почувствовали пары азотнокислого серебра, пока это единственный материал, обладающий свойством темнеть на свету. Пойдемте, я вам покажу.

Я вышел на улицу. Во мне росла тревога. Даже не тревога – предчувствие опасности.

Вечный свет...Lux aeterna... Люцифер^[24].

Вот, значит, что нас ждет...

И я понял – настало время. Это слово давно звучало в моей душе. Matkamies. Странник. Пора уходить. Пора идти на север.

У обочины летает пух кипрея, белые пушинки, они прилипают к одежде и похожи на снег. Птицы собираются в большие стаи – готовятся к отлету. Разъяренные приближающейся смертью осы только и ждут, чтобы впиться в живое мясо. По ночам воздушный океан открыт Вселенной, и беззащитную землю сжимает в тисках космический холод. Осень... как спуск с горы. Поначалу пологий, потом все круче и круче, а потом обрыв – и ты летишь в белом безмолвии и знать не знаешь, когда и чем окончится этот полет. Во всем живом ощущается эта спешка, эта тяга прочь.

Я достал свою торбу с запасом хлеба. Никому и ничего не говорил, но в последний вечер прост подошел, положил мне руку на плечо и долго молчал, будто хотел дать совет, но так и не нашел нужных слов. Он, несомненно, догадывался, что со мной что-то происходит. Но мы никогда об этом не говорили. И этой же ночью я вышел – вроде как опорожнить пузырь, – и больше они меня не видели.

Прост устроился на крыльце и раскурил свою утреннюю трубку. Как только поплыли первые облачка дыма, рассеялась мошка – проклятие северного августа. Дверь открылась, из дома вышла Брита Кайса и тихо присела рядом. Она, как и прост, с годами утратила свою девичью гибкость. Когда они были женихом и невестой, все на нее оборачивались: она двигалась легко и изящно, как ласка. Теперь уже нет, но быстрота соображения никуда не делась.

Все обязательные утренние дела сделаны, можно позволить себе маленький перерыв.

– Юсси ночью исчез.

Пастор промышчал что-то нечленораздельное.

– Он тебе ничего не сказал?

– Я и так понял. Время пришло. Он был сам не свой.

– Что его так мучает?

- Он вернется.
- Думаешь?
- Всегда возвращается.

Прост посмотрел на низкое, с редкими просветами августовское небо и раскурил погасшую трубку.

- Годы проходят... – тихо произнес он.
- Как твой живот?
- Лучше.
- Не болит?
- Нет-нет, боль прошла. А ты?

Она покрутила плечами и улыбнулась.

– Пока ничего. Но суставы, знаешь... Годы проходят и уже вроде забыты, а они, годы-то, никуда не делись. Лежат в суставах, как песок... Скажи мне, почему Господь создал для людей такие непрочные суставы? Прочитал бы проповедь. Про суставы.

– В Писании не так уж много про суставы.

– Вот это удивительно... Прокаженные, парализованные, безногие, слепые-глухие – сколько хочешь. И ни слова про старушек. А они, бедные, скрипят, как несмазанные телеги, на все село слышать. Может, забыл про них Господь? Или апостолы маху дали?

– Может, Брита Кайса сама прочитает проповедь? – предложил прост.

– Женщинам в церкви положено молчать.

– Ну, это не я установил такой порядок.

– Но заметь: все проповедники – мужики. Пекка, Юхани, Эрки Анти, Пиети... все до одного. Все мужики. А ты-то сам как считаешь? Ты начал свое движение – Пробуждение, обновление... а женщин что, все это не касается? Если ты не дашь женщинам возможность проповедовать, так все и останется.

Прост даже не улыбнулся.

– Беда в том, – сказал он, подумав, – беда в том, что почти ни у кого из женщин нет нужного образования.

– Так дайте им образование! Дайте им возможность поступать в семинарии, в университеты – научатся думать не хуже мужчин.

– А голос? Еще одна заковыка. Женский голос по своей природе слабее. В храме его почти не слышно.

– «По природе...» Скажешь тоже. Я могу знаешь как рывкнуть! Захочу, чтобы услышали, – услышат.

– Возможно... Но такое время настанет не скоро.

– А ты не забыл случайно? С каких слов все началось? Духовное обновление, пробуждение... Молодая женщина в Оселе, вот кто их произнес. Оказалось, она глубже понимает порядок спасения, чем все церковники и профессора, которых тебе довелось слышать. Простая, необразованная саамская девушка – вот кто зажег спасительный факел.

– Я никогда не забуду ее. Мария...

– Милла. Ее звали Милла. Милла Клементсдоттер.

– Да... крестили ее под этим именем.

– И что ты думаешь? Разве не получился бы из Миллы Клементсдоттер замечательный проповедник?

– Наверняка. Конечно, получился бы. Тут ты права.

– А наши с тобой дочери? Нора? Или София?

– Ты предлагаешь пустить их на кафедру?

– Я предлагаю научить их говорить. Научить риторике. Ты же учишь других. Учишь Юсси, к примеру.

– Юсси – другое дело...

– Почему? Потому что ты нашел его в канаве?

– Нет... Потому что он напоминает Леви.

Как он мог забыть кудрявые шелковые волосы, веселые глазенки... постоянно вспоминал, как Леви кис от смеха, когда он носом буравил его живот. Пожалуй, из всех его умерших детей он тосковал по Леви больше других.

Брита Кайса начала яростно тереть шею большим пальцем, пыталась оживить затекшие мышцы.

– А что там происходит в Каутокейно? – спросила она. – Я слышала, саамов, которые якобы мешали службе, отправили в каталажку.

– Да, но почти всех уже отпустили. Скоро все успокоится. Хочу надеяться, во всяком случае.

– Прост, похоже, сомневается?

– Исправник никак не может найти Эллен Скум. Ей тоже присудили тюрьму, но она ушла в горы, у нее там родственники. Мало того – на саамов взвалили все судебные издержки, а это довольно большие деньги. Придется продавать оленей.

– А на что им тогда жить?

– В том-то и дело... Оленеводы возбуждены и разочарованы. Они уверены, что сражаются за правое дело.

– И продолжают срывать службы?

– Я слышал, Стокфлет махнул рукой и уехал. Нового зовут Фредрик Вослеф. Такой же ремесленник от служения. Холодный сапожник.

Брита Кайса взяла мужа за руку. Из дома послышались крики – девочки из-за чего-то поссорились.

– Мне не по себе... – сказала она.

– Мне тоже.

– Все время кажется... будто злые силы пришли в движение. – Она перешла на шепот: – Боюсь, что-то задумали.

– Против нас?

– Против саамов. Против Пробуждения. Против всего, что для нас свято.

Прост посмотрел на жену долгим, задумчивым взглядом. Годы прорезали глубокие складки в углах рта, кожа вокруг глаз потеряла цвет и уже начала обвисать, но внутренний свет... Если он сам быстро загорался и частенько так же быстро остывал, Брита Кайса напоминала смоляной пень, который может тлеть очень долго, спасая жизнь промерзших, голодных путников.

– Надо туда ехать, – решил прост. – В Каутокейно. Как только выдастся свободное время, поеду. Но сначала надо найти убийцу. Его надо остановить... Похоже, он вошел во вкус и будет продолжать. Риск велик.

– До поможет нам Господь...

Шум в доме продолжался. Брита Кайса поднялась, одернула юбку и пошла в дом. Не успела она открыть дверь, как крики мгновенно стихли.

III

*Кистью волшебной,
Ловкостью рук
Денег немало
Скопил ты, мой друг...*

*Выпьем же, друг,
За искусство! Вперед!
Только искусство
Тебя не спасет...*

Лил холодный осенний дождь, временами его сменял колючий, быстро тающий снег. Я прилег в углу, а Чалмо устроилась рядом, прижавшись теплой мохнатой спиной к бедру. Я пришел ночью, все еще спали. Прокрался в дом и лег на свое обычное место.

Открыл глаза. Рядом стоял прост и смотрел на меня долгим, немигающим, как на дагерротипе, взглядом.

– *Siekitäälä*, – сказал он наконец. – *Вернулся, Юсси.*

Ни одного вопроса – где был, что делал. Но, похоже, обрадовался.

Мы сидели в тепле и покое – что может быть лучше, когда на улице льет как из ведра? Есть такие дни, предназначенные исключительно для домашней работы. Брита Кайса положила мне лишний половник каши, хоть я и не просил, – это ее способ показать, что и она довольна моим возвращением. И дочери рады, хоть и хихикают над появившимся у меня норвежским акцентом. Это правда: два дня поговоришь с норвежцами – и тут же начинаешь им подражать. Я отдал девочкам последний кусок вяленой трески, и они тут же замолчали, вгрызаясь в жесткое, пахнущее морем мясо. Прост ел мало. Он листал привезенные из Стокгольма старые газеты.

«Афтонбладет», – прочитал я заголовок на первой странице. Возможно, ищет тему для проповеди.

Внезапно дремавшая Чалмо вскочила и насторожилась. На крыльце послышались шаги, в дверь постучали. Нора пошла открыть и попятилась. На пороге кухни появился насквозь промокший парень. Вид у него был такой, будто он только что искупался в реке. Наверное, бежал под дождем. Я узнал его, только когда он снял надвинутую чуть не на нос шляпу, – Хейно. Рабочий с завода.

– Заходи, Хейно, погрейся, – спокойно сказал прост. – Поешь. Каша и немного масла.

– Прост должен прийти, – одышливо проговорил Хейно.

«Прост должен прийти...» Эти слова в последние недели приобрели пугающий смысл.

– Что за спешка?

– Лучше, если господин прост сам...

– Да говори же!

– Господин прост же знает его... Ну, художник, что снимает дом около завода. Заперся и никому не хочет открывать.

– Сейчас иду.

Хейно кивнул с облегчением. Он даже лицо не озаботился вытереть – щеки и лоб блестели от воды. Почему-то все время смотрел в окно, где ничего, кроме сплошной пелены дождя, видно не было. Прост отодвинул тарелку с недоеденной кашей и пошел за накидкой. А я сбегал за его сумкой и завернул ее на всякий случай в старое одеяло – от дождя.

Через несколько минут мы промокли до нитки. Моя кожаная куртка смазана жиром, но вода все равно просачивалась – наверное, через швы. Из-за то и дело принимающегося снега почти ничего не видно, как в густом тумане. Прост пытался добиться от парня, что же случилось. Но тот ничего толком рассказать не мог, только и повторял: заперся и никому не отпирает, – и все время ускорял шаг. Стекавшая с моих штанов вода постепенно проторила дорожку в башмаки, и на каждом шагу слышалось противное хлюпанье. Главное – не дать промокнуть сумке. Я прижимал ее к груди зябнувшими руками и старался наклоняться вперед, чтобы защитить от воды. Одновременно вспотел и замерз – отвратительно. Как в детстве в горах, когда мой так называемый папаша тащил санки с котой^[25], а я изо всех сил старался

не отстать – если б отстал, он бы и внимания не обратил. Чтобы избавиться от воспоминания, быстро стер с лица разведенный водой пот. Хейно каждую минуту беспокойно оглядывался – ему, наверное, казалось, что мы идем слишком медленно.

К счастью, идти было недалеко. Вскоре в пелене дождя пополам со снегом смутно замаячила усадьба заводчика, а потом мы увидели и флигель, который снимал художник. Подошли с наветренной стороны, где дождь не так бил в лицо. Там нас уже дожидалась темноволосая девушка-служанка и тут же сделала книксен, что под проливным дождем выглядело довольно странно. Прост кивнул, встал на цыпочки, сложил руки лодочкой, чтобы защититься от света, и заглянул в окно.

– Посмотри и ты, Юсси.

Я поставил сумку на землю. Комната выглядела точно так, как мне запомнилось, когда я подглядывал за Марией. Большой мольберт, тут и там сушатся полотна. В углу – кровать Нильса Густафа. Видны только ноги, одна свесилась, будто тот, кто там лежит, собрался вставать. Спит, наверное. Я постучал в окно – спящий не шевельнулся.

Прост пошел к двери и подергал за ручку – заперто. Рассмотрел замок ручнойковки.

– У него есть привычка запирается?

Хейно пожал плечами.

– Запирает, когда уходит.

– А на ночь?

– Там стоит бутылка коньяка. Может, он просто пьян?

– Мы поначалу тоже так подумали. Но он не шевелится. Должен бы уже проспать.

– Разбудите патрона, – сказал прост после недолгого раздумья.

– Патрон в отъезде. В Матаренги поехал.

– Вот оно что...

– И ключ сидит в замке изнутри. Отсюда не откроешь.

Прост заглянул в скважину и убедился, что так и есть. Ключ вставлен в замок. Еще раз постучал кулаком и подождал немного.

– Если дверь нельзя открыть ключом, значит, надо ее ломать.

– Но...

– Возможно, Нильс Густаф заболел. Боюсь, что серьезно. Или его хватил удар.

Служанка принесла топор на коротком топорнице и протянула его Хейно. Тот по-прежнему колебался.

– Под мою ответственность, – успокоил его прост.

Хейно тщательно прицелился и всадил топор в дверную раму. Дверь – слишком дорогая штука, а косяки можно и самим сделать. После нескольких ударов обнажился ригель, и Хейно, действуя топором, как рычагом, задвинул его в замок.

Дверь открылась. Из помещения пахло скипидаром и мокрой шерстью.

– Оставайтесь у двери, – приказал прост. – Ты тоже, Юсси.

Он снял сапоги и тщательно очистил подошвы от глины и прилипшей пожухлой травы. Босиком подошел к кровати, внимательно глядя под ноги. И не только под ноги – я знал этот взгляд. Он осматривался так, будто искал какое-то редкое растение. Остановился у кровати, положил пальцы на запястье вцепившейся в одеяло руки и покачал головой.

– Благослови, Господь...

Я остолбенел. Хейно и служанка переглянулись.

– Неужели господин Нильс Густаф?.. – прошептала она дрожащими губами.

Прост прокашлялся в носовой платок, сложил и сунул в карман.

– Сожалею, – сказал он, стараясь, чтобы не дрожал голос. – Уже наступило околечение. Пошлите за Михельссоном и Браге. Хейно пусть останется.

Служанка повернулась и, прикрыв голову от дождя, побежала к усадьбе.

– Юсси, дай мне сумку. А ты, Хейно, встань у дверей и никого не впускай. Ни под каким видом.

Прост достал из сумки бумагу и карандаш, велел мне снять башмаки и жестами показал, как идти к кровати.

Нильс Густаф лежал на боку, лицом к стене. Выражение лица жуткое – я даже вздрогнул. Рот искривлен и приоткрыт, как в безмолвном отчаянном крике. На левой щеке, той, что обращена вниз, уже образовалось трупное пятно. Полностью одет, на ногах – кожаные тапки. Левая рука втиснута в рот, точно он собирался вырвать себе язык, правая вцепилась в одеяло. Все говорило, что умер он в страшных мучениях.

Прост расстегнул рубаху и положил руку на грудь, словно надеялся почувствовать удары бьющегося сердца. Посмотрел на шею, на плечи. Потянул за ногу. Покосился на Хейно и вместо финского заговорил по-саамски:

– Совершенно холодный. Трупное окоченение. Наверняка умер еще вчера.

Я не знал, что ответить. Молча кивнул.

Прост провел рукой по подошвам тапок.

– Когда начался дождь вчера вечером? Насколько я помню, около шести.

– Примерно так.

– Подошвы влажные, накидка тоже. Значит, он выходил из дома после шести. После того, как начался дождь.

– Вечерняя прогулка?

– Вряд ли... в таких тапочках долго не погуляешь. И накидка не застегнута, значит, выходил ненадолго. Пузырь облегчить. А когда вернулся...

– ...ему внезапно стало плохо, – продолжил я. – Он прилег на кровать...

– Продолжай, Юсси.

– Может, удар? Или с сердцем что-то?

Прост поскреб подбородок.

– А почему на столе два бокала?

– Два?

– Запиши, Юсси. Скорее всего, к нему кто-то приходил.

– Кто мог к нему прийти?

– Посмотри: мольберт не сложен. Возможно, кто-то хотел заказать портрет.

Он подошел к мольберту и повернул. На листе толстой бумаги – набросок углем. Угадываются контуры туловища.

– Судя по всему, мужчина, – сказал я.

Прост понюхал бокалы и начал разглядывать сохнувшие на полках холсты. Снимал по одному и разглядывал – долго и внимательно. Особенно один.

Я не мог удержаться и заглянул через плечо.

Портрет самого проста. Сидит в саду, с гербарием на коленях и каким-то стебельком в руке – очевидно, собирается его изучать. Свет

падает косо сзади, и вокруг головы – мерцающий ореол, почти нимб. Только потом я сообразил, что это никакой не ореол, а дымок из трубки, причем переданный с восхитительным мастерством. Это было поразительно. Но еще более поразительным показалось мне выражение лица – видно, что человека на портрете что-то гложет, во взгляде, в складке губ, в слегка приподнятых крыльях носа угадывается несомненная печаль. Нильс Густаф волшебным образом проник в душу проста. На портрете изображен не яростный проповедник Судного дня, а пожилой, умный и полный сомнений человек.

– Так и не закончил... – пробормотал прост почему-то смущенно.

– А о чем вы говорили, пока он работал? – спросил я.

Он задумался, словно вспоминая. Но мне показалось, он и так хорошо помнит.

– О женщинах, – сказал наконец. – О встреченных нами женщинах.

– Портрет замечательный.

– Он его не закончил, – повторил прост.

– Он и не мог его закончить. Никто не мог бы. Такие портреты надо писать всю жизнь. И, может, даже после жизни. Портрет, написанный всеми, кто знал учителя. Слой за слоем, не снимая старых, – всю жизнь.

– Избави Бог, – проворчал он. – С чего ты так красиво заговорил, Юсси?

– Но этот... если позволите сказать, учитель... эту работу Нильса Густафа вряд ли удастся превзойти.

– Его нельзя вешать в ризнице. Портрет не готов.

Я хотел возразить, но промолчал. Мы посмотрели и другие холсты. Портреты заводчика Сольберга, купца Форсстрёма, фогта Хакцеля. Эти-то выглядели вполне законченными, только покрыть лаком.

Прост оглянулся и знаком показал – записывай.

– Дверь заперта изнутри. И окна... окна тоже закрыты на шпингалеты изнутри.

– Есть ли какой-то погреб... люк, через который можно проникнуть в дом? – Он опять перешел на финский.

Хейно покачал головой.

– А на чердак?

– На чердак есть. Снаружи.

– Но на потолке никаких люков нет... значит, таким путем, с чердака, в дом проникнуть невозможно?

– Не-а. Невозможно.

В дальнем углу на штативе – дагерротип, укрытый тем же темным покрывалом. На полу – открытый сундук с химикалиями. Прост наклонился и нахмурился – все бутылочки и баночки вынуты из своих убежищ и валяются как попало. Он посмотрел поближе – сбоку еще один карман, слегка перекопился. Прост подергал туда-сюда – и тут же обнаружилось, что под ним тайник. Сунул руку – пусто.

– Как думает Юсси? Что там лежало?

Я пожал плечами:

– Откуда мне знать?

– Погляди: карман, который его прикрывает, вынимается очень легко, и латунь около замка сильно стерта. О чем это говорит? О том, что этот тайник открывали и закрывали несчетное количество раз. И дно чем-то испачкано. Даже, может, и не испачкано, но другого цвета.

Он нагнулся и сунул в тайник свой внушительный нос. Посмотрел на меня и знаком показал, чтобы я сделал то же самое.

– Металл? – спросил я неуверенно.

– Похоже, да. Мне тоже кажется, что металл. Более того – медь. А этот зеленоватый налет на дне, думаю, медная патина. Но почему только на дне, почему и не на боковых стенках тоже?

Он молча ждал ответа, но мне ничего не приходило в голову.

– Потому что на дне тайника лежали медные монеты, а сверху – ассигнации.

– Конечно! – в который раз восхитился я проникательностью учителя.

– В этом тайнике Нильс Густаф держал свои деньги... Думаю, немалые, иначе он не запирался бы на все замки.

– А куда же они делись? Деньги?

Прост пощупал карманы плаща художника.

– Уж точно не при нем.

– Может, перепрятал?

– Надеюсь, Юсси заметил, что тайник был закрыт очень небрежно. Потому что механизм замка поврежден. Взломан. Можно,

конечно, предположить, что Нильсу Густафу самому пришла в голову такая мысль, но мне трудно в это поверить. Зачем ему взламывать свой тайник?

– То есть учитель думает... Вор?

– Вор. И скорее всего, много хуже.

Прост сложил кончики пальцев, как будто читал проповедь.

– Думаю, деньги взял человек, убивший Нильса Густафа.

– Что? Как... как это – убивший?!

Мы говорили по-саамски, но я выкрикнул эти слова так, что Хейно вытаращил на меня глаза. Я тут же перешел на шепот:

– Но как же? Ведь дверь была закрыта. Изнутри... И ключ вставлен!

– Никаких сомнений.

– Ни один человек... если он человек, конечно... ни один человек не может уйти и запереть двери и окна изнутри!

– Продолжай, Юсси, продолжай...

– А если это не человек, значит... значит... кто-то другой.

Я изобразил пальцами саамский символ злого духа, чье имя не хотел произносить. Прост внимательно на меня посмотрел, отвернулся и уставился в окно. Зрачки сделались как острие карандаша.

А я изо всех сил старался скрыть дрожь. Veargalat^[26]. Вот, значит, с кем мы имеем дело...

Во двор вкатила коляска – прибыл исправник Браге. Он, как всегда, не вошел, а ввалился в дом. За ним, принаравливаясь к широким шагам, шел секретарь Михельссон. Исправник был явно раздражен, что его вытащили из дома в такую погоду, и когда он увидел проста, настроение у него не улучшилось.

– А вы-то здесь какого черта делаете? – Он даже не поздоровался.

В мокрых, с прилипшей глиной башмаках протиснулся к кровати. От него, как и в прошлый раз, несло перегаром. Красные глаза, сиплый голос – сразу видно, с тяжелого похмелья. Ткнул пальцем в труп.

– Ну и запахок здесь у вас... – Он отодвинул шпингалет, открыл окно и там и остался – видно, от холодного воздуха ему было легче. – За каким чертом нас позвали? – упрекнул он Хейно и уселся на скрипнувший стул. – Бедняга помер во сне. Бывает.

Хейно покосился на учителя.

– Не думаю, что Нильс Густаф умер естественной смертью, – осторожно сказал прост.

– Это еще почему?

– Есть признаки, которые...

– Двери и окна были заперты изнутри. Это так? Или я не расслышал?

– Нет, так оно и есть.

– Парню стало плохо во сне, вот и помер. Запишем – апоплексический удар.

Браге посмотрел на Михельссона. Тот несколько раз кивнул – ясное дело. Само собой. Апоплексический удар.

– А может, дрянь какая-нибудь. Отравы. Надо поскорее закопать несчастного, а то еще перезаразимся.

– А если это убийство?

– Когда вы сюда явились, дом был заперт?

– Да. Дом был заперт. Но вчера у Нильса Густафа были посетители.

Исправник подергал за ворот и задышал так, будто его вот-вот тоже хватит удар. С явным отвращением расстегнул плащ покойного.

– Никаких повреждений. Ни крови, ни следов борьбы. И как же его, по-вашему, убили? Уговорили лечь и помереть? Или кто-то умеет проходить сквозь стены? Прошел сквозь стену, укокошил здорового мужика, да так, что ни царапины не оставил. – И исправник покосился на Михельссона.

Тот, разумеется, захихикал – надо же! Прошел сквозь стену и укокошил.

Хейно с ожиданием глядел на проста – должен же он ответить на насмешку! Но тот и бровью не повел.

Тем временем Браге начал небрежно перекладывать рисунки и холсты, как вдруг замер.

– Гляньте-ка... а покойный и вправду знал толк в своем деле.

С картины смотрела вставшая на задние лапы огромная медведица, написанная с необычайным мастерством, – всем показалось, что в комнате раздался грозный рев. Зверь вот-вот выпрыгнет с картины, из раскрытой пасти капает слюна с кровью. Сабля исправника на картине ослепительно сверкает.

– Подумать только, какой замечательный мастер...

Исправник заметил на столе бутылку с коньяком, привычным движением поднял и сделал прямо из горла большой глоток. Прост дернулся, чтобы вырвать у него бутылку, но удержался. Браге довольно зажмурился и смачно отрыгнул.

– Повесим эту картину в управе, – распорядился он. – Или как, Михельссон?

– Само собой, господин исправник. Вы замечательно получились.

– А теперь всем покинуть дом. Вас это тоже касается, господин прост. Михельссон должен тщательно все обследовать, и мешать ему нельзя.

– Могу я взять бокалы? – чуть не заискивающе попросил учитель.

– Бокалы?

– Или господину исправнику угодно их осмотреть?

Браге пренебрежительно отмахнулся. Прост тщательно завернул оба бокала в носовой платок, не касаясь их пальцами, и сложил в свою сумку, следя, чтобы не перевернуть. Ни у кого не возникало сомнений, что исправник выгоняет всех на холод, чтобы спокойно, не торопясь, прикончить бутылку с гениальным французским изобретением.

– А что там пишет этот туземец? – грозно спросил Браге, уставившись на меня.

Я попытался спрятать листок с записями, но было поздно. Он выхватил лист у меня из рук, начал читать, и глаза его полезли на лоб.

– Что за чушь... сплошная абракадабра!

– Юсси учится писать, – спокойно пояснил прост.

– Писать он, может, и научится, а вот прочесть, что он накорябал... – Исправник скомкал бумажку и бросил в угол.

Я постарался изобразить услужливую мину, на полусогнутых ногах подошел и поднял бумажный шарик. А выходя, расправил и сунул в карман. Исправник Браге не умел читать по-саамски.

Не успели мы вернуться в усадьбу, как прост позвал меня к себе в кабинет. Закрыв дверь и с таинственным видом помахал: подойди к столу. Посадил на табуретку, такую низкую, что столешница оказалась

на уровне груди. Очень осторожно развернул сложенный вчетверо листок бумаги – внутри несколько стружек.

– Что это?

Я прекрасно знал, что это.

– Карандаш чинили. Мы это нашли в лесу, где пытались изнасиловать Юлину.

– Правильно, Юсси. Около старого пня. Там, где по нашей теории прятался насильник. А теперь взгляни сюда.

Он достал из кармана карандаш и начал его точить. На бумагу одна за другой упали несколько стружек.

– Очень похожи.

– Смотри внимательней. – Он протянул мне лупу на резной ручке.

Я задержал дыхание, чтобы не слухнуть крошечные деревянные чешуйки.

– Будто с того же карандаша.

– Мне тоже так кажется. С того же или с такого же. И... ты, надеюсь, помнишь, что в лавке у Хенрикссона таких карандашей не было.

– Да. То есть нет, конечно. Не было.

– Этот карандаш я взял у художника, когда он работал над портретом. Вышел на минутку, и я...

– То есть... вы его сперли, учитель?

– Скажем так, – прост улыбнулся, – не спер, а позаимствовал для изучения.

– И что это значит? Что на женщин нападал Нильс Густаф?

– Ну, вообще-то, я давно его подозревал. Помнишь следы сапожной мази на юбке Юлины? Его сапоги смазаны тем же гуталином. У него было достаточно разных ядов, чтобы отравить сто собак, а не только собачку Элиаса Иливайнио. Подозревал, но все же сомневался.

– Почему?

– Психология, Юсси. Психология Нильса Густафа. Он очень охотно говорил о женщинах. Обожал женщин, но и презирал. Говорил свысока. Он из тех, кто не может смириться с отказом... но он-то как раз был уверен, что отказа не последует. Говорил, что любое «нет» в конечном счете означает «да», только придает этому «да»

пикантности. В таком случае, зачем ему прятаться, а потом пытаться изнасиловать? Если все равно последует «да»?

– А кому еще могло прийти в голову рисовать в лесу? Может, это его другая сторона, может, в нем жил насильник и убийца, в этом Нильсе Густафе?

– Всякое бывает, Юсси. Может, и в нас тоже... никому не дано проникнуть в бездны души человеческой. Но если ты помнишь... я воспользовался случаем и внимательно осмотрел торс. Никаких шрамов, никаких полужаживших колющих ран. На Юлину напал не он. Доставай-ка, Юсси, свою абракадабру, как выразился исправник, и прочитай, что у художника было на столе.

– Два пустых бокала со следами коньяка. Бутылка коньяка. Полная на треть, не больше, остальное выпито. Тетрадь, блокнот с квитанциями.

– Стоп! Что за тетрадь?

– Записи. Заказы на портреты. Кто заказал, о каком гонораре договорились.

– Нет, Юсси. Долой банальности, это и так ясно. А ты обратил внимание, что один лист в конце вырван?

– Разве?

– Ты же помнишь эскиз на мольберте? Представь – к нему приходит человек. Хочу, мол, заказать портрет. Заказ занесен в тетрадь, подписан обоими, задаток выплачен, положен в тайник, на столе появляется коньяк – сделку полагается обмыть.

– Значит, на вырванной странице...

– Совершенно верно. Там было записано имя посетителя. И посетитель страницу эту вырвал. Перед тем как уйти.

– Зачем?

– Юсси! Неужели не ясно? Затем, что собирался убить художника.

– Но почему учитель не рассказал все исправнику?

– Я пытался, Юсси. Пытался. Но... Короче, на тетрадь и блокнот с квитанциями я хотел бы взглянуть повнимательнее.

– Зачем?

– Затем, что при письме на следующей странице остается след. Мы же надавливаем на карандаш, когда пишем... погоди, я тебе покажу.

Он взял два листа бумаги, положил один на другой, написал что-то, спрятал и протянул мне листок, который лежал снизу. Там ничего не было.

– Затушуй карандашом. Только осторожно, сильно не жми.

Я нашел лучше способ: соскреб с карандаша немножко графита и начал растирать пальцем. Палец почернел, а на бумаге начали проступать следы букв.

– Думаю, в тетрадке осталось имя убийцы.

– А дверь? Как вы объясните закрытую изнутри дверь?

Прост опустил голову и задумался. Нос мелко задрожал, в ноздрях заблестела влага. Он сразу стал похож на собаку, учуявшую запах дичи. Взгляд тревожный, брови сведены, из них торчат отдельные жесткие волоски, как у многих пожилых людей. Мне показалось, что учитель погрузился во мрак, в темный лес, где на каждом шагу подстерегают опасности, и мне захотелось спасти его, пока не поздно. Схватить за рукав, вытащить на свет, растолкать, дать понять, что он не в лесу, а в своем же рабочем кабинете.

И вообще... зря он это. Хорошим не кончится. Есть силы, которые лучше не тревожить.

Все это пронеслось у меня в голове, пока я разбирал еле заметные слова на сером от графита листе.

Теперь будем брать медведя.

Он повернулся ко мне. Лицо его было так весело и спокойно, что я застеснялся своего порыва.

А он поднял руку и погладил меня по голове. Как сына.

Я то и дело перечитываю одну книгу. Имя главного героя – Карл. Человек, живущий в грехе, пьяница и вор. Мать рыдает и пытается наставить его на путь истинный, брат дает ему деньги взаймы, он все пропивает и проигрывает в карты, а про то, чтобы отдать долг, и речь не заходит. Карл уже занес ногу над бездной, остался последний шаг. И вот происходит неизбежное. Его жестоко избивают за карточные долги, отбирают всю одежду и оставляют лежать голым и израненным

в канаве. Он не может встать и чувствует, как его сковывает холод, как жизнь неотвратимо просачивается сквозь раны.

И вдруг слышит голос. Он поднимает глаза и видит девочку-нищенку. Все, что у нее есть, – холщовый мешок с сеном. Она заботливо укрывает замерзающего Карла, становится на колени и молится за него, умоляет Господа залечить раны погибающего. И – о, чудо! – кровотечение прекращается. Подошедший полицейский помогает нищенке поднять несчастного, и они отвозят беднягу в странноприимный дом, где его укладывают в постель и начинают лечить.

Он постепенно выздоравливает и начинает всех расспрашивать – кто же была эта девочка, спасшая ему жизнь? Но никто ничего не знает. Мало того – никто ее не видел. Тогда он идет в город, чтобы попробовать ее найти. Спрашивает каждого встречного-поперечного, описывает, как она выглядит. Ее нигде нет, и он понимает, что ему никогда не удастся поблагодарить эту девочку, поделившуюся с ним последним, девочку, спасшую ему жизнь. В отчаянии падает он на землю, и тогда с ним происходит чудесное превращение: он наконец находит путь к спасению и всю свою долгую жизнь посвящает помощи нищим и обездоленным.

В книге подробно описаны все замечательные поступки Карла: как он стал честно трудиться, как заработал много денег, как открыл приют для брошенных детей, как благодаря его красноречию воспрянули духом и спаслись тысячи и тысячи, как сам президент приехал, чтобы позвать ему руку. А в конце утверждается, что все описанное в книге – чистейшая правда и что развернулись эти события в совершенно определенном месте, это место легко найти на карте: американский город Филадельфия.

Мне очень нравится эта книга. Некоторые отрывки я даже выучил наизусть. Я вижу происходящее так, будто все происходит у меня на глазах. Я вижу, как Карл лежит на своем смертном ложе, как его перед кончиной успевают простить брат, как светит в окно неяркое солнце... И последнее, что он успевает почувствовать в земной жизни, – запах еловой хвои и молока. Мне кажется, я тоже чувствую этот запах. Я сижу, закрыв глаза, потом открываю книгу на первой странице, где Карл ударил лопатой работника за то, что тот попытался помешать ему совершить кражу.

И самое главное: хотя Карлу так и не удалось найти спасшую его девочку-нищенку, он не переставал искать ее всю оставшуюся жизнь. Забыть ее он не смог.

Но самое удивительное в этой книге – ее можно читать наоборот, с конца. Тогда Карл вначале богобоязненный и справедливый, а потом – драчливый, вороватый, бессовестный. Зверь, одним словом. А можно перескакивать: в конец – в начало, в конец – в начало. Тогда Карл постоянно меняется. То хороший, то плохой. Вся жизнь между кожаными крышками переплета, а в жизни, мне кажется, так оно и есть. То хороший, то плохой, хотя... нет, в жизни не так. В жизни время идет в одном направлении, а в книге со временем можно делать все что хочешь. Даже жутковато.

На полке у проста книги стоят корешок к корешку, стоят и загадочно поблескивают старой позолотой, а между корешками полно самых разных времен. Время, которое пошло, чтобы книгу написать, время, которое в ней описано, время, которое тебе понадобилось, чтобы ее прочитать. А если полка длинная, книги вмещают куда больше времени, чем длится жизнь. И времени, и мыслей – думай хоть с утра до ночи, столько не надумаешь. А если сидеть всю жизнь и читать, читать... за едой читать, ночью читать, ничего больше не делать, только читать, – и все равно не хватит времени, чтобы узнать и понять все мысли. Это только на одной полке. А если набить книгами целый дом! Представить такое – голова кружится.

– Есть такие дома, – сказал прост. – Они называются библиотеками.

– Не может быть, – не поверил я.

– Я сам был в таком.

– Где? Нет... не может быть.

– В Хернёсанде. В Упсале. Во многих городах.

– Это, должно быть, ужасно...

Прост недоуменно посмотрел на меня – он, кажется, не находил в библиотеках ничего ужасного.

– Так много... такого разного времени... – заикаясь, я попытался объяснить, – никто и никогда не сможет прочитать все эти книги!

– Думаю, не сможет.

– Только... только Бог.

– Бог, конечно. Само собой. Может, в этом и смысл библиотек – они помогают понять величие Бога.

– Но... если есть библиотеки... зачем тогда церкви?

Прост не ответил и отвернулся к окну. Я испугался, что он рассердился, но когда учитель вновь на меня посмотрел, гнева в его взгляде не было. Что-то другое... растерянность, слабость... Может быть, страх.

На следующий день прост пригласил к себе секретаря полицейской управы Михельссона и попросил, чтобы тот приехал один, без исправника Браге. Я хотел было уйти, но учитель попросил меня присутствовать при разговоре.

Мы прошли в рабочий кабинет. Михельссон, едва переступив порог, вежливо снял форменную фуражку и пригладил редкие волосы.

– Садитесь, садитесь. – Прост был само радушие. Показал нам на стулья и занял место за столом. – Погода, слава Господу, немного наладилась. – Тут я подумал, что про любую погоду по сравнению с той, что была накануне, можно сказать «наладилась». – Как урожай?

– Закрома у родителей полны. Неплохой год.

– А ваши родители живут...

– В Пелло. Старшие братья остались на хуторе, а я вот... по служебной линии.

– Значит, господин Михельссон младший?

– Самый младший. Нас десятеро.

– И вы ведь пока не женаты?

– У меня есть... есть невеста в Пелло. Мать нашла. Очень скромная, из хорошей семьи.

– Это же замечательно!

– И она, и я учились у Юхани Рааттамаа. Это Юхани научил нас читать и писать.

– Смотрите-ка... вот ведь как бывает.

– Очень добрый и умный человек. Юхани, я имею в виду.

– Рад слышать, – улыбнулся прост. – А вы, господин Михельссон, уездный секретарь... это же куча работы! Писать, писать и писать...

– На моей обязанности все протоколы.

– Я слышал, в уезде очень ценят ваш необычайно красивый почерк.

– Да? Ну не знаю...

– Что вы! Все только и говорят – какой замечательный почерк у секретаря Михельссона! Это, знаете, не каждый... – Прост протянул ему лист бумаги: – Сделайте одолжение, порадуйте нас своим искусством.

Секретарь заметно смутился.

– Ну что вы... не могу же я...

– Сам-то я пишу как курица лапой, – поспешил пожаловаться прост. – Юсси то и дело ворчит – трудно, мол, читать ваши закорючки. Правда, Юсси? Нет, господин секретарь, всего несколько слов... я потом срисую.

Я, по-моему, ни разу не только не ворчал – даже не пожаловался, но на всякий случай промолчал.

Михельссон, помявшись, подвинулся к столу, пошарил по карманам, извлек карандаш и склонился над бумагой.

– Секундочку... позвольте очинить ваш карандаш. Это будет для меня большой честью – готовить карандаши для знаменитого каллиграфа.

Не дожидаясь ответа, он выхватил у Михельссона и без того острый карандаш и быстро очинил его карманным ножом. Стружки падали прямо на стол, он небрежно отодвинул их в сторону.

Михельссон получил назад свое орудие производства и написал несколько слов. Сразу было понятно – для него это привычное дело. Но изящные и в то же время экономные движения пишущего секретаря проста интересовали мало. Его интересовало то же, что и меня.

И он, и я убедились: Михельссон пишет правой рукой.

Прост взял лист и прочитал:

– «Отец наш небесный, да святится имя Твое». Вынужден согласиться: я никогда не видел такого ясного и в то же время поразительно элегантного почерка. Но у вас и карандаш превосходный! – Прост чмокнул сложенные пальцы и тут же их растопырил. – Поделитесь, господин Михельссон, где вы берете карандаши такого отменного качества? Мои то и дело ломаются.

Михельссона похвала заметно смутила.

– Это не я... это господин исправник.

– Ах вот как...

– Да-да... у него целая коробка таких. Мне кажется, он купил их в Хапаранде.

Прост смахнул стружки на лист бумаги и глянул на меня так, что я тут же понял: возбужден чрезвычайно, хоть и пытается скрыть.

– А наш исправник? Как он? Легко с ним работать?

– Исключительно опытный человек. Очень и очень опытный, – осторожно сказал Михельссон.

– Мне кажется, он чрезмерно дружен с бутылкой.

– Я знаю, знаю... господин прост – противник спиртного.

– Алкоголь затуманивает зрение и лишает здравомыслия. Но меня очень радует умеренность господина Михельссона. Думаю, вы могли бы стать замечательным исправником в будущем.

– О... спасибо, господин прост.

– В свое время, понятно, в свое время. Но знаете... Господь наградил меня некоторой прозорливостью. Для вашего покорного слуги нравственные качества значат куда больше, чем чины и награды. И когда я вижу такого человека, как вы...разумеется, я не стану скрывать свое мнение при встречах с влиятельными лицами, с которыми мне приходится видеться по долгу служения Господу.

Я удивился. Ни разу в жизни не слышал от него такой откровенной лести.

А на лице Михельссона были ясно написаны два чувства: смущение и гордость.

– Я очень хотел бы услышать ваше мнение по поводу трагической кончины Нильса Густафа, – продолжил прост.

– Да... ужасная история. Значит, тут вот что: дверь-то заперли изнутри, так что господин исправник считает, что...

– Вы не поняли, уважаемый господин секретарь. Мнение исправника мне известно. Я бы хотел, чтобы вы поделились со мной собственными наблюдениями.

– Да... мои наблюдения... ну, во-первых: покойный был одет по-уличному. Доказывает, что смерть наступила внезапно.

– А еще?

– Несколько сохнувших полотен. На мольберте – начатый эскиз. Очень приблизительный. На столе – бутылка коньяка и коньячный бокал.

– Сколько?

– Чего – сколько?

– Бокалов.

– Один.

– Один?

– Думаю, да... Один. Впрочем, точно не скажу.

– Там было два бокала, – напомнил прост. – Или как, Юсси?

Я посмотрел в свои записи. Для вида – потому что помнил и так.

– Два. Бокалов было два.

– А разве господин Михельссон не записывает результаты осмотра места происшествия?

– Обязательно, как же... Потом, за письменным столом, в спокойной обстановке, я фиксирую все детали. Все, что помню.

– Память может подвести. Позвольте маленький совет: записывайте все на месте, по горячим следам. Мельчайшие детали. Даже те, что на первый взгляд кажутся не стоящими внимания, могут впоследствии оказаться решающими. Читай свои записи дальше, Юсси.

– На столе лежит блокнот с квитанциями и тетрадь. На мольберте – начатый эскиз портрета.

– Это я говорил, – поспешил вставить Михельссон.

– Ну хорошо... теперь господин Михельссон знает: бокалов было два. И какие выводы он делает?

– Выводы... наверное, к нему кто-то приходил. Посетитель.

– Посетитель, в честь которого художник достает блокнот с квитанциями и делает эскиз портрета.

– И кто бы это мог быть? – с удивлением спросил секретарь.

Прост задумчиво потер подбородок.

– Давайте сменим тему. Говорят, господин исправник ездил в горы в начале лета?

– В Квикйокк, – подтвердил секретарь.

– Квикйокк... Очень красивые места. Мы с Петрусом жили там одно время у старшего брата, Карла-Эрика. А что делал исправник в Квикйокке?

– Кража оленей.

– Наверное, немало пришлось побродить в горах.

– Само собой.

Прост достал из конверта сухой стебелек.

– Господин секретарь, возможно, знает, что это за растение?..

Только не трогайте пальцами.

Михельссон отдернул руку, будто обжегшись.

– Травка, – неуверенно сказал он.

– Нет... уж точно не травка, – улыбнулся прост. – Это ползучий вереск, *Cassiope tetragona*. В горах – на каждом шагу.

– Я не так силен в ботанике, как господин прост...

– Что вы, что вы, никто и не требует... Но вот что странно: этот вид вереска в нашей тундре не встречается.

– Вот как... в нашей тундре много чего не встречается. Пальмы, к примеру, довольно редки, – попытался пошутить Михельссон.

– Я нашел это растение в сене. В том сарае, где преступник изнасиловал и убил Хильду Фредриксдоттер Алатало. И как вы это объясните?

– Ее же медведь задрал!

– Ну нет. Ни я, ни Юсси в это не верим. Мы не только этот вереск нашли в сарае. Кровь, выданные волосы... Бедную девушку заманили в этот сарай. Она сражалась за свою жизнь, пока преступник ее не задушил.

– Но исправник же объявил вознаграждение за этого медведя! Охотники...

– Медведицу, – прервал прост. – Посмотрите-ка на это, – он достал еще один конверт и высыпал на стол карандашные стружки, – это мы нашли рядом с поляной, где напали на Юлину Элиасдоттер.

– Напали? Господь с вами! Что вы хотите сказать, господин прост? – Михельссон даже привстал на стуле.

Прост не сводил с него глаз.

– Сравните-ка, господин Михельссон, эти стружки с теми, что я только что снял с вашего карандаша.

Михельссон дрожащей рукой взял пару стружек.

– С карандаша, который мне дал исправник?

Наступила давящая тишина. Воздух в комнате сгустился так, что трудно шевельнуть пальцем.

– Значит, господин прост намекает... – пробормотал Михельссон.

– Исправник Браге, как вы сами рассказали, в июне побывал в местах, где растет *Cassiope tetragona*. Он пользуется карандашами, идентичными тому, следы которого мы нашли на месте преступления. И, как наверняка знает секретарь, его интерес к молодым женщинам...

– Никогда бы не подумал, что господин исправник Браге...

– Далее. Юбка Юлины измазана той же сапожной мазью, какой пользуется исправник. И она сказала еще вот что: напал на нее herrasmies. Кто-то из господ.

– Но она же вообще отказывалась говорить!

– Отказывалась, да. В присутствии исправника Браге она говорить отказывалась. Возможно, она его узнала, хотя он и был в маске, когда на нее набросился. И ему тоже показалось, что она его узнала. Поэтому он и решил ее задушить и замаскировать смерть девушки под самоубийство.

– Это невозможно!

– А секретарь Михельссон разве не обратил внимания, как нервничал исправник Браге? Он меня ударил... Может, он сам и купил эту веревку, на которой повесил Юлину? И еще вот что: Юлина рассказала – ей удалось отбиться только потому, что она ткнула насильника в плечо заколкой для волос. И если секретарю Михельссону подвернется случай... не знаю, в сауне или где-то... он может посмотреть на плечо исправника. Нет ли на нем следа колотой раны?

Михельссон встал. Вид у него был такой, точно он вот-вот упадет в обморок.

– Просту самому следовало бы занять должность исправника... – выдавил он.

– Поиск улик на месте преступления не так уж отличается от поиска редких растений. Обращаешь внимание на все, что не укладывается в обычные рамки. К тому же мне очень помог Юсси.

Секретарь покосился на меня и тут же отвернулся – видно, решил, что прост шутит. Прост встал и подошел к нему – пожать руку. Михельссон торопливо попрощался и вышел.

Учитель аккуратно разложил стружки по конвертам и убрал в ящик стола.

– Итак, Юсси? Что ты обо всем этом думаешь?

- Зачем вы это сделали?
- Что – это?
- Зачем вы все ему раскрыли?
- Если лис спрятался в логове, надо его оттуда выкурить.
- А когда он выскочит?
- Когда выскочит – мы его возьмем.
- Исправника? – Меня одолевали сомнения. – А это вообще-то...

разве можно арестовать исправника?

Прост раскурил свою самую большую трубку, жадно, так, что щеки чуть не сошлись между собой, затянулся и выпустил густое облако дыма.

– Испугается. Если услышит о наших подозрениях, наверняка испугается. И мы, по крайней мере, избежим новых преступлений.

Он с удовольствием проделал любимый трюк: выпустил из носа два толстых, как бивни моржа, столба дыма. Ноздри его раздувались от удовольствия. Бивни закрутились в спирали, потом разошлись на почти нематериальные восьмерки и медленно бледнели, пока окончательно не растворились в воздухе.

Я давно не видел учителя в таком хорошем настроении. Он попросил меня заварить чай. Я пошел в кухню и залил кипятком высушенные цветы кипрея. Вернулся в кабинет с этим декоктом и застал странную картину: прост зачем-то нахлобучил какую-то шляпу с широкими полями и застегнул ворот плаща. Будто замерз. Сосредоточен был до такой степени, что даже не заметил, что я принес ему травяной чай.

Я поставил кипрейный чай на стол и молча вышел.

Моя возлюбленная... где она теперь? Вечером, когда я устроился на своем соломенном матрасе и закрыл глаза, увидел ее в развевающемся ярко-красном платье. Меня одолела тревога. Не случилось ли с ней что-то? Прост уже собирался лечь спать. Я выскользнул из дому, добежал до хутора, где она работала, и спрятался в зарослях. Вечерняя заря медленно-медленно утекает за горизонт – позднее лето, солнце пусть ненадолго, но все же прячется. Похоже на

песочные часы учителя с их розовым, мельчайшим, почти нематериальным песком. Тонкий ручеек, незаметно извиваясь, перетекает в нижний сосуд, а верхний постепенно заполняют пустота и мрак.

Скоро не будет ни зари, ни даже солнца. Вечная ночь.

Я сижу в густой высокой траве, как дикий кот, подкарауливающий добычу, – уши наострены, хвост слегка подергивается, розовая пуговица носа. Гнус донимает невыносимо, шею жжет, хоть я и застегнул наглухо ворот. Срываю несколько цветков пижмы, натираю запястья и шею. Пижма с ее острым запахом отпугивает насекомых не хуже, чем багульник, но наиболее отчаянные все равно умудряются забраться в ушную раковину, а некоторые садятся даже на глаза и вязнут в глазной слизи.

В селе к концу дня все тихо, даже собакам надоело лаять. Я сначала услышал, а потом увидел: мышь-полевка. Прошуршала коротко и торопливо, потом опять, и опять, и наконец появилась. Крошечное существо, но все ее чувства читаются легко – легче, чем у человека. Насторожена, усы вибрируют. Жизнь – не позавидуешь. В вечном страхе перед лисьими зубами и беспощадными когтями ночных сов.

Рев порогов сюда еле доносится, но он не смолкает. Так слышишь течение собственной крови в ухе, когда кладешь щеку на оленью шкуру. Шум воды – как шум крови. Или как тысячи трущихся друг о друга жестких волосков.

Но... она вышла из дома! Легкие шаги, приподняла подол, чтобы не замочить вечерней росой.

Я должен с ней поговорить.

Перебежал лужок и помахал. Она остановилась, глаза расширились и потемнели от страха, мягкие губы напряглись в преддверии крика... Она прекраснее, чем весь сонм небесных ангелов! Эта бархатистая кожа щек, своды бровей!

Она узнала меня, и страх уступил место удивлению. Что-то в ней изменилось, она стала еще ярче и ходит по-иному, будто ноги ни с того ни с сего стали больше.

– Мария... – прошептал я.

– Уходи, – твердо сказала она.

Я протянул руку, я не мог противостоять искушению ее потрогать. Но она отшатнулась, и пальцы скользнули по грубой ткани рукава.

– Мария... ты же помнишь, как мы танцевали? Можем же мы просто погулять в лесу и поговорить? Никто нас не увидит.

Я схватил ее за запястье. Она попыталась вырваться, но я не мог отпустить. Такая мягкая, тонкая и в то же время тугая кожа...

Губы ее напряглись, и она отвернулась.

– Он умер. – Я еле расслышал ее шепот.

– Да...

Почему-то стало жечь подошвы, будто я стоял на раскаленном песке. Я сжал ее руку.

– Мария, ты прекраснее, чем весь сонм небесных ангелов.

– Ты не понимаешь, Юсси!

Она вырвала руку так резко, что я едва не упал, и, ускоряя шаг, побежала к отхожему месту.

Но не успела. Согнулась чуть не пополам, как саамская старуха, и застонала. Ее начало рвать. Из травы брызнули перепуганные кузнечики. Раз за разом ее тело сотрясали судороги рвоты, но рвать было нечем – только немного желтоватой слизи на губах.

Выпрямилась и заметила, что я все еще тут.

– Уходи!

Я не двинулся с места.

– Уходи, Юсси... Ты же видишь...

Я продолжал стоять. Она подошла к колодцу, вытащила ведро ледяной воды и ополоснула лицо. Ее руки белели в сумерках, как две только что пойманные, еще живые рыбы.

Сердце колотилось так, что было трудно дышать. Шел по ухабистой сельской дороге, а мысли толклись в голове, путаясь и не находя выхода. Прочь отсюда. Прочь, прочь. Оставить все и уйти в другой мир, исчезнуть на севере, у берегов заросшего льдами океана.

«Ты не понимаешь, Юсси».

Сзади слышались скрип, топот копыт и пьяные голоса. Я обернулся. По дороге, переваливаясь с кочки на кочку, катила телега.

Отошел в кусты – не хотел, чтобы меня кто-то видел.

На меня пахнуло запахом стойла. Два парня громогласно и невразумительно спорили о каких-то деньгах, о картах, о долгах. Они были настолько пьяны, что чудом держались на козлах.

Я не шевелился. Стоял и смотрел на неизвестно откуда вылупившийся полумесяц – минуту назад его не было. Мне не хотелось ни говорить с кем-нибудь, ни даже здороваться.

И тут залаяла собака. Она, оказывается, лежала в телеге. И вскочила – должно быть, учуяла меня. Огромная, как волк, зверюга. Сорвалась с телеги и на длинных, как у волка, ногах помчалась ко мне. Я хотел было убежать, но запутался в траве; в ужасе попытался забраться на сосну, но не успел – пес вцепился мне в икру. Попробовал второй ногой сбросить его, но куда там... как расвирепевшие, рычащие кандалы.

– *Mikä saatana!* – крикнул один из парней.

– *Olenihminen,* – крикнул я изо всех сил. – Я человек!

И услышал, как они продираются сквозь заросли.

– Не двигайся, убью!

– Уберите собаку!

Пес попытался перехватить ногу половчей, и я успел ее отдернуть. Икра стала горячей от крови.

– Уберите же собаку!

Парень схватил меня за пояс и сдернул с дерева. Я повалился в мох. Пес попытался схватить меня за горло, но я успел поднять руку. Клыки впились мне в плечо.

– Фу, Сеппо!

Только теперь я его узнал. Руупе. Пес удерживал мою руку мертвой хваткой, так что Руупе пришлось поднять его за задние ноги и отшвырнуть в сторону. Грозное рычание сменилось жалобным воем. Меня трясло от страха и боли. Брюки горячо намочили кровью.

– Кто это здесь?

Руупе схватил меня за ворот. Он был настолько пьян, что изо рта текла слюна.

– Так это же шаманенок! Чем это ты тут занимаешься по ночам?

– Твой пес испортил мне одежду. Заплати... – задыхаясь, выговорил я.

– «Заплати!»! – повторил он и заржал. – Радуйся, что он тебе брюхо не вспорол.

– Кто там? – крикнул приятель с телеги.

– Да этот чертов шаманенок! Лежал здесь и прятался.

– А с чего бы это он прятался?

Руупе повернулся ко мне:

– Вот именно! С чего это ты прятался, сукин сын? С чего это ты тут валялся?

– Ты не понимаешь! Это же он? – крикнул второй парень.

– Кто это – он?

– Тот, кто убил Юлину! Это точно он!

– Ах ты, свинья поганая!

– Сообрази, наконец: он лежал тут и подкарауливал одиноких девушек.

У Руупи сузились глаза.

– А ты знаешь, что делают с такими, как ты? – И, не дожидаясь ответа, ударил.

Лицо мое точно взорвалось. Я слышал отвратительный хруст зубов, рот тут же заполнился кровью. Собрал все силы и, прицелившись, ударил сапогом в пах. Руупе хрюкнул, как боров, согнулся, но тут же выпрямился и ударил снова, еще сильнее. На этот раз я упал. Он схватил что-то... камень? Да, камень, тяжелый камень. Схватил и прицелился. Он что, собирается разmozжить мне... В последнюю секунду я успел отвернуть голову, и камень тяжело ударился о землю рядом с ухом. Рычащая собака... сейчас она меня разорвет. Еще один камень... Мир вспыхнул разноцветным огнем, и я уже не мог пошевелиться.

– Мы этому сучонку хотелку почти отрезали к херам собачьим, – крикнул Руупе и ушел.

Я потерял сознание, а когда немного пришел в себя, почувствовал, что подошел кто-то еще. Лица я не видел, замотано шарфом, – наверное, с ними на телеге ехал еще и третий. Он взял меня за плечо и ткнул в лопатку чем-то острым.

Ночное небо скукожилось до ярко-черной точки, и больше я ничего не помню.

Волна ревущей боли вынесла меня на поверхность, как выносит кипящая вода порога едва не потонувшую лодку. Первое, что я заметил, – облепивших лицо мух. Целый рой. Я пошевелился. Мухи взлетели и с отвратительным жужжанием повисли над головой, как сверкающий металлической синевой нимб. Трудно дышать, я никак не могу отхаркаться – вся гортань забита слизью. Вместо кашля какие-то странные сипящие звуки.

Повернулся на бок. С трудом, без помощи рук. Руки сломаны, что ли... нет, не сломаны – сквозь разодранную рубаху просвечивают багрово-красные пятна, мышцы смяты и порваны собачими зубами.

Штаны спущены ниже колен. Что там, между ногами, я даже смотреть не хочу. Не могу себя заставить.

Опять поворачиваюсь на спину. Мухи снова атакуют – их привлекает свернувшаяся кровь, но отмахиваться нет сил, и я не могу заставить себя пошевелиться довольно долго. Но понимаю – дело плохо. Очень плохо. По внутренней стороне бедер стекает какая-то каша... но что-то там есть... что-то осталось. Пробую приподняться, но никак... что-то они там сделали... и дали сожрать собаке? Я пробую поднять штаны, но в эту секунду молния взрывает мир ослепительным мраком. Таким мраком, который бывает только сразу после удара молнии.

Я опять очнулся. Лопается мочевого пузыря. Долго пытаюсь подавить позыв, но природу не пересилишь. Ядовитая струя обжигает бедра. Мне кажется, ноги отделились от тела и лежат отдельно. Скоро их утащат ночные хищники. Рососомаха или лиса. Они уже близко. Я вижу, как светятся в темноте глаза...

В третий раз я прихожу в сознание наверняка от жажды. Пылающей, безжалостной жажды. Во рту ничего не осталось, кроме сплошного шершавого струпа. Уже встало солнце... а это что? Дождь? Идет дождь... Нет, это наваждение... Мне заливают рот, я глотаю реку, но жажда не проходит. Теперь я понимаю. Жажда – последняя мука перед наступлением вечной тьмы.

Но я по-прежнему слышу отдаленный рев порога. Миллионы литров воды перекачиваются через камни, пенятся, и пена брызжет мне в лицо. Хотя бы еще раз... последний раз в жизни увидеть воду... Встаю на четвереньки и тяжело и шумно дышу, как корова. Хватаюсь

за сосенку и, перебирая ствол, медленно поднимаюсь на ноги. А где дорога? Я не вижу дорогу, не знаю, где я.

Но шум воды я слышу. Придерживая рукой штаны, двигаюсь с места.

И тут же ноги подгибаются, я ничком падаю на желтую хвою. И не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я увидел силуэт на фоне вечеряющего неба.

– Юсси? Юсси, это ты?

Прост. Добрый самаритянин.

Я очнулся между двух белых простыней. В первый момент не понял, где я, но потом заметил книжные полки. Рабочий кабинет проста. Попытался вспомнить – и ничего не вспомнил. Отдельные вспышки памяти: носилки, бутылка с водой, прижатая к моим губам, чьи-то осторожные руки отмывают кровь жгучей, как пламя, хлоркой.

– Юсси?..

Прост с тазом и тряпкой. Осторожно накладывает льняные тряпки на раны, перевязывает.

– О-о-о...

Тяжелые барабанные удары боли во всем теле. Кажется, сейчас развалюсь на части.

– Ты голоден, Юсси... сейчас что-нибудь принесу.

Нет. Я не голоден.

Но прост не слушает. Приносит миску, разминая в ней что-то на ходу, набирает большую ложку масла.

– Картофель, Юсси. Сможешь прожевать?

Резкая боль в деснах, словно в рот вместо моих челюстей, и верхней, и нижней, загоняют гвоздями конскую подкову. Я заставил себя подождать, пока начнет таять масло и в нем размягчится и превратится в кашку то, что прост называет картофелем. Глотка судорожно и ритмично, как удары пульса, сокращается. Мне кажется, что каждая такая судорога сопровождается вспышкой света... Мои исцарапанные щеки наливаются прозрачным жаром, сквозь них просвечивают кровеносные сосуды и зубы. Я бы так и оставил,

почему-то мне было так легче, но тело истосковалось по еде и заставило проглотить уже безвкусную кашку. Желудок сжался в кулак, мне показалось, что сейчас вырвет, но за первой ложкой последовала вторая. Было очень больно, и в то же время я чувствовал облегчение. А когда я, все еще против воли, проглотил третью ложку, тело мое поняло, что ему суждено продолжать жить.

Еще одно воскрешение из мертвых.

Они все сидели у моей постели – и Брита Кайса, и Нора, и Сельма. Кто-то положил мне на голову прохладную руку. «Лихорадка». Чей это был голос, не знаю – голоса я не различал. Что-то пролилось на кожу, может, какая-нибудь жидкость для обработки ран. Но хлоркой не пахло. Когда понадобилось помочиться, мне приподняли таз – и весь пах обожгла такая резь, что я захотел умереть. И уж вовсе не хотелось думать, что у меня там, внизу.

Гнию заживо. Я застонал.

С меня сняли насквозь мокрую ночную рубашу и надели другую. У меня никогда не было ночных рубашек.

Кажется, ушли. Я отвернул голову и закрыл глаза. Все, что от меня осталось, исчезло в кровавом тумане.

На следующий день я проснулся очень рано. Занимающийся день еще не успел получить название. Очень болел живот. Ноги... ноги наверняка не держат, но мне во что бы то ни стало надо выйти. Согнувшись, как старик, я еле-еле доплелся до толчка – и у меня точно что-то взорвалось внутри. Чалмо твякнула и попятилась – должно быть, ее спугнул отвратительный запах. Я набрал черной ледяной воды из колодца и еле донес до бани. Дрожа от холода, полил на саднящие раны, на ребра – наверняка сломаны, иначе не было бы так больно дышать, – вытерся голыми руками, от волос до бедер. Хотел посмотреть, что же у меня там, между ног, но так и не решился.

Поднял руки над головой в виде буквы «V». Призыв. Долго стоял, дрожа. Вот он я. Приходите и берите. Жертвенный агнец.

Село начало просыпаться. Я добрался до крыльца. Замычали коровы, требуя дойки. Где-то попробовала голос собака, ей тут же ответила другая. По траве, как ручеек пожара, пробежала лиса. А потом и люди стали подавать признаки жизни. Появились первые дымки под кровлями, загремели ведра доярок. И в усадьбе тоже зашевелились. На крыльцо вышла Брита Кайса, расчесала волосы, с

отвращением посмотрела на оставшийся в руке седой клочок и выкинула в траву.

– Вот и еще один день.

Я что-то промычал в ответ.

Она потрогала мой лоб.

– Как дела, Юсси? Получше?

– Живот...

– Там остался вчерашний суп. Холодный бульон. Сможешь выпить?

В кухне Брита Кайса налила мне чашку бульона с застывшими кольцами жира. Оказывается, пить можно только верхней губой, несколько капель, и все равно удар боли так силен, что я чуть не потерял сознание. Пасторша покачала головой и протянула мне кусок хлеба. Дело пошло лучше: хлеб можно размочить и осторожно сунуть за щеку. Окунал хлеб и сосал, тихо, как мог, чтобы не вызывать брезгливости у дочерей. Они старались на меня не смотреть, я и на человека-то не похож. Но сочувствовали, спрашивали, не хочу ли я чего, не подлить ли воды. Мне хотелось пить, но я мог только вливать воду сбоку, приоткрыв пальцем рот, и, конечно, половина проливалась на рубаху.

Прост молча наблюдал. Он стоял вроде бы в стороне, но когда я выронил ковш, сделал выпад и ловко его подхватил.

– Кто тебя избил, Юсси?

К горлу подступила тошнота. Он взял меня за руку и с внезапной яростью прошипел:

– Я бы убил этого мерзавца! Разорвал на части... Кто-то из наемных работников? Ты же наверняка узнал!

– Я... не помню...

– Ты все прекрасно помнишь. Кто это был?

Я молча показал на рот. На болтающийся передний зуб.

– Покажи-ка.

Мы вышли на свет. Он попросил меня открыть рот и тонким прутиком очистил зуб от сгустков крови. Я почти ничего не чувствовал, пока он не задел открытый нерв.

– Надо ехать к доктору, – сказал прост в ответ на мой отчаянный вопль.

Я затряс головой. Дохромал до сарая с инструментами, снял со стены кованые клещи с короткими губками, протянул просту и втиснул ему в руку.

– Я это делать не умею.

Но я не сдавался. Он опять отмахнулся и пошел в усадьбу. Я за ним.

Учитель вздохнул и взял клещи.

Я опустил на землю. Нет... лучше лечь.

Он сел на меня верхом.

– Юсси... ты уверен?

Я молча кивнул, зажмурился и открыл рот как только мог. Услышал отвратительный хруст. Резкая боль, тяжелый удар по нижней губе. Клещи сорвались. Остаток зуба сидел крепко.

– Извини, Юсси, не удастся.

Я зажмурился еще сильнее и опять открыл рот.

На этот раз прост прибег к другому способу. Он не старался сразу вырвать корень, а начал выкручивать и раскачивать. Кровь попадала в гортань, я кашлял, стонал от боли и изо всех сил пытался не кричать, чтобы не испугать учителя. Голова моя превратилась в колокол, внутри раскачивался ржавый металлический язык. На лицо мне упали теплые капли – прост заплакал. Раздался хруст. Длинные корни наконец подались, и я потерял сознание. Но ненадолго. Мне показалось, что очнулся я от собственного же кашля. Трава рядом с головой покраснела от крови.

Прост сунул мне в руку что-то острое, встал. Плеск воды – наверное, моет клещи. Потом отнес на место – я услышал, как хлопнула дверь сарая.

Я посмотрел на мой зуб, эмаль сверкала на солнце, провел языком по пустому месту во рту и почувствовал облегчение. Колокол перестал звонить. Наконец-то... но что это...

Открылись ворота огромного здания, и на улицу высыпало множество людей. Они двинулись к небольшому дому поодаль, где танцевал некто на козлиных ногах, и они тоже начали танцевать. Они танцевали как замороженные, а потом выстроились в длинную цепочку, и он повел их к бездонной пропасти, а из этой пропасти поднимался едкий дым. И люди валились в эту бездну – и юноши, и девушки, и отцы, и матери с детьми на руках. Козлоногий подвел и

меня к краю бездны, но тут ко мне подошел красивый юноша и спросил, как меня зовут.

– Юсси, – ответил я.

– А я Иегова. – Он достал книгу. – Я запишу в эту книгу твое имя, Юсси. А ты пойдешь и расскажешь людям, сколько опасностей ждет их в объятном штормами море. Иначе попадут они туда, – он кивнул в сторону обрыва. – Туда, где муки не кончаются никогда.

Я пришел в сознание на сеновале. Выплюнул свернувшуюся кровь и потрогал языком пустое место во рту. Больно, но уже не так невыносимо.

Мелкими шагами дошел до берега реки. Если не топать, идти можно. Присел на корточки, дал слюне стечь в ладони и опустил руки в бегущую воду. Вода окрасилась красным. Потом кровь кончилась.

Я долго сидел и вслушивался в неумолчный шум порога. Как будто сотни голосов говорили что-то нараспев – негромко и неразборчиво. Похоже на невнятную молитву – так, наверное, в ушах Господа звучат бессильные и бесконечные человеческие жалобы. Он опускает палец в поток, поднимает какую-нибудь капельку, рассматривает и пробует на вкус. И в этот самый миг где-то на земле происходит чудо. Кто-то утешен.

Стараясь ставить ноги как можно шире, я пошел назад в усадьбу. Маленькая девчушка, дочка знакомого арендатора, увидела мою изуродованную физиономию, в ужасе зажмурилась, повернулась и помчалась домой, мелькая босыми ножками.

И Чалмо опять меня не узнала – попятилась и предостерегающе твякнула.

– Это же я... Юсси.

В доме никого нет. На кухонном столе стоит песочница для письма – видно, оставила одна из дочерей. Я присаживаюсь за стол, и меня охватывает странное волнение. Неверной рукой беру острую писчую палочку и пишу на песке первое, что приходит в голову.

Piru. На финском – имя дьявола. Стираю, приглаживаю песок. Следующее слово: saatana. Perkele. Потом – самые грубые названия

мужских и женских принадлежностей. Vittu, kulli. Helvetti, преисподняя. Все слова, которые не полагается произносить вслух, – пишу и стираю, разглаживаю песок, пишу и стираю. А потом внимательно разглядываю песок. Белый и нежный, как солнечный свет. Никакой грязи, ничего сатанинского, отвратительного и грешного к песку не прилипло – светлый, ровный песок, как и был. В нем ничего не изменилось.

Если бы жизнь была такой же... А впрочем, она такая и есть. Человек копается в грязи, оговаривает и проклинает, сердце его полно лжи, он мочится, испражняется, постыдно тычется в мокрую женскую промежность – и вот приходит Бог. Проводит мастерком – и готово! Никаких уродливых слов, никаких позорных поступков – чистый, белый и ровный песок. И о чем это говорит? Что нового мы узнаем о мире? А вот что: Бог все же есть. На дне самой глубокой пропасти, в угаре войн, насилий и жестокостей, несмотря ни на что – Бог все же есть.

Долго смотрю я на песок, и мне все тревожней и тревожней, даже подташнивает. А что за смысл жить, если все равно все будет стерто и разглажено? Вся моя жизнь, все мои радости и страдания будут забыты. Меня опустят в землю и засыпят землей – и все. И такая же судьба ждет каждого – и строптивых хуторян, и замечательную девушку, которую я так люблю, и даже моего обожаемого учителя. И если нас всех сотрут, если мы бесследно исчезнем – в чем смысл? Вот сижу я на грубо сколоченном табурете, у меня все болит, зубы выбиты, во рту вкус крови – не лучше ли сейчас же пойти к реке, и пусть она, как Бог, смоет меня с этой земли?

Я опять беру палочку и перевозжу дух. Палочка прикоснулась к поверхности песка и оставила узкое неглубокое ущелье с осыпью.

Я – вот он я. Каждый может увидеть или потрогать. Следовательно, я есть. Третье слово приходит сразу, но я долго размышляю, прежде чем процарапать его на песке.

Человек.

Я – человек.

Дальше, почти не задумываясь:

Я пришел с гор.

У меня есть сестра.

Ее зовут Анне Маарет.

После каждого предложения в песочнице уже нет места – вся исписана. Я долго смотрю на буквы, закрываю глаза. И только когда понимаю, что вижу их не глядя, в уме, стираю и пишу следующие.

Нашей матери мы были не нужны.

Звучит ужасно, а в написанном виде еще ужаснее. Но что делать – так и есть. Она никогда нас не хотела. Ни зайчонка, ни сучонка.

Написал, стер. И опять: слова остались, хоть я и разровнял песок.

И я продолжаю. Страница за страницей. Начало рассказа о моей жизни. Жизни, прожитой мною в моем теле. Какой она была и как я ее чувствовал. Как я ее понимал или не понимал, а если понимал, то принимал или не принимал. И не странно ли – эти исчезающие, но в то же время странно живые страницы могут когда-нибудь стать книгой.

Удивительное занятие – писать. Проникает в душу. Берешь мутную похлебку, начинаешь размешивать половником, и из непроницаемой мути появляется что-то посветлее – скажем, кусочек репы. Или косточка с остатками мяса. Или потемневший лист любистока – Брита Кайса выращивает его на огороде. У любистока привкус выделанной кожи и немного смолы. Кто туда его положил? Неужели я сам?

Тревога, тревога... тревога почти до тошноты. И ты все равно продолжаешь крутить половник... Чье это детское личико с черными, искусанными до крови губами? А что это за саамский кутенок, черный, с двумя белыми пятнами на лбу, похожими на вторую пару глаз? Истощенный, жизнь едва теплится – так бывает, когда ты самый слабый в выводке. Но если, по примеру ведьмы, разжевать сначала и выплюнуть в крошечную пасть... все равно что – остатки еды, жиры, накапавший жир с углей, – он оживает на глазах. Хвостик начинает вилять от радости, когда тыходишь к его корзинке из елового лапника. Надо постелить ему мха, чтобы не мерз, а ночью, потихоньку от ведьмы, можно взять его с собой. Положить под мышку и слушать, как быстро и ласково бьется крошечное сердечко.

Но потом у щенка странно повисает задняя лапка. Он волочит ее, а когда пытается улечься поудобнее, пищит, как мышь. Что-то с ним случилось – Анне Маарет говорит, ведьма кинула в него поленом. Кость сломана, но ты надеешься, что, может, обойдется, кости же срастаются. Забинтовываешь ногу тряпками... но при этом видишь, что повреждена и грудь, торчат сломанные ребрышки. Щенок умирает

долго, несколько дней. В последнюю ночь нос горячий и дышит он быстро-быстро, будто торопится надыхаться... К утру дыхание замедляется. Почему я не взял его с собой? Почему оставил одного с ведьмой? Я назвал его Lihkku – Счастье.

И вот я пишу имя щенка на песке. Его имя впервые стало буквами. Никогда и никто не рассказывал о Ликку, о его жизни и о его гибели. А теперь он есть. Как и я. Мое имя записано простым в церковную книгу, а имя щенка – Счастье – записано мною на песке. Если ты записан, тебя уже не забудут.

В который раз разглаживаю и ровняю песок, стараюсь, чтобы он стал похож на бумагу. Записи исчезли. И записи в церковной книге тоже когда-нибудь исчезнут. Вполне может быть. Но книги-то исчезнут, а то, что в них написано, не исчезнет никогда. Все, что написано, – написано навечно. Я это знаю. Вернее, не знаю, а ясно чувствую. Мне кажется, с силой написанных букв не может сравниться ничто.

Я вздрогнул: в дверь постучали. Пришла Сельма, дочь учителя. Спросила, чем я занимаюсь, – я притворился, что не слышу. Тогда она наклонилась и взяла еще теплую от моих рук писчую палочку. Наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, накорябала шутливое приветствие отцу: дескать, ходок из тебя – никуда, я уже давно дома, а тебя все нет. Косы ее качались, как маятник часов.

– Не подглядывай! – Она слегка оттолкнула меня локтем.

А я и не подглядывал. Я вовсе не смотрел на то, что она пишет. Я смотрел насквозь, старался различить на белом мелком песке слова, которые сам недавно писал. И да, все они были там. Все до одного. Я не ошибся.

Брита Кайса пригнула мою голову к столу и велела открыть рот.

– Шире, – приказала она, помешивая ложкой в кастрюле. – Еще шире.

Я открыл рот так широко, что голова чуть не раскололась на две половины. Она взяла палочку с ваткой на конце, обмакнула в кастрюлю и прижгла лунку на месте выдранныго зуба. Жгло невыносимо. К тому

же я задыхался от дикой смеси запахов: смола, любисток, камфора, подорожник, ржавчина, змеевик, что-то еще... наверное, все, что она нашла на своих аптечных полках.

Я судорожно сжал зубами палочку.

– Тихо... отпусти. Сейчас пройдет.

Опять обмакнула палочку в свое варево и повторила все сначала.

– Три раза... Три раза, чтобы не было нагноения.

Дочери одна за другой выбежали из кухни – смотреть на все это наверняка неприятно. К тому же я время от времени вскрикивал от боли. Успел подумать, что крик мой звучит очень странно, будто кто-то забрался в большой церковный колокол, и его там вырвало.

Она спустила с меня штаны. Я отвернулся. Брита Кайса осторожно отмочила теплой водой присохшие повязки. Я вцепился зубами в руку – пусть уж лучше будет боль в руке, чем там.

– Представь: ты рыба, – сказала она спокойно. – Рыба на дне реки. Ты стоишь неподвижно, только хвостиком подрагиваешь, а вода течет мимо тебя, течет... ты не шевелишься... вот так. Вот... вот так. Ничего страшного.

Десны почернели – наверное, от смолы. А между ног... у меня такое чувство, что там щель, как у девочек, только кровавая и глубокая. Я забился в угол и лежал неподвижно. Мне казалось, я парю в воздухе, балансирую на острие, как бабочка на булавке, и острие это во что бы то ни стало должно упираться в грудной позвонок... именно в этот позвонок, у человека нет места тверже. И если сорвусь с острия, мне конец.

На следующее утро над поселком Кенгис по-летнему сияло солнце. Я ушел спать в сарай, чтобы не беспокоить остальных стонами и вскриками; из-за болей я не мог лежать неподвижно, вертелся на матрасе, как уж. Утром вынудил себя встать, но за всю ночь даже вздремнуть не удалось. И ходить было очень больно. Короткими, осторожными шагами, стараясь пошире расставлять ноги, я пошел в дом – и сразу понял: у нас посетитель. Сначала по запаху – пот и смола, а потом услышал хорошо знакомый бас.

У кухонного стола сидел исправник Браге и хлебал разогретый Бритой Кайсой суп. У короткого конца пристроился секретарь управы Михельссон. Исправник посмотрел на меня, еле заметно пожал плечами и, не поздоровавшись, зачерпнул очередную ложку. Проста явно что-то беспокоило – он ходил по кухне, заложив руки за спину и время от времени поглядывая в окно.

– И сколько... – исправник отвлекся и проглотил ложку супа, – и сколько вы ему вручили?

– К сожалению... – Прост помедлил. – Боюсь, речь идет о довольно значительной сумме.

– Ваши собственные деньги?

– Да... сначала я оплатил гонорар за сделанный заказ, но это только часть. Впоследствии я платил уже за работу над портретом, посеансно, если можно так называть. Последний раз – незадолго до смерти художника. И эти деньги...

Браге и Михельссон обменялись многозначительными взглядами.

– Еще раз... чтобы было ясно. Деньги общины?

– Еще раз, чтобы было ясно: мои собственные сбережения, – сухо, с трудом сдерживаемой яростью сказал учитель.

Брита Кайса стояла не шевелясь, с плотно сжатыми, даже не сжатыми, а стиснутыми губами. Заметив меня, отвернулась и сделала вид, что переставляет посуду на полке. Схватила тряпку и начала протирать какой-то горшок.

– И не только прост платил художнику. Судя по всему, гонорар у него был немалый. И деньги... не только за законченные картины, но... вы ведь сами сказали, что заплатили аванс!

– Да... и, скорее всего, не один я.

– И где тогда деньги? Мы обыскали весь дом.

– Спрятал, наверное.

– Само собой. Но где?

Прост бросил на меня быстрый взгляд и после короткой паузы сказал:

– В сундуке. Там же, где хранил химикалии для дагерротипии. Исправник наверняка нашел этот тайник.

– Тайник?

– Тайник, в котором он, возможно, хранил деньги. Когда мы вошли в его дом, тайник был вскрыт и денег там не было.

– А почему прост молчал? Почему вы ничего не сказали?

– Потому что не успел. Вы приказали всем убираться.

Браге побагровел, набрал воздуха и с шумом выдохнул.

– Значит, прост прибыл первым... и провел там довольно много времени. И чем, интересно, вы там занимались?

– Молился за упокой души усопшего.

– И заодно обшарили весь дом. Или как? Значит, вам удалось найти тайник с деньгами художника?

– Уж не хочет ли... На что вы намекаете, господин исправник?

Браге ответил не сразу. Поковырял в зубах, вытащил что-то, внимательно рассмотрел, опять сунул в рот и проглотил.

– В настоящий момент я ни на что не намекаю... Думаю вслух, так сказать... А ведь с простом был еще и... и этот?

Он встал и медленно направился ко мне. Михельссон тоже вскочил и пошел за начальником. Меня почему-то охватил страх. Будто в животе зашевелилась заживо съеденная ледяная щука.

– Неплохую трепку тебе задали. Или с медведем повстречался? – Исправник ухватил меня за ворот.

Михельссон подошел сзади и положил руку мне на шею. Исправник сорвал с меня рубаху и ткнул пальцем в левое плечо, в нагноившуюся ранку с красным ореолом воспаления.

– Гляньте-ка, прост. Что это у мальчишки на плече? Не говорили ли вы, что Юлина Элиасдоттер Иливайнио ткнула насильника в плечо?

– Да. Заколкой для волос. А здесь не заколка. Что-то побольше и поострее.

– Заколки разные бывают.

– К тому же эта рана нанесена совсем недавно.

– Так вы, значит, защищаете этого дьяволенка?

Исправник оттолкнул меня, Михельссон отпустил шею, и я, не удержавшись на ногах, упал и закричал от резкой боли в промежности.

Исправник занес ногу для удара.

– Где ты спрятал деньги, мерзавец?

Прост попытался было встать между нами, но его грубо отпихнули.

– Придется обыскать дом, – решил Браге. – Где этот найденыш держит свои вещи?

– Оставьте паренька в покое! – крикнула Брита Кайса.

Прост из последних сил старался сохранить спокойствие.

– Разумеется, – сказал он. – Мы вам поможем. Корзина Юсси стоит вон там. Но я хочу видеть письменный приказ об обыске.

Браге полез во внутренний карман. Прост протянул ему нож, и Браге, сопя, заточил карандаш. Михельссон достал из портфеля лист бумаги, и исправник быстро накорябал пару строк. Содержимое моей корзины вывалили на пол – никаких денег там, разумеется, не было. Исправник проверил карманы, прощупал куртку изнутри – а вдруг деньги зашиты в подкладку.

Подозрительно огляделся.

– В мой рабочий кабинет я вас не пущу, – решительно сказал прост, схватил посох и выставил перед собой.

Этим двоим ничего не стоило одолеть щуплого проста, но в его глазах было что-то такое, что заставило их отказаться от этого намерения. Направились во двор, осмотрели сарай, коровник, погромыхали там ведрами и бидонами, Михельссон даже залез по приставной лестнице на чердак.

Брита Кайса и прост помогли мне встать и усадили на кушетку – ноги меня не держали. От перемены положения потемнело в глазах.

– Я не... я не крал... – с трудом выдавил я.

– Мы знаем, Юсси.

– Они меня ткнули чем-то... когда били... гвоздем, наверное...

– Пусть ищут, – невпопад сказал прост. – Все равно ничего не найдут.

Брита Кайса посмотрела на мужа – как мне показалось, с сомнением – и начала было убирать со стола, но прост ее остановил. Он внимательно рассматривал посуду с остатками еды. А потом сунул пальцы обеих рук в стаканы, из которых пили Браге и Михельссон, встал и таким странным способом понес к плите. Поставил на полку, зачерпнул немного золы из печи, дунул золой на стекло, так же, не дотрагиваясь до поверхности, поднял и показал мне.

– Видишь, Юсси? – Он поднес стаканы поближе.

Зола прилипла к жирным пятнам, оставленным пальцами непрошенных гостей.

– Вижу... их пальцы.

– Посмотри внимательно.

– Линии... Круглые такие... на водоворот похоже.

– Вот именно! И если ты посмотришь еще внимательнее, увидишь, что они разные, эти линии. Отпечатки пальцев исправника совсем другие, чем Михельссона. Видишь?

– Э-э-э... вижу, в общем-то... Да, разные.

Прост задумался. Оторвал две полоски бумаги, на одной написал «Михельссон», на другой «Браге» и положил в стаканы. Вышел на секунду и принес два завернутых в носовые платки бокала. Я узнал их.

– Это те, что вы взяли в доме Нильса Густафа?

– Совершенно верно. Те самые.

– А почему один посинел?

Прост кивнул. Бокал и в самом деле был ярко-синим.

– Берлинская лазурь. Это называется берлинская лазурь. Я тут провел небольшой опыт... Но пока рано рассказывать.

– Тебе надо передохнуть, Юсси, – вмешалась Брита Кайса. Она шарила по полке с травами. – Сейчас заварю тебе чай из ольховой коры. Горький, но помогает хорошо.

Я закрыл глаза и вдруг услышал у своих ног странное пыхтение. Посмотрел: прост стоит на коленях. Сначала я решил, что он надумал помолиться, но потом увидел – подбирает что-то с пола в ладонь.

И сразу понял что. Стружку от карандаша исправника.

Ссадины заживают не сразу. Появляется корочка, высыхает, а потом и корочка отпадает, – остается белый шрам. Если потрогать, кожа на шраме тверже, чем рядом, и почти ничего не чувствует. Ребра срастаются медленнее. Я осторожничаю, но во сне иногда повернешься неловко – и тут же кинжальный удар боли в груди. Хуже всего зубы. Ямки постепенно зарастают, но десны по-прежнему черные. Прост отклоняется, если мне случается на него дохнуть. Он не говорит ни слова, но я понимаю, что изо рта у меня пахнет. А если посылают в лавку, я прикрываю рот рукой и прошу взвесить табак или сахар. Без передних зубов я наверняка выгляжу как старик. Если по забывчивости открываю рот, женщины отворачиваются. Все ясно: близость с женщиной мне уже не суждена. Если хлеб жесткий, жую

коренными зубами, как кот, перекладываю языком из-за одной щеки за другую.

Звук «с» произнести не могу, получается «ф-ф-ф». Не сразу, но догадался: надо прижать язык к клыкам, клыки, слава Богу, целы. Получается лучше, но все равно мерзко.

Чего еще я не смогу никогда? Женщины... да, понятно. Никогда не смогу стоять рядом с простым и читать его проповедь, как читает Юхани Рааттамаа. Буду посмешищем для общины... Но я упорно работаю, стараюсь, чтобы речь моя была четче и ясней, чтобы окружающие меня хотя бы понимали. Кстати, если произносить слова, почти не разжимая губ, не надо прикрывать рот рукой.

Все чаще приходит в голову вопрос: хочу ли я остаться в мире после смерти? Не знаю, откуда он взялся, этот вопрос, – наверное, все из-за букв. Мои предки писать не умели. Они жили там, где жили, занимались своими делами. А потом умирали. Мою бабушку со стороны матери звали Анне Маарет, такое же имя дали и моей сестренке. А прабабка носила имя Стина Ингильда. Вот и все, что я про них знаю. Бабушку, правда, смутно помню – я ее видел в Квикйокке. Мы спали на улице, дело было летом. Помню дым от костра, его разожгли из зеленых веток – от комаров. Странно, но помню и лицо: все в морщинах, как разделочная доска, на которой годами режут мясо. Помню руки, сухие и холодные, деревянные на ощупь... Мне было четыре года, не больше. Она долго жевала что-то беззубыми челюстями, потом наклонялась ко мне и сплевывала мне в открытый рот какую-то жвачку, сладковатую от ее слюны, коричневую, как древесная кора. Я почему-то понимал, что это не еда, какие-то нити все время застревали в глотке, старался их проглотить, но они становились длиннее и длиннее. Помню – больше всего мне хотелось умереть. А эти сгибались пополам от хохота. Сидели на оленьей шкуре, хохотали и пили. И пили, и пили, пока не валились с ног. В своих грязных одеждах из оленьих шкур они были похожи на отходы бойни.

Думаю, вскоре она умерла. Мать ничего не говорила, но больше мы к ней не ездили. Наверняка умерла эта старуха, моя бабушка по имени Анне Маарет. И что осталось после нее в мире? Ничего. Хотя, может, и осталось – что-то из сшитой ею одежды или бурки из оленьей шкуры; может кто-то даже их носит до сих пор. Или сотканые ею цветные шерстяные завязки для этих бурок. Но вряд ли этот кто-то знает, что

эти бурки, эти завязки, эти тряпки принадлежали когда-то моей бабушке Анне Маарет. Что именно она соткала и сшила все это своими холодными деревянными пальцами. И, думаю, у нее не было никакой потребности остаться в мире, как не было такой потребности и у ее предков. Их это не заботило. Ни у кого из этих призрачных теней, тихо отошедших во мрак, не было потребности оставить по себе память. Жили и исчезали, жили и исчезали. Как волна в горном озере в ветреный день: накатывает на берег, покрывает траву прозрачной пленкой – несколько секунд можно видеть, как она сверкает, эта пленка, как мимолетно отражаются в ней солнце и небо. А потом исчезает, и на ее место с пеной и шумом приходит новая волна.

Почему-то мне неприятно думать, что и я, как эта пленка, бесследно исчезну. В моем народе я наверняка первый, кому пришла в голову эта совсем новая для нас мысль – желание что-то оставить после себя. Как, скажем, прост: даже если он умрет, многие смогут увидеть на выставке в Парижском салоне его портрет. И даже необязательно портрет, портрета могло и не быть. Можно, как он, продолжать движение за духовное пробуждение нашего народа. Дать, например, имя новому растению. Написать книгу.

Все это мой учитель уже совершил. А я не сделал ровным счетом ничего. Живу так же, как мои предки, топчу те же оленьи тропы. И, как олень, следую за другим оленем, протаптывающим путь в сугробах. Но теперь мне этого мало. Что-то произошло в мире, он изменился, совсем не похож на тот, что был. С этого дня надо начинать жить самому, а не надеяться остаться в других, которые тебя не помнят и даже не знают, что ты был.

Вот о чем я думал, и мысли эти никакого облегчения не приносили. Я ни на что не гожусь. Даже не могу объясниться с женщиной, которую люблю всеми сердцем, – так как же мне удастся тронуть сердца незнакомых людей?

Попытался поговорить с учителем:

– А это желание, чтобы тебя помнили, – не от дьявола ли?

Он серьезно на меня посмотрел.

– Все твои грехи прощены, Юсси. Именем и кровью Спасителя.

– Нет... этого мало.

Мне на секунду показалось, что он собирается вклеить мне пощечину.

– Или... продолжать жить как все? – еле слышно, почти не открывая рта, спросил я.

– А что ты сам думаешь?

Я не ответил.

– И еще вот что... кто, собственно, тебя избил? Да так зверски, что ты был скорее мертв, чем жив, когда я тебя нашел?

– Руупе. Руупе и еще один.

– Значит, их было двое?

– А потом пришел еще один. На лицо что-то намотал. Наверное, боялся, что я его узнаю. Это он ткнул меня в плечо.

– Исправник и секретарь не особенно удивились твоему виду. Похоже, уже знали, что на тебя напали.

– Да... и я об этом подумал.

– Надо немедленно заявить в полицию. На Руупе.

– С этим можно подождать, – процедил я.

– Тебе не надо его бояться.

– Я все равно скоро исчезну.

– Как это?

– Нет... это я так. Это я просто так сказал, учитель.

Последний сенокос закончился, пришло время проверить и привести в порядок инвентарь. Я все еще не мог работать в полную силу, поэтому мне велели чинить грабли. Сидеть нормально я не мог, было больно, поэтому встал на колени и задом оперся на пятки. Ножиком обтачивал новые зубья, подгонял их к гнездам и вставлял на место сломанных. Это, вообще-то, работа для немощных стариков и инвалидов, для тех, кто уже не может справиться с настоящим мужским делом. Я спиной чувствовал на себе сочувственные взгляды дочерей проста и служанки. Стал стариком, хотя мне так мало лет. Спина согнута, хожу маленькими шажками, с трудом сохраняя равновесие. Почти как учитель. Но у него за плечами великая жизнь, полная битв и побед, – жизнь, принесшая ему известность по всей стране, а моя-то даже не начиналась. Ничего не сделано и, наверное, уже сделано не будет. А сестра? Сестра, которую я оставил на севере, –

она не хотела бросать родных... Сколько раз уговаривал я ее идти со мной, бежать от вонючего сортира, от похмельной ярости доживающих свой век стариков. Она была моложе меня, совсем девчушка, но уже стала для них матерью – знала, что без нее они быстро сойдут в могилу. Я не спал в их коте, когда приходил ее навещать, стелил у костра. Земля пахла лисьей мочой, но это все же лучше, чем в вонючем и завшивленном чуме.

Я настолько ушел в свои мысли, что заметил посетителей, только когда залаяла Чалмо. Две женщины в черном пересекали двор, и сердце мое забилося. Торопливо спрятался – лег плашмя за невысокими, но густыми зелеными кустиками, которые учитель называл «картофель». Грабли спрятать не успел – а вдруг они обратят внимание и начнут искать, кто их оставил? Но нет – у них что-то другое на уме. Та, что впереди, – в годах, очень плотная, и одета странно: две кофты одна на другой, две юбки, платок на голове, накидка и еще черная шаль на плечах, такая толстая, что больше похожа на одеяло. Все закрыто, видна только рука, а в руке снежно-белый носовой платок. И что он значит, этот платок? Иногда она подносит его к глазам, будто вытирает слезы, или вдруг начинает размахивать, будто посылает какие-то сигналы или рисует в воздухе буквы. Я успел разглядеть и ц, и п, и z. Стремительные, тут же исчезающие белые буквы на унылой серой шерсти осеннего неба.

А за ней идет молодая девушка. Платок повязан так, что лица почти не видно, но я судорожно проглотил слюну и с трудом удержался, чтобы не вскочить, не побежать к ней и не дотронуться до ее локтя. Конечно же я узнал ее, но еще до того, как узнал, меня окатила волна жара. Закрытое лицо... ну и что? Походка, походка... да, это она: покачивающиеся бедра, словно несет молочный бидон, округлые плечи, наклон шеи, легкость в каждом движении. Легкость, которая поразила меня в самое сердце, когда она танцевала у художника. В ателье, как иногда называл флигель Нильса Густафа учитель. Или на танцах, когда мы были так близко друг от друга.

Но что-то было не так. По-другому. Что-то с ней случилось. Скованность, точно что-то на нее давит, как если бы шла против воли. А вторую, ту, что постарше, я никогда не видел – кто она? Мать? Я ведь даже не знаю, из какого села пришла Мария, знаю только, у кого на хуторе она работает. Наверное, мать: пожилая и ведет себя как

главная. У нее к просту какое-то важное дело, уж слишком решительно она шагает. И рисует в воздухе буквы, будто совершает какой-то ритуал. Что-то у них не так, видно сразу, они даже не смотрят друг на друга. В ссоре, что ли... Мария беспокойно оглядывается.

Как только они вошли в дом, я подошел к оставшейся приоткрытой входной двери. Тут еще витал их запах. Сена... это, наверное, от старшей, потому что Мария пахнет цветущей медуницей.

Они встали у двери в кухню, и я слышал, как прост затеял разговор про уборочные работы – наверное, чтобы посетительницы чувствовали себя посвободнее. Я бесшумно проскользнул в рабочий кабинет проста и осмотрелся – где бы спрятаться? Книжные полки, письменный стол, сундук и стол с десятками, если не сотнями гербариев. Поздно.

Все трое остановились в дверях и уставились на меня с удивлением. И я ничего лучше не придумал, как уткнуться в книгу.

– Извините, – пробормотал я.

Притворился, что меня застали врасплох.

– Юсси усердно занимается, как я вижу? – Прост произнес эти слова преувеличенно весело. Видно, его тоже тяготило мрачное настроение женщин.

– Не то чтобы... вдруг так захотелось почитать... – извинился я и встал.

– *Loca parallela plantarium*, – прочитал прост название книги и криво улыбнулся. – *Латынь трудновата, тебе не кажется?*

Я захлопнул книгу и посмотрел на обложку. Там стояло имя автора – Ларс Леви Лестадиус. Это была книга, написанная простым.

– Да... вообще-то... – промямлил я.

– Что ж, займемся латынью, – кивнул учитель. – Следующим предметом будет латынь.

Женщины не сводили с меня глаз. Мать прижала ко рту платок – видно, сдерживалась, чтобы не отпустить в мой адрес какую-нибудь насмешку. А умоляющий взгляд Марии был полон такого отчаяния, что я не выдержал и отвернулся.

– И что же вас привело ко мне? – Прост сел за письменный стол рядом с окном.

– Только не при шаманенке. – Мать Марии брезгливо мотнула головой в мою сторону.

Она отняла платок только на секунду, но я успел заметить: губы бледные и тонкие, как лезвия косы.

Мне внезапно стало очень душно. Воздух в комнате сгустился и потемнел, как вода в болоте. Я, ни слова не говоря, вышел и закрыл за собой дверь.

В кухне у плиты стояла Брита Кайса и коротким ножичком чистила репу и морковь для супа. В кастрюле уже жарился лук на только что сбитом масле, пахло одной хозяйке известными травами, нутряным жиром и уже забродившим в бадье квасом. От этих умопомрачительных запахов у меня даже закружилась голова.

– Срезанные цветы вянут быстро, – сказала она, многозначительно кивнув в сторону кабинета.

– Как это? – не понял я.

– Как это? – повторила Юханна, дочь проста, и, передразнивая меня, приложила руку к губам, зачирикала: – Как это так это, как это так это...

Я молча вышел во двор. В осеннем воздухе робко жужжали последние, самые стойкие комары. Никто не заметил, как я прокрался к торцу дома и сел под окном кабинета. Вытащил нож и притворился, что чищу ногти, подрезаю сморщенную и неопрятную кожицу. Ничего я, конечно, не чистил. Приложил ухо к бревенчатой стене. Слов не разобрать, но понять интонацию ничего не стоит. Старуха наконец-то отняла от губ платок и говорила не останавливаясь. Прост молчал. Потом, судя по возвышенному тону, предложил вместе помолиться, но время еще не настало. Голос Марии был почти не слышен, только в паузах, когда старуха переводила дыхание и набиралась сил для новой атаки.

Можно предположить, что они с дочерью стоят на лестнице, ведущей в пропасть, и каждая ступенька приближает их к геенне огненной. И прост не мешал излиниям. Пусть грешницы почувствуют едкую серную вонь, пусть до их ушей долетят сдавленные крики грешников, пусть увидят, как кровожадные черви пробуравливают их кожу, стараются добраться до сердца, что же еще нужно сатане? Конечно, сердце. Сердце – сердцевина человеческой души, душа растет от сердца, как дерево растет от сердцевины. Поэтому так и называется: сердце. И прост считал, что это хорошо, что так и должно быть, что грешники должны осознавать ужас содеянного, иначе о

раскаянии нечего и говорить. Надо пробить панцирь гордости, самоуправства и самодовольства.

И старуха не выдержала. Я услышал ее рев даже через толстые бревна, она редела басом, как мужик, и я разобрал слово, которое она повторила раз десять:

– Шлюха, шлюха, шлюха...

И опять, и опять, пока ее рев не перешел в бессмысленное рычание, прерванное громовым голосом проста:

– Изыди, сатана! Вон!

Мне показалось, что дом закачался, под ним что-то зашевелилось... не что-то, а голова гигантского шипящего дракона, готового вонзить метровые зубы во все живое. И тут же раздался другой голос, пронзительный и острый, как кинжал; крик ястреба – он бросился на пол и бил крыльями, а все три тела навалились на него, пытались удержать, и все комната схлопнулась, как книжная обложка, из окон пошел дым, отвратительно пахнуло горелыми птичьими перьями.

Рык смолк, и послышались всхлипывания. Я живо представил, как они молятся: все трое лежат на полу, прост призывает Бога, всевластного Бога, в чьей воле карать и прощать, в чьей воле одним щелчком ногтя низвергнуть их в преисподнюю, потому что грешница уже на самом краю. И спастись может только тот, кто обнажит свое сердце и доверчиво протянет пульсирующий мешочек Господу.

Твои грехи прощены. Именем и кровью Спасителя.

Таков ритуал. Я тут же отбросил мелькнувшую было мысль заглянуть в окно. Просто-напросто испугался картины, которую наверняка увижу.

Бревенчатая стена внезапно смолкла.

Я выглянул из-за угла – на дворе никого. Перебежал к крыльцу, сел и стал ждать. Становилось прохладно. Солнце зашло за лес, я смотрел на него через переплет ветвей. Иногда оно вспыхивало так, что в глазах внезапно расплывались багровые пятна. Интересно: если зажмуришься, они тут же меняют цвет – иногда делаются зелеными, а иногда волшебными фиолетовыми с ярко-желтой окантовкой.

Как долго они разговаривают... может, уже вышли в кухню поесть? Я привстал и заглянул в окно – Брита Кайса сидит у плиты одна. Тоже ждет, но руки работают, очищают высушенные травы от

стеблей. Удивительная женщина, я никогда не видел, чтобы она отдыхала. Хотя бы просто присела и посмотрела в окно. Нет, каждую минуту надо употребить в дело.

Но вот она встала и вытерла руки о передник. Наверняка услышала, как открылась дверь, и приготовилась задать традиционный вопрос: не хотят ли гости перекусить? И конечно, ни словом, ни жестом не покажет, что слышала вопли и завывания из кабинета, доносившиеся и до кухни.

На пороге показался прост – нет, посетители торопятся домой. Дверь открылась, и мимо меня проскочила мать. Ее отечное лицо пылало, вместо носового платка в руке был маленький кусок бумаги, наверняка со стола учителя, я видел у него такие, он писал на таких клочках подходящие слова из Библии для исповедующихся. Мария сзади – лицо спрятано в ладонях, спина вздрагивает от рыданий. Она оступилась и чуть не упала с крыльца. Я инстинктивно протянул руку, чтобы ее поддержать. Она увидела меня, вздрогнула и наклонилась ко мне так, что я почувствовал жар ее щек. Отняла руки от лица, и я поразился: глаза были совершенно сухими, но на скуле и вокруг правого глаза синяки. Кто-то ее бил. Она прижалась ко мне щекой и торопливо прошептала:

– Я пойду, куда ты захочешь, Юсси.

Старуха обернулась, но Мария уже ее догнала и шла рядом. Опять закрыла лицо ладонями. Они вышли на деревенскую дорогу и вскоре скрылись из виду.

А я по-прежнему чувствовал запах ее волос. *Filipendia ulmaria*. Таволга, но это в книгах, у нас ее называют лосиной травкой или медуницей. Лук. И еще что-то похожее на серу. Меня качнуло, и я оперся на перила.

Пойду, куда ты захочешь.

И ее щека, прижатая к моей. Навсегда.

Сельма позвала ужинать. Я поторопился отказаться – у меня что-то с животом, тошнит, есть неохота... что-то в этом роде. Пошел в коровник и долго там стоял, глотал слюну и не мог прийти в себя.

Коров только что подоили, они ласково смотрели на меня огромными выразительными глазами, ни на секунду не переставая жевать. Я погладил их твердые костистые лбы, потрогал шишечки рогов, в который раз подивился детской нежности шкуры, когда гладишь по шерсти. Одна из коров, не сводя с меня взгляда, подняла хвост – и на сено шлепнулась большая лепешка. Острый и приятный запах. Собрал дымящуюся лепешку совком и кинул в канаву для удобрений. Все травинки, стебли, цветы и листья, всё, что непрерывно жуют коровы, превращается в молоко и навоз. Навоз сбрасывают в канаву, а молоко подают к столу в красивых кувшинах. Всё как у людей. Одному место в канаве, другому – за праздничным столом.

Во дворе чьи-то шаги – я знал, что это Юханна вынесла помои. Значит, вечерняя трапеза закончена. Я подождал еще немного. Прост обычно после ужина садился поработать – ответить на письма и просмотреть расходную книгу. Ужин и предстоящий отдых приводят его в хорошее настроение, и ему захочется с кем-то поделиться – все-таки сегодняшний визит был не совсем обычным, наверняка мать и дочь не выходят у него из головы. Хриплые выкрики матери, упрямое молчание дочери...

Я решился и пошел в дом. Ночи уже холодные, и Брита Кайса подложила дров – печь большая, с умом сложенная, тепла хватит надолго. Она меня даже не заметила – я, как тень, проскользнул к кабинету. Дверь немного приоткрыта, слегка потянул ее на себя и прислушался. Странная тишина. Ни скрипа пера, ни шороха перебираемых бумаг.

Учитель положил голову на стол и не двигался. Меня окатила волна ужаса – я решил, что он нас покинул. Головной удар, кровотечение... гора закачалась и рухнула.

Но нет... слава Господу, нет. Он молится. Пристальный, ни на что не устремленный взгляд прищуренных глаз. Он смотрит в иной мир.

Тихо подошел и встал на колени, не решаясь его беспокоить. Из рта проста прямо на лист бумаги капала коричневая табачная слюна. Казалось, он хочет поднять руку, но тело его оставалось неподвижным. Как будто спит. Или, как зайчонок, неподвижно висит в огромных и беспощадных когтях орла. И взгляд... взгляд – словно знает свою горькую судьбу. Обреченный.

Я ждал. Что мне еще было делать? Взял книгу, начал читать, но ничего не понял. Колени болели – на полу не было ни ковра, ни шкуры. Голые твердые половицы. Переменил положение, постарался, чтобы вышло незаметно, и посмотрел в окно. Солнце село. Мы погружались в медленно густеющие чернила осенней ночи.

Внезапно по спине просто прокатилась судорога, он резко выпрямился и, по-прежнему глядя в никуда, откинулся на спинку стула.

– Ага... вот кто это. Юсси.

Я-то думал, он меня не замечает. Я немного испугался и встал с колен. Вид у учителя был такой, будто он только что проснулся. Но через мгновение прост улыбнулся обычной кривоватой, чуть насмешливой улыбкой.

– Ну и что тебе удалось разобрать, Юсси, пока ты там подслушивал?

У меня кровь отхлынула от лица. Так часто говорят про других, но я и вправду почувствовал, как леденеют щеки.

– Ни... ничего, учитель. Я не подслушивал.

– Да? А кто же там сидел под окном? Трава примята. К тому же ты кое-что потерял.

Я инстинктивно схватился за пояс. Нож на месте. Что еще мне терять?

– Учитель ошибается, – соврал я немного смелее.

Он поднял руку и несильно дернул меня за волосы. Другой рукой взял что-то со стола.

– Смотри. Несколько волосков застряли в щели между бревнами. Длина и цвет совпадают.

– Простите, учитель, – прошептал я.

Прост бросил предательские волоски на пол.

– И что Юсси удалось понять?

– Простите меня, пожалуйста.

Прост отмахнулся.

– Скажи, что ты слышал.

– Шлюха... – неуверенно прошептал я. – Только одно слово. Старуха так кричала, что, наверное, и в коровнике было слышно. Она кричала Марии, что та шлюха.

– А это так? Она шлюха?

– Мария? Что вы, учитель. Никогда. Только не Мария.

– Юсси влюблен...

– Этого я не знаю.

– Ведь ты именно поэтому подслушивал. Разве я не прав? У Юсси, как мне кажется, нет такой привычки – подслушивать под окном, когда люди приходят исповедаться?

– Нет-нет, учитель... что вы...

– Тогда спрошу прямо. Ты был близок с Марией?

– Я... я с ней танцевал.

– Я имею в виду плотскую близость. Если это так, я должен знать.

Голова опять закружилась – на этот раз от безумной пляски мыслей. Я вспомнил ее внезапный приступ рвоты.

– Я... ничего бы так не желал, как быть с ней.

– И что же тебе мешало?

Что ответить на такой вопрос? Если бы я решился ее спросить... Если бы она позволила мне донести ее ведро...

Прост раскурил свою любимую трубку. Огромную. Чашка величиной с голову ребенка. Пыхнул несколько раз и с писком выпустил дым через ноздри.

– Ты должен рассуждать разумно, Юсси. Мария – вовсе не то, что ты думаешь.

– Как – не то? Что учитель имеет в виду?

– Я обязан хранить тайну исповеди. Это мой долг. Но я очень взволнован, Юсси. А вернее сказать – напуган.

– Вы боитесь за Марию?

Пойду, куда захочешь. Куда захочешь, Юсси. Пока смерть не разлучит нас...

Прост опять прищурился. Я не выдержал его взгляд и посмотрел в окно. Стало совсем темно, все небо заволочло тяжелыми свинцовыми облаками. Скоро начнется дождь.

Учитель так и не ответил. Провел рукой по лицу, будто снял невидимую паутину, и сменил положение. Стул под ним крякнул. Дрожащей рукой зажег настольную масляную лампу. Я смотрел на его профиль, четко выделившийся на фоне светлого ореола лампы. Большой нос, бугристый, как его любимый картофель. Этот нос унаследовали почти все его дети, даже девочки.

– Вот и осень, – пробормотал он. – Холодная осень после кошмарного лета.

– Да... лето было – не позавидуешь.

– Вечная память Хильде и Юлине. И, конечно, Нильсу Густафу. И еще ты, Юсси, с этой твоей историей. Неужели я не мог все это предотвратить?

– Учитель и так сделал все что мог.

– Неужели я не мог угадать присутствие дьявола чуть раньше? И, как священник... разве не я должен быть первым и разоблачить нечистую силу?

– Уловки сатаны неисповедимы, как и пути Господни.

– Это правда.

– Он ищет наши слабости и находит.

– В том-то и беда, – кивнул прост. Я бы сказал, одобрительно кивнул, если бы лицо его не было таким печальным. – Тут дело во внутреннем устройстве человека. В психологии. У меня тоже есть слабости, каким бы сильным я себя ни воображал. В любой осажденной крепости есть какая-нибудь забытая бойница, ворота, которые упустили запереть на второй засов, окно в погреб... Хозяин пирует, а враг уже здесь, рядом, дожидается ночи.

– Мы всего лишь люди, учитель.

– Да, люди... но в каком смысле? Что делает, к примеру, меня человеком? Где мой слабый пункт? Вот о чем я думаю...

Он выпустил огромный клуб сизого дыма и протянул трубку мне, но я отрицательно покачал головой.

– Гордыня, – сказал он сухо. – Моя чертова гордыня.

Я вздрогнул. Прост никогда не употреблял таких слов. Он снял с губ табачные крошки и вытер руку о штаны.

– Гордыня есть у нас у всех... – еле слышно утешил я учителя.

– Представь: я вообразил, как мой портрет висит в ризнице. Первый из множества портретов настоятелей, которые займут мой пост после моего ухода. Что я буду висеть там, как Авраам, родоначальник всех будущих жителей Пайалы.

Он печально усмехнулся, показав желтые, прокуренные зубы.

– Убийцу Нильса Густафа обязательно поймают.

– Боюсь, ты ошибаешься... – Он задумался ненадолго и добавил: – Боюсь, что будет еще хуже.

– Хуже?

– Подумай, Юсси... а что, если все страдания вызваны нашим движением? Борьбой за духовное пробуждение нашего народа? Наши силы велики, мы многого добились, но ведь никто не опроверг законы физики: сила противодействия всегда пропорциональна силе действия... иногда, возможно, и больше.

Я смотрел на него с ужасом. Он даже выглядел необычно. Глаза ушли глубоко в глазницы, расширенные, серо-черные, без блеска, зрачки точно вырезаны из нашей бедной земли... эти глаза видели все. Почему-то я представил учителя в гробу, а я стою рядом и жму его ледяные пальцы. С трудом стряхнул видение, но тяжелое чувство осталось.

– Никуда не выходи из дома, Юсси, – серьезно сказал прост. Даже понизил голос. – Кончай рыскать по окрестностям. Боюсь, дело идет к шторму.

Ночь тянулась и тянулась, как дурной сон. Рассвет подкрался незаметно, над лугом медленно, как привидения, покачивались последние предутренние туманы. Моя возлюбленная вышла на крыльцо и двинулась в коровник. Я сразу заметил: что-то в ней опять изменилось. Тяжелые шаги, а когда подкрался поближе, увидел, что лицо опухло, будто она всю ночь прорыдала. Я опередил ее, подбежал, открыл заскрипевшие ворота и нырнул в коровник, чтобы меня не увидели из окна хозяйского дома. Она смотрела на меня как на призрак. Сильно и сладко пахло скотиной, в коровнике было очень тепло – огромные тела животных согревают воздух так, что можно почувствовать даже снаружи. Топчутся в своих стойлах, грузно толкаются в перегородки: заметили чужака. Или просто с нетерпением ждут, когда ловкие и нежные пальцы коснутся огромного, со вздутыми сосудами, вымени.

– Мария... – прошептал я, прикрыв мой безобразный беззубый рот.

Она отвела глаза. Я коснулся ее локтя своим. Внезапно она вздрогнула и обвила меня руками, и я вскрикнул от боли в сломанных

ребрах.

– Ты все-таки пришел, – прошептала она.

– Я ждал тебя всю ночь.

– Зачем?

Меня смутил этот простой вопрос. Как на него ответить?

– Ну... ты сказала... и я тоже. Я пойду с тобой, Мария. Пойду, куда ты захочешь.

– Юсси, Юсси... ты не понимаешь.

– Я... я могу сказать, что ребенок мой.

Она оттолкнула меня и уставилась, будто и вправду на призрак.

– Откуда... откуда ты знаешь?

– Я могу жениться на тебе, – без выдоха прошепел я.

Но она смотрит на мой рот... конечно, она смотрит на мой рот. На мой беззубый рот.

– На шлюшке?

– Никакая ты не шлюшка.

– Он обещал... он обещал, что мы поженимся.

– Кто?

– Теперь уже неважно.

– Я могу жениться, – повторил я. – Не только могу... я хочу на тебе жениться, Мария.

Она обняла меня – на этот раз осторожно. Ее щека прижалась к моей, все еще цветущей безобразными синяками. Я боялся пошевелиться.

– И куда мы пойдём?

– На север. В Норвегию.

– В Норвегию? Когда?

– Хоть сейчас.

– Сейчас? Ты с ума сошел...

– Тогда вечером. Ты подоишь, потом притворишься, что пошла спать. Когда все на хуторе уснут, я буду ждать тебя здесь.

– Сегодня вечером?

– Мы можем идти всю ночь. Тогда нас никто не догонит.

– Но, Юсси... на тебе живого места нет! Ты же весь избит...

– С тобой я готов идти хоть в Землю ханаанскую.

– То есть ты и я...

– В Вифлеем, если понадобится.

Она разняла руки и встряхнула головой, словно хотела избавиться от наваждения. Сглотнула слюну и молча кивнула.

– Ночью... – повторила она и ласково погладила меня по шее.

И потянулась за стертой до блеска трехногой доильной табуреткой.

Я поспешил вернуться в пасторскую усадьбу. Кожа еще чувствовала тепло ее прикосновения, запах медуницы кружил голову. Село уже просыпалось, появились первые дымки из-под крыш курных домишек, кое-где гремели посудой. Я забежал в поленницу и сел на колоду. Отломил кусок белой бересты, выровнял ножом края и достал из кармана карандаш.

«Я – человек». Я старался писать как можно более мелкими буквами, чтобы уместилось побольше.

«Я пришел с гор. Там было очень плохо. Моя сестра осталась там...»

Писать в полутьме было трудно. Я вытер ладонью лоб и прислушался.

Шаги.

Я торопливо спрятал бересту под рубаху. Шероховатый и острый кусок коры уже лежал на груди, когда дверь открылась.

Брита Кайса. Ойкнула, но тут же узнала.

– А-а-а... это ты, Юсси.

Я подтвердил кивком – дескать, конечно, я, кто же еще – и начал накладывать в согнутую руку поленья.

– Вот и хорошо. Отнеси в дом. Каша уже готова, поешь, если голоден.

Я послушно понес дрова в кухню.

Путешествие началось. Сделан первый шаг на очень долгой дороге. Дороге, которая в один прекрасный день станет книгой.

Брита Кайса вернулась. Я успел переложить кашу в берестяной кузовок и сделал вид, что жую, – все, мол, доел, очень вкусно. Туда же, в кузовок, сложил куски вяленой рыбы, твердые, как подошвы, их надо долго размачивать в воде, иначе не управиться. Если экономить, хватит

на пару дней, а может, и на три. Дальше посмотрим. Что еще надо взять? Огниво, клубок бечевки. Вырежу хворостину для удилица, привяжу бечевку, к бечевке – можжевелевую колючку. Известный способ: насаживаешь на колючку червя, а когда рыба клюет, колючка встает поперек. Остается только правильно подсечь и зажарить на углях. Мешочка соли хватит надолго, а в Норвегии соли как песка. Заморозки еще не пришли, в лесу полно ягод, клюквы и морошки на болотах – есть не хочу. Старое одеяло. Сам-то я могу спать в одежде, но Марии нельзя простыть. Я представил: вот сижу и ворошу угли в костре, подбрасываю хворост, а Мария спит. И я смотрю, как отблески костра играют на ее покрасневшихся от тепла щеках. Само собой, нас будут искать, надо быть осторожными. Придумать другие имена и говорить, что идем к родственникам на побережье Северного океана.

Торбу я спрятал в коровнике – приставил лестницу, залез на сеновал и забросал сеном. После этого обработал раны, которые еще не успели зажить. Днем они выглядели куда безобразней, кое-где сочился гной, и я все время морщился и стонал. Приложил собранную паутину, как учили лапландские старухи, поплевал сверху и привязал подорожник. Если нагноение продолжается, надо прижечь ранку раскаленным на костре ножом. Я не мог удержаться – все время трогал языком обломки зубов. И между ног... лучше, но до хорошего далеко. Времени нет...

Наверняка решат, что мы двинулись на юг, там и будут искать. А мы пойдем на север. Навстречу морозам.

Теперь надо поспать. Собраться с силами.

Через несколько часов... всего через несколько часов я возьму ее за руку и никогда больше не отпущу.

Пришел вечер. Усадьба понемногу затихала. Я изо всех сил старался не показать захлестывающего меня возбуждения, вымыл, как обычно, у колодца лицо и улегся на матрас на полу – сделал вид, что сплю. Напряженно вслушивался в последние звуки отходящей ко сну усадьбы. Вот прост прочитал вечернюю молитву. Погасили последнюю свечу... нет, еще рано. Полежал еще, дождался, пока из

комнат послышится храп и ровное дыхание спящих девочек. Тихо встал, зажал кенги^[27] под мышкой и на цыпочках подошел к двери. Чалмо решила, что я пошел по нужде. Поднялась, лениво вильнула хвостом, потянулась и зевнула так, что в темноте фосфорически блеснули белые клыки. С удовольствием чихнула и вновь свернулась клубком на своей подстилке у двери. Я перебежал, крадучись, к коровнику, достал с сеновала торбу, стряхнул налипшее сено и вышел на сельскую дорогу. Растворился в темноте, будто меня никогда не существовало.

Небо над головой было ясным и серым от звезд. Ни единого облачка. Над горизонтом яркий полумесяц, как указующая путь Вифлеемская звезда. Я старался не оступаться на ухабах – каждое неловкое движение причиняло сильную боль. Но все равно шел довольно быстро, сгорая от нетерпения, – каждый шаг приближал меня к моей возлюбленной. Мы будем идти всю ночь, бок о бок. Мы будем идти до самого утра и лишь на рассвете приляжем рядом на сухой хвое под елью. Мне все еще не верилось, что такое возможно.

А вот и хутор, где она работает. Я остановился на обычном месте на опушке. Ближе не подходил – а вдруг какой-нибудь псине придет в голову залаять?

Во дворе никого нет. А может, она уже вышла и прячется где-то в тени? Я лег на траву, уже влажную от ночной росы, и слегка приподнял голову, как кот, наблюдающий за присевшей на ветку птицей. Окна в доме темные, ни одной свечи. И настолько тихо, что сама тишина представляется вибрирующим и пульсирующим звуком, но это, конечно, моя собственная кровь шумит в ушах.

Надо ждать. На траве сыро, я поднялся и сел поудобнее, с торбой за спиной. Кривой месяц медленно плыл над горизонтом. Только сейчас я сообразил, что это никакая не кровь в ушах, а далекий шум порога. И он и в самом деле пульсировал – то чуть громче, то потише, как дыхание спящего великана. А вот что-то прошуршало – какой-то зверек пробирается сквозь кустарник. И остановился – наверняка учуял запах человека. Я поднес тыльную сторону ладони к губам и особым образом втянул воздух, получился тихий мышинный писк. Старый трюк сработал: из кустов любопытно выглянул лисенок. Увидел меня, вытаращил глаза и мгновенно исчез в темноте.

Но вот приоткрылась наружная дверь, кто-то вышел во двор и остановился у крыльца. В темноте я не различил, кто это, и крикнуть не решился. Вместо этого подкрался поближе – вроде бы женщина. Сердце забилось. Женщина несколько раз огляделась, будто бы в сомнении. Наверняка Мария. Кто же еще? Может быть, свистнуть? А вдруг кто-то проснется?

Она не двигалась с места. Потом что-то прошептала. Что? Мое имя? Повернулась и заспешила назад в дом. Нет. Не в дом. К коровнику. Открыла ворота и исчезла в темноте. Я выждал – а вдруг ее кто-то преследует?

Все тихо. Я глубоко вдохнул, будто собрался нырять, и перебежал к коровнику. Последний раз огляделся. Тишина. В доме темно. Взялся за ручку и открыл дверь.

Она стоит на пороге. Я смутно различаю в темноте ее фигуру.

– Любимая... Сердце мое...

И она обвила меня руками. Но руки эти были твердыми и жилистыми, и объятие было таким крепким, что я застонал от боли.

– Я его взял!

Мужской голос, мужской запах. Я попытался вывернуться и проскреб лицом по плохо выбритой щеке. Ворота коровника опять закрипели, послышались тяжелые шаги, и я увидел, как трепещущий свет фонаря начал рыскать по стенам. Меня швырнули на пол и заломили руки назад так, что я закричал от боли.

– Мы взяли этого мерзавца!

Уж этот-то голос я узнал. Исправник Браге. За его спиной чуть не все обитатели хутора. И хозяин, и оба сына, вооруженные топорами. А тот, кто меня схватил, в юбке и кофте Марии, – секретарь Михельссон. Он выкручивал и выкручивал руки, пока я не задохнулся от боли. На губах его играла улыбка победителя.

– Юсси. Юсси, вот ты и вляпался в дерьмо.

Он надел на меня наручники. И снял с пояса мой нож.

– Ты задержан, Юсси, – объявил исправник, не скрывая радости. – Наконец-то мы взяли насильника и убийцу.

– Подготовьте телегу! – крикнул Михельссон.

Хозяин побежал запрягать. Старший сын подошел поближе, угрожающе помахивая топором.

– *Voi saatanan... voi saatanan piri...* – повторял он раз за разом.

Ударил меня ногой в плечо и плюнул в лицо.

После этого мне вывернули руки еще сильнее. Я закричал от боли и почти потерял сознание.

Эта ночь будет долгой.

IV

*Пастор упрямо
Читает молитву,
Думает с дьяволом
Выиграть битву.*

*Грешник и праведник,
Вор и святой,
Все мы равны
В молитве простой.*

*Милостив Бог наш,
Иисус на кресте,
Все мы спасемся –
И эти, и те.*

Это мой народ. Люди севера – мой народ.

Это для них я проповедаю. Их так мало, они так разбросаны... Житель города подобен якорю, человек севера подобен ветру. Он ничего не весит. Он двигается бесшумно и незаметно. Если взять щепотку письменного песка и бросить в воздух, он исчезает. Он не исчезает, конечно, он где-то есть, но найти его невозможно. Таковы и люди севера. Они собираются вместе только при благоприятном стоянии планет. Ход лосося, к примеру. Ягода созрела в лесу. Начались любовные игры глухарей на лесных полянах или гнездование морских птиц. Только тогда они, люди севера, собираются вместе. Берут излишки и вновь расходятся по своим делам. Они живут в лесу, и жилище дает им лес. Скелет леса и сердце леса. Шкуры лесных зверей и стволы деревьев. Камни. Жители севера кладут камни в костер. Костер давно погас, но они, эти раскаленные камни, еще долго

согревают усталые тела. Они бродят по заболоченной тундре, сплавляются по порожистым рекам, бегают на лыжах быстрее, чем конные повозки. Они не расстаются со своими ножами, со своими вырезанными из березовых чурбаков ковшами. И с тысячелетним знанием – как пережить зиму. Они знают, что такое смерть. Они знают: прекратить движение – значит умереть. Они знают: маленькая ранка, сломанная нога, внезапный кашель могут стать знаком прощания. Они понимают скорбь. Они знают, что на каждого живого приходится десять мертвых, что каждого ребенка поджидает двадцать смертей, что худые дети самые живучие. Они знают, что такое счастье: тяжелая от рыбы выбранная сеть; лукошко, полное ягод; хорошо выделанная оленья шкура; писк только что родившегося щенка; мозговая кость. И они знают, что такое любовь. Лежать у костра спиной к ночному мраку, прижаться друг к другу и переждать, переждать эту бесконечную зиму. Любовь – лучший способ согреться, а главное – сохранить тепло.

Как-то раз, еще когда я служил в Каресуандо, ко мне явились два энергичных господина и попросили помочь раздобыть черепа лапландцев. Они были молоды и честолюбивы, их сюртуки выглядели почти новыми, хотя они и проделали немалый путь. Возможно, в их сундуках, которые, пыхтя, внесли носильщики, было несколько смен одежды.

Доцент, несмотря на молодость, носил очки, а руки у него были, как у женщины из благородных – гладкие, безволосые, с узкими заостренными пальцами. Во время научной работы в Копенгагенском университете ему приходилось иметь дело с черепами негроидов, сказал он. Своими руками он пощупал их выступающие надбровные дуги, широкие и плоские носовые кости. Все размеры и пропорции тщательно записаны в журналах, но ему не хватает материала для сравнительной анатомии. Возможно, жители Лапландии в какой-то степени относятся к черной расе? Откуда тогда часто встречающаяся у лапландцев темная, пигментированная кожа?

Его ассистент был постарше, с блестящей лысиной и скрипучим голосом. Он говорил очень убедительно и непрерывно двигал рукой, будто крутил ручку старой, заржавевшей шарманки. Оказывается, ему однажды удалось отмыть лапландского ребенка, подкупив его леденцами, и под толстым слоем жира и копоти обнаружилась темная, почти африканская окраска кожи.

Я спросил, не подумал ли он вот о чем: саамские дети почти всю жизнь проводят на воздухе, а не в душных классах, и кожа у них темная от загара. Ученые долго смотрели на меня пристально, пытались понять, не шучу ли я, и решили, что да, шучу. После чего оба рассмеялись особым академическим образом, не разжимая рта.

Вот так. Лапландские черепа. Они просто сгорали от желания их заполучить. Разумеется, моя помощь, хотя она и неоченима, будет вознаграждена с приличествующей щедростью. Может быть, есть какие-то захоронения, скажем, несчастный случай или что-то... то есть что-то произошло, и неудачника похоронили прямо там, где его настигла смерть? Я, как мог, объяснил – с тех пор как в Швеции принято христианство, лапландцев хоронят так же, как и всех остальных, – на церковных погостах. Мой ответ их заметно разочаровал; мало того, они попросту впали в уныние. А может, были случаи, когда кого-то из лапландцев растерзали дикие звери и тело несчастного невозможно опознать? Что я мог им ответить? Конечно, случаи нападения медведей или волков бывали, и тело тогда опознать действительно трудно, но почти всегда удается найти родственников. Или знакомых, которые опознают одежду. Или что-то из принадлежащих погибшему вещей. И останки хоронят на кладбище в могилах родных.

А преступники? Ведь даже среди лапландцев встречаются убийцы и насильники, те, кто совершил преступление, караемое смертной казнью? Может быть, поговорить с палачом, попросить сообщить, когда очередной негодяй положит голову на плаху? И получить разрешение властей на использование тела... даже не всего тела, а только головы – на благо науки?

Что я мог на это ответить? Сказал, что их спрос на убийц и насильников заметно превышает предложение. На моей памяти не было случая, чтобы кого-то из саамов судили за убийство или насилие. Предложил им самим обратиться к судебным инстанциям. И не забудьте, сказал я, обеспечить надежный транспорт для искомой части тела. Ящик с солью, к примеру.

Но ученые не сдавались. Они даже пошли на похороны. Гроб, по саамскому обычаю, стоял открытым, и столичные господа приблизились и почтительно поклонились, взволнованно отметив, что покойный представляет истинно лапландский тип. Старый оленивод

окончил кочевую жизнь и теперь лежал в гробу в парадном народном костюме. Я видел, как они подошли к вдове, стоявшей у гроба с детьми и родственниками. Доцент взял ее за руку, к чему она была вовсе не привычна. Она, судя по ее удивленному взгляду, не очень-то и поняла их витиеватые соболезнования, которые с сомнительной точностью перевел пономарь. Не знаю, что они собирались делать дальше, но внезапно ученые обнаружили, что их окружила целая толпа недоумевающих родственников, и почли за благо ретироваться.

Разочарованию их не было предела. Я, чтобы их утешить, помогал им собирать различные артефакты. Предметы лапландского обихода из оленьего рога или карельской березы. Подробно рассказывал о предшествующей христианству лапландской мифологии, во многом сохранившейся в народном сознании. Откуда-то они узнали место, где был жертвенник, и начали его так неумело раскапывать, что наверняка навлекли бы на себя гнев археологов. Что они хотели там найти? Может быть, серебро? Вряд ли. Лапландские жертвоприношения – это олени рога и связанные гирляндой олени копыта.

В конце концов я проводил их на заброшенное кладбище в Марккине. Церковь давно снесли, но погост еще угадывался. Не могу описать энтузиазм, охвативший копенгагенских антропологов, когда они сообразили, куда я их привел. Чуть не дрожа от возбуждения, схватились за лопаты. То и дело бросая настороженные взгляды, не следит ли за ними кто-то непрошенный, они побегали по кладбищу, выбрали почти уже неразличимый холмик с просевшей землей и начали копать. Очень быстро наткнулись на гнилые доски. Отбросили лопаты и принялись раскидывать землю руками. Это был не гроб, а саамские сани, и в них лежал труп низкорослого мужчины. На спине, со сложенными, как для молитвы, руками. Сани, одежда из оленьих шкур – несомненно, кочевник. Они быстро расширили яму, спрыгнули вниз, достали щетки и маленькие лопатки, расчистили землю, откинули покрывавшую голову шкуру и ахнули от восторга.

Это был хорошо сохранившийся экземпляр. Мягкие ткани, естественно, подверглись декомпозиции, как и глазные яблоки. Но кожа сохранена, даже брови. Нижняя челюсть отвалилась, обнажив полный комплект здоровых зубов – значит, умер в сравнительно молодом возрасте. Искусно скроенная и сшитая саамская традиционная шапка. Ученые попытались ее снять, чтобы оценить

сохранность черепа, но шапка почему-то сидела очень плотно, и пришлось повозиться. К их восторгу, никаких повреждений или деформаций от многолетнего давления земли не обнаружилось. Одним словом, тело было в превосходном состоянии, что вызвало немало проблем с отделением головы. Если бы у них не было с собой топорика, высохшие, но из-за этого только прибавившие в прочности мощные связки вряд ли удалось бы пересечь. Из могилы поднимался тяжелый запах. Я отошел подальше и там ждал, пока они закончат работу. Голову положили в толстый мешок и снабдили надписью, как и деревянный ковш, и некоторые другие найденные в могиле предметы.

Я спустился к реке, вымыл руки, набрал в ладони воды, смочил голову, провел руками ото лба к затылку – мне показалось, что моя голова сидит не так уж прочно. Отпусти я руки, и она рухнет на землю.

Когда вернулся, они уже раскапывали другую могилу – рассчитывали найти труп женщины. Если им повезет, сказали они, в их руках окажется бесценный материал для сравнительной анатомии.

А я вдруг подумал про Судный день. День, когда Иисус разбудит всех нас, день, о котором я так часто рассказывал в своих проповедях. И представил картину: открываются могилы и безголовые тела пускаются в долгое путешествие в Упсалу или Копенгаген за утраченными головами.

Мы вернулись домой, и они, как и обещали, заплатили за помощь щедрое вознаграждение: тридцать сребреников. Все они пошли на нужды общины.

Они приходят и сюда, в Кенгис. Всегда мужчины. Север не дает им покоя. Они должны погреться под полуночным солнцем, насладиться роскошными видами, повстречаться с экзотическими зверями – рысь, россомаха... Их привлекает рокот бубнов и йойки. Они хотят услышать охотничьи рассказы про схватки с медведями один на один, когда у победителя нет ничего, кроме самодельного копья. Про осаждающие деревни стаи волков. А по вечерам пить коньяк с заводчиками и местной властью и заманивать молоденьких служанок в баню. Норрланд для них нечто вроде Индии. Они приезжают, чтобы осмотреть отвесные скалы Нордкапа, считающегося концом мира, живописцы пишут драматические полотна, которыми потом восхищаются в парижских и лондонских салонах. Они приезжают, чтобы делать удивительные открытия, и желательно, чтобы эти

открытия не валялись с неба, а доставались им как трофеей героической борьбы с негостеприимным и грозным севером. Для них Норрланд не существовал, пока они сами сюда не приехали. Люди здесь – не совсем люди. Ну хорошо, люди, но не такие, как они сами. Они охотно карабкаются на самые высокие горы с секстантами, барометрами, биноклями, подзорными трубами и целыми лабораториями. Потом пишут диссертации на латыни или книги, которые издаются на дорогой бумаге и с великолепными иллюстрациями.

Они бесконечно ссорятся между собой, не могут договориться, кто из них был первым там-то и там-то, кто совершил больше важнейших открытий, кто забрел дальше, кто поднялся выше. Но никогда они не спорят, кто нес тяжелее, чья ноша была самой неподъемной, – какая разница, в чем тут подвиг, если сундуки за тобой таскают местные носильщики. Малорослые молчаливые люди без имени, они безропотно сгибаются под тяжестью сундуков и ящиков с инструментами, приборами, запасами провизии, бесчисленными бутылками с пуншем. Они волокут их, эти сундуки, преодолевая боль в спине, усталость, болезни, волокут, чтобы где-нибудь на берегу Северного океана получить за свои труды ничтожное вознаграждение.

Величие и дикость севера – вот что ищут эти путешественники. Горы с полезными ископаемыми, головокружительные водопады, захватывающие дух пейзажи – все, чтобы восхитить научное окружение и получить из рук короля заветную медаль. А жизнь населяющих этот величественный и дикий север людей их не интересует. Чудовищная детская смертность, чахотка, безнадежные попытки земледелия, голод, протянутые руки нищих. И конечно, алкоголь, этот змеиный яд, сжигающий дотла семьи и оставляющий за собой пустые чумы и бесчисленное количество сирот.

А разве я сам – не один из них? Со своими коллекциями минералов и торфяников, с бесчисленными гербариями, с кропотливыми изысканиями? Что ж, надо признаться – и я одержим дьяволом честолюбия. Заметить необычное растение, а потом проверить все каталоги и описания и понять: ты открыл нечто новое, увидел и описал то, что никогда и никто из великих ботаников и натуралистов не видел и не описывал. Ты – первый. Это чувство

первооткрывателя способно любого превратить в раба низменных страстей.

Но есть кое-что, что отличает меня от этих господ. Я свой. Я родился и вырос здесь, в горах на севере. Моя мать из саамов, в моих жилах бежит саамская кровь. Когда я умру, тело мое похоронят здесь же, в этой бедной земле. Это мой народ, мой край, мой последний дом.

Мне пятьдесят два. Осень жизни. Старость подкрадывается внезапно и незаметно. Морщины вокруг глаз. Мне всегда хватало одной сальной свечи для чтения, теперь же и двух маловато. В молодости я мог съесть столько, что живот становился похожим на парус при штормовом попутном ветре, а теперь наедаюсь мгновенно, а кишечник отпускает содержимое на волю весьма неохотно, через два дня на третий. Руки, которыми я мог изобразить с похвальной точностью каждую прожилку на листе, начинают дрожать, едва я макаю перо в чернила. Появилась сутулость – дети утверждают, что я хожу, сгорбившись, как против ветра, хотя я этого не замечаю, мне-то кажется, держусь прямо. Иногда не могу найти нужное слово, иногда останавливаюсь и лихорадочно ищу в памяти имя того или иного прихожанина; совершенно точно знаю, как его зовут, а вспомнить не могу. Работа, даже несложная, которую еще пару лет назад я мог закончить за два-три часа, теперь требует целого дня. Жизнь идет на убыль, скоро и я обращусь в прах. Но... как же все-таки она коротка! Еще недавно я чуть не бегал по болотам в Вестерботтене с ботанизированной, битком набитой редкими видами. Передо мной была открыта вечность, гостеприимно предлагающая все новые и новые дары. Я был не женат, честолюбив, у меня еще не было детей. По вечерам приходилось загонять себя в постель, но мои ноги продолжали идти и во сне. И думал я тогда только о себе. О предстоящих победах – у меня не было никаких сомнений, что они не за горами. О сладости восхвалений, которые будут звучать со всех кафедр во всех университетах. О признании моих побед.

И да, успехов я достиг. Но успехов совсем не того свойства. Академические звания присвоили другим, более гибким претендентам.

А мне досталась иная участь. Трогать души человеческие и врачевать разбитые сердца.

А потом я очутился в пустыне. Двадцати восьми лет от роду я держал на руках мертвую дочку. Эмма Мария, она не прожила и недели. Крошечное тельце было еще теплым, белки полузакрытых глаза светились, будто там, в головке, горела последняя в ее жизни свеча. Мы сидели молча, Брита Кайса и я. Душа покинула нашу девочку. О, как трудно в такие моменты сохранять веру... Наша дочь, зачатая в грехе, когда мы еще не были обвенчаны, – здоровая, крепкая девочка. А Эмма Мария, самая невинная из нас, не успевшая согрешить ни в словах, ни в поступках, ни даже в мыслях, покинула этот мир.

Да я чувствовал и сам: неумолимый молот смерти все ближе. Годом раньше умер от чахотки мой брат, Петрус. И меня тоже трепали лихорадка и такой кашель, что сомнений не оставалось: чахотка. Я был убежден: дни мои сочтены, а я прожил пустую, суетную и бесполезную жизнь. Я не воспользовался дарованными мне способностями, посвятил все отпущенное мне время служению дьяволу тщеславия, пренебрег духовным развитием. Как легко застрять в сладком болоте жизни, хлопать приятелей и соперников по фрачным спинам и ни о чем так не мечтать, ни о чем не думать, кроме как об очередном лавровом венке или очередной медали... И нет этому конца, честолюбие требует еще и еще. Как легко мне было поддаться на соблазн и стать одним из этих собирателей видов, не покидающих место у камина ботаников, чья жизнь ограничена единственной мечтой – быть упомянутым в ботанических анналах.

Не сразу, но течение моей болезни переменилось к лучшему. Через несколько месяцев силы начали понемногу восстанавливаться, я встал с постели. Окреп, но радости мне это не принесло. Мир казался серым и безнадежным, меня одолевали мрачные мысли. В руки попала книга Карла Нордблада «Учебник разумной жизни для обычного человека». Он настоятельно предписывал ежедневные часовые прогулки, и я последовал этому рецепту. Каждый день по нескольку раз обходил вокруг церкви, круг за кругом. В конце концов образовалась тропа, которую можно было смело называть моим именем, – окружающее церковь порыжевшее кольцо. Но главное – я почувствовал: эти прогулки и в самом деле приносят пользу.

Собственно, настроение лучше не стало, меня продолжали одолевать мрачные видения, однако физически я заметно окреп, больные легкие, очевидно, нуждались в проветривании. А ведь тысячи городских жителей сидят, как в клетках, в своих жилищах. Как хорошо было бы и для них ввести часовые прогулки за городом, на свежем воздухе! Хотя сельчане, очевидно, придерживались другого мнения. Служанки и работники, которые за день уставали так, что сама мысль о прогулках наверняка казалась им дикой, смотрели на меня как на сумасшедшего. За спиной они называли меня Бродячий Лассе.

Но, как я уже писал, мысли продолжали меня тревожить. Спасусь ли я? Я же верю в Бога, а предлагаю пастве искупление и прощение грехов, будто торгую колотым сахаром. Грешники спешат в церковь, чтобы их утешили и погладили по головке. А потом возвращаются домой и продолжают, называя себя христианами, пить, предаваться прелюбодеяниям и вымогать друг у друга деньги. Ничего – дернем стакан перегонного, заманим служанку на сеновал, пририсуем нолик, все равно никто не заметит. Трезвые пьянчуги, достойные развратники, честные воры. Вправе ли они называть себя христианами?

И тогда я поехал в Оселе. И Господь пробудил меня. Он говорил со мной женским голосом. Он помог мне встретиться с Миллой Клементсдоттер, этой святой богородицей. Она приняла меня в свое чрево и вдохнула новую жизнь в иссушенную оболочку.

И теперь моя работа в Божьем винограднике идет к завершению. Конечно, у меня есть еще несколько лет впереди – сколько? Двадцать? А может, всего лишь десять?

Наступила осень, по ночам уже холодно. В один из зимних дней закончится жизнь, и тело мое закопают в норрландской земле. Но кое-что хорошее я все же сделал. Несколько важных статей и книг написаны, а мои всеобъемлющие северные гербарии – вот они, лежат на соседнем столе. Хотя... через сто лет все это забудут. Что-то из моих проповедей, возможно, и застрянет в голове какой-нибудь хуторской старушки... скажем, о порядке спасения души. Но не более того. А единственное, что будет продолжать существование если не вечно, то очень долго, – растения, которым я дал свое имя. И вот итог: продолжу жизнь каким-нибудь стебельком на южном склоне горы в Торнедалене.

Я наклоняю голову. Волосы, как ночной мрак, падают на глаза. Складываю в молитве желтые от никотина пальцы. Но ответа нет. Как победить мировую боль? Где найти силы для спасения? Велико и холодно норрландское небо, гигантский, бессмысленно круглящийся глаз. И беззвездно. Увидеть бы хоть одну...

Ранним утром меня разбудила Брита Кайса. Глаза вытаращены, держится за сердце.

Я несколько мгновений смотрел на нее, парализованный страхом. Что с ней? Заболела? Моя жена, Брита Кайса, заболела?

Я сделал попытку встать, но она удержала меня, надавила на плечи.

– Они его схватили.

– Кто?

– Соседская служанка рассказала. Его взяли на месте преступления.

– Нашего Юсси?

– Он напал на девушку. Его схватили и увезли в каталажку.

Она хотела сказать еще что-то, но у нее сморщился подбородок и задрожала нижняя губа. Я крепко ее обнял – что мне еще оставалось делать? К тому же плохо соображал – неудивительно: все еще был во власти сна. Ах, какой это был сон! Я встречаюсь с самим Линнеем! Он приглашает меня посмотреть его гербарии, и вдруг я вижу совершенно не известное науке растение. Листья как у *Taraxacum*, а цветы – вылитый *Dryas*... [\[28\]](#)

Но на мой сон наброшено ледяное одеяло.

Через пару часов только об этом и говорили. Как же, это простовский шаманенок, это он убивал наших девушек. Какое чудовище! Его многие подозревали, а он вот что... странный он какой-то, из саамов. Замечали небось – в глаза не глядит. Бубнит что-то себе под нос. А в церкви? Каждый обращал внимание, как он на женщин смотрит, девчонок аж дрожь пробирала. Ясное дело, порочные наклонности. Руупе рассказывал, сам видел, как тот спрятался у дороги и поджидал очередную жертву. Говорит, и не заметил бы его,

если бы не собака. Пес и учуял злодея. Ну, он и получил... По крайней мере, уж в этот-то вечер насильник был остановлен.

Я тут же поехал в тюрьму в Пайале, но меня не пустили. Исправник сказал, что они с Михельссоном работали всю ночь, допрашивали задержанного. Когда он признается, тогда добро пожаловать, господина проста пригласят – каждый имеет право исповедаться. Но покамест рановато.

Я попросил передать Юсси записку – выбрал стих из Библии.

Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе^[29].

Браге небрежно свернул записку – мол, передаст при случае – и указал мне на дверь. Я вышел и услышал, как он повернул ключ.

У каталажки собрались сельчане и смотрели на меня с любопытством. Ни для кого не было секретом, что Юсси жил у меня в усадьбе. И как это святой отец ничего не заметил? Одна из старух выдавила пару слезинок и попросила сказать несколько слов утешения в эту трудную минуту, когда выловили самого сатану, который бесчинствовал в нашем приходе. Я ответил что-то уклончиво, но она вцепилась мне в одежду. Я был близок к тому, чтобы ее отшвырнуть. Но она, очевидно, прочитала в моих глазах такую ярость, что в ужасе отпустила рукав и отпрянула, будто ее оттолкнули.

Вернулся домой и сел писать воскресную проповедь – надо было как-то унять душевную бурю.

И если ты, добрый самаритянин, не поможешь этому несчастному, что полумертвый лежит у дороги, то он умрет. И это навечно. И дикие звери разорвут тело его на части, и лесные демоны возликуют...

Юсси, мой Юсси... Бедный мальчуган, он стоял там, у тропинки, как одинокая камышинка. Я подобрал его. Вырвал с корнями и нашел место в своем гербарии. Маленькое растение, лишенное родной земли. Может, сделал ошибку? Может, стоило оставить его расти на бедной, почти бесплодной почве? Я научил его читать и писать – ну и что? Что еще он получил от меня? Ни друзей, ни девушки. Может, я всех распугал? Этот свирепый пастор... конечно, им хотелось быть подальше от моих осуждающих взглядов, от моих яростных проповедей, от непрерывного ворчания. Все чувствовали, что Юсси другой, не похож на них. Они избили его так, что чуть не убили. Они

попытались сделать так, чтобы у него никогда не рождались дети – такие же, как он, странные и непохожие.

Юсси, мой Юсси... бедный мальчуган, найденный в придорожной канаве... Брошенный саамский ребенок, ставший мне сыном. Неужели дьявол свил гнездо и в твоём бедном сердце?

Я постарался припомнить все его уходы. Без единого слова исчезал и пропадал неделями, будто им управляла какая-то неведомая сила. Да, я тоже замечал, как глазеет он на женщин в церкви, – и что? Он же юноша, зов плоти в его возрасте вполне естествен. Его неуклюжесть, застенчивость – он и сам от них мучился. Я-то никогда не был стеснительным в отношениях со слабым полом, шутки с девушками и заигрывания давались мне легко. Но если желание, как у Юсси, сильно, почти непреодолимо, а он не решается сказать ни слова, то давление изнутри может нарастать и нарастать, как в плотно закрытом котле, пока пар с чудовищной силой не вырвется наружу.

И что? Неужели так просто превратить несчастного сироту в чудовище?

Я отложил лист с несколькими написанными фразами. Опустил голову на сцепленные руки, задумался, но быстро понял, что способность рационально мыслить сегодня мне изменила. Способность, которой я всегда гордился. Ком в животе никак не желал рассасываться, а голова горела, точно там притаилась паяльная лампа и пламя ее мечется от виска к виску.

Прошло немало времени. И внезапно это случилось. Словно река прорвала плотину и устремилась в мое сознание. Вся наша длинная, широкая Торнеэльвен с пенными порогами вымыла прочь всю грязь и весь мусор. Вши и гниды, вся муть и все нечистоты – всё унесла могучая благословенная река, и сознание мое превратилось в круглое водное зеркало, сверкающий рот реки, сложенный в совершенное и вечно текущее «О». Река унесла нечистоты, река принесла в мир покой – но сделала это сама, без меня.

Меня там не было. Пока все это происходило, меня там не было. Нелепость моего описания как раз и объясняется тем, что меня там не было.

И без страха, без волнения и разочарования я понял: смерть. Вот так и выглядит смерть.

Я поспешил на хутор, где схватили Юсси. Толпа зевак, собравшись с утра, так и не расходилась. В центре стоял хозяин хутора, в сотый раз показывая место на опушке: вот тут, вот отсюда и пришел насильник. Сам-то он с сыновьями и исправником дождался в доме с погашенными свечами. Ждали долго, а потом дали знак Михельссону. Тот вырядился в женское платье и пошел к коровнику. И почти сразу в свете месяца заметили, как от леса отделилась фигура и, крадучись, перебежала к коровнику, – преступник-то и думать не думал! Был небось уверен, что это Мария, служанка на хуторе. Но не тут-то было! Его ждали объятия господина Михельссона! А тут и исправник подоспел, и мы все...

Я подошел поближе: меня заинтересовали следы на земле.

– Значит, Михельссон схватил преступника примерно здесь?

Хуторянин охотно продемонстрировал, какой тип захвата применил секретарь Михельссон.

– Вот так он его схватил. Преступник отбивался, как дикий зверь.

– Значит, Юсси оказал сопротивление при задержании?

– Еще какое! – вступил в разговор один из сыновей. – Такое сопротивление оказал – чуть шею Михельссону не перерезал. Но в последний момент мне удалось выбить нож, и ногой его в сторону, вот так.

Он показал, как подцепил нож загнутым носком своей кенгги и ловко отбросил угрожающее жизни Михельссона смертельное оружие.

– А как вы разглядели нож? Было же очень темно. Настолько темно, что Юсси принял Михельссона за Марию?

Тут свидетели немного растерялись. Но, посоветовавшись, рассказали вот что: герой, оказывается, заметил, как в свете месяца что-то блеснуло, и благодаря его находчивости и решительности им удалось предотвратить еще одно кровавое преступление. Задержанный, как уже сказано, отбивался отчаянно. Мы, сами видите, парни крепкие, но еле с ним справились.

Я открыл ворота коровника. Мое внимание привлек пол из грубо оструганных досок. Я осмотрел участок пола до ближайшего стойла.

– Был ли кто-то из вас ранен при задержании?

И хуторянин, и сыновья дружно покачали головами. Никто не был ранен.

На полу были ясно видны темные, эллиптической формы брызги крови.

– Значит, вы его повалили сюда, на пол?

– Ну. Головой вон туда, – старший сын показал направление.

Я присел на корточки и исподволь присмотрелся к его кеньгам. На них были следы крови. Значит, он ударил Юсси так, что брызнула кровь. Другого объяснения не приходит в голову. И еще: кровь с прилипшими волосами. Били головой об пол.

– А потом? Отвели его на хутор? Он шел сам?

– Какое там сам! Упирался. Мы его волокли.

Трава вся истоптана, здесь побывало много людей. Не определишь, волокли или нет... Но совсем рядом с воротами я обратил внимание на странные сероватые комки. Встал на колени, понюхал и уловил хорошо знакомый запах. Что-то домашнее, съедобное, но что именно, сообразить никак не удавалось.

– А здесь он лежал на земле?

– Ну. Мы его охраняли, пока отец лошадь запрягал.

– А вы ели что-то, пока ждали отца? – Я подцепил на палец комочек загадочной кашицы.

Они дружно пожали плечами. Я осторожно попробовал на язык. И вкус знакомый, но что это...

– Хлеб или что-то?

– Не. Какая там еда...

– Ничего не ели. Но к бутылке приложились. Исправник угостил.

В толпе начали переглядываться и перешептываться – все знали, как я отношусь к спиртному. Но мне было не до проповедей. Я еще раз попробовал и задумался. Конечно! Я прекрасно знал этот вкус. Я и в самом деле прекрасно знал этот вкус, но никак не ожидал встретиться с ним тут, на чужом хуторе. Это был вкус моего собственного дома, утренней каши, которую уже много лет неизменно варила Брита Кайса.

– Вы говорите, ничего не ели. Но это же каша!

– А, это... Это да, это конечно. Мы обыскали его laukku... торбу то есть, а там берестяной короб. Думали, деньги, а оттуда потекло... вот это.

– Вы хотите сказать, что у Юсси был рюкзак?

– Ну да, laukku. Старый, еле нитки держатся.

– И в рюкзаке каша?

– Не только... Огниво. Старое одеяло, мешочек с солью и вяленая рыба.

– А где она теперь, его... laukku?

– Исправник взял.

Я поразмыслял и решительно двинулся к дому, подняв руки, иначе не протолкнуться через плотно стоящую толпу. Пасторский жест произвел впечатление – люди расступились.

Вошел, не постучав. Сначала мне показалось, что в доме никого нет, но почти сразу послышались быстрые шаги.

– Здесь кто-то есть?

Молчание.

Прошел к спальне, толкнул дверь – не открывается. Странно – кто запирается в спальне? Толкнул посильнее – дверь немного подалась, но тут же, как на пружине, закрылась опять. Кто-то держит ее изнутри. Я налег плечом, щель понемногу становилась все шире. В конце концов дверь подалась, и я, потеряв равновесие и едва не упав, ввалился в комнату.

Она стояла у окна, спиной ко мне. Спрятала лицо в передник, плечи судорожно вздрагивали. Я осторожно потрогал ее за плечо, и она внезапно согнулась, сложилась вдвое, как складывается карманный нож.

– Мария?

Рыдала она совершенно беззвучно. Когда Мария приходила в пасторскую усадьбу, вела себя совсем по-иному, была упрямой и несговорчивой. Такой я ее еще не видел.

– Что произошло, Мария?

Она затрясла головой. Я положил руку ей на шею, на туго сплетенную косу.

– Юсси пришел сюда с рюкзаком, – тихо сказал я. – Вышел из дому поздно вечером, когда все легли. И взял с собой еду, кое-какие инструменты, одеяло. Не странно ли?

– Не знаю... – прошептала она.

– Вы договорились встретиться? Может быть, решили провести ночь в лесу?

– Не знаю...

– А как вышло, что исправник Браге оказался у вас на хуторе? Так сказать, в засаде? Кто-то же его позвал, кто-то сказал ему, что Юсси собирается сюда.

– Не знаю, не знаю... – с тихим отчаянием повторяла девушка.

– Это ты его позвала, Мария?

Тело ее передернулось, как от внезапного разряда боли, как будто ее насадили на крюк, как червя. Я повысил голос:

– Юсси обвиняют, что он на тебя напал и хотел изнасиловать. Но если ты расскажешь, как было дело, его отпустят.

Она зажала ладонями уши и замотала головой. Косы, запаздывая за резкими движениями, летали из стороны в сторону. Я схватил ее за руки и разнял их. Она замерла и уставилась на меня. Сухие и пустые, как у ангела, глаза.

– Я ничего не знаю.

Мы глядели друг на друга, как, наверное, смотрели бы обитатели разных планет. Она и в самом деле сказочно красива. Я не сразу понял, что смотрит она не на меня. Она смотрит сквозь меня. На ухо упал золотой локон.

– Он очень любит тебя, Мария. И ты можешь его спасти. Одно твое слово – и он на свободе.

Но она будто бы и не слышит. Мысли ее где-то в другом месте. Может быть, инстинктивно старается защитить нерожденного ребенка, не погасить огонек зарождающейся жизни. Она по-своему права – ребенок без отца очень нуждается в защите.

– Не знаю... – одними губами прошелестела она.

– Изыди, – прошипел я, не отпуская ее рук. – Именем спасителя нашего Иисуса Христа, покинь нас!

Лицо ее внезапно посерело. Казалось, ее вот-вот вырвет. Что-то поднималось в ней, мерзкое существо на жабьих лапах и с раздвоенным языком, сейчас эта тварь вырвется на свободу, и тогда мне несдобровать.

Послышались тяжелые шаги на крыльце. Я отпустил ее руки и отвернулся. В глотке плескалась едкая кислота.

Вошедший хозяин нашел меня в кухне. Я пил из ковша и время от времени зажмуривался, будто проверял качество воды и восторгался ее чистотой. Тут же узнал, что колодец выкопал в незапамятные времена

дед хозяина. Повезло старику – попал на отличную линзу, не истощается даже за зиму.

Я также похвалил великолепно, с умом построенный и оборудованный дом, чем привел хозяина в еще лучшее настроение. Да уж, это у нас в роду. Дома-то мы строить умеем. Да что тут уметь – тщательность и терпение, вот и весь секрет. Но тут же, стыдясь за хвастовство, открыл мне глаза на некоторые дефекты, которые ему предстоит устранить. Сошлись на том, что без дела сидеть не приходится – всегда найдется, что улучшить или починить.

Я завел разговор о ночных событиях и узнал, что исправник Браге приехал задолго до того, вместе с секретарем Михельссоном, но он понятия не имеет, кто их вызвал. Появились, как черт из табакерки, – тут он зажал рот рукой и испуганно посмотрел на меня. И, поскольку я пропустил сквернословие мимо ушей, продолжил:

– Исправник сказал только, что они готовят западню, и велел всем выполнять его указания. Свечи задули, будто все уже спят. А секретарь Михельссон, значит, вырядился в женские тряпки. И все. Теперь, говорит, только и остается ждать зверя.

– А что в это время делала Мария?

– Ей приказали остаться в комнате для прислуги.

– А как у нее было настроение?

– Исправник приказал ей сохранять спокойствие.

– Значит, что-то ее беспокоило?

– Ясное дело. Кого бы не беспокоило.

– Но полицейские откуда-то знали, что Юсси явится на хутор в эту ночь. Кто им сказал? Мария?

– Мне-то откуда знать? – пожал плечами хуторянин. – Важно, что взяли мерзавца.

Я украдкой посмотрел на дверь спальни. Закрыта, но никакой гарантии, что Мария не подслушивает.

– Юсси, может быть, заманили? – сказал я, понизив голос. – Может, Мария сама просила его прийти?

– Мне-то откуда знать.

– А давно она у вас работает?

– С весны. Но просит расчет. Мать не хочет. Говорит, кто-то из мужиков чересчур близко к ней подобрался.

– А вы что по этому поводу думаете?

– С чего бы? Ни я, ни сыновья пальцем ее не тронули. Могу хоть на Библии...

– Но девочка-то – редкостная красавица.

– Да... тут уж ничего не скажешь. Хороша. Я думаю так: осенние работы закончим, пусть отчаливает. Пока все не заметили, что к чему.

– Понятно...

– Господин прост и сам знает – погуливала девица. То портрет ее малюют, то еще что... Думаю, она и сама не знает, от кого залетела.

– Или не хочет рассказывать.

– Или да... или не хочет. Но мои парни тут ни при чем. Что до меня, так я ее мамашу чуть с крыльца не спустил. Ишь чего – намекать начала.

Я подумал про пятна крови на сапоге одного из сыновей, забрызганный пол. Сколько раз они замечали Юсси, как он исподтишка наблюдает за жизнью хутора?

Браге и Михельссону понадобилось всего два дня, чтобы Юсси признал свою вину. И только тогда мне разрешили его навестить в тесном полуподвале, в застенке, который и выполнял роль камеры.

Юсси лежал на животе на деревянных нарах из нестроганных досок. Матраса нет. И руки и ноги скованы кандалами. И на запястьях, и на голеностопных суставах кожа стерта до крови. Одежду отобрали, на нем какой-то старый, невыносимо вонючий мешок. Михельссон закрыл за мной дверь, но удаляющихся шагов я не услышал – видно, остался подслушивать.

Сначала я решил, что Юсси спит, но очень быстро с ужасом заметил – нет, не спит. Тело его то и дело сотрясали короткие судороги озноба. В застенке и в самом деле холодно. Я быстро снял пальто и накинул на него. Осторожно погладил грязные волосы – на пол упали несколько засохших струпьев.

– Это я, Юсси... прост.

Он не ответил. В сознании ли?

– Как ты? Тебе даже одеяла не дали?

Осторожно взял его за плечи и повернул на спину. Он застонал. Меня начало трясти от сострадания – они его били... И так полуживого – они его били!

– Ты меня слышишь, Юсси? Это я, прост.

Губы мучительно разлепились.

– Воды... – услышал я еле слышный шепот.

У нар лежал опрокинутый кувшин. На дне еще было немного воды. Я уронил несколько капель на его губы. Он приоткрыл рот, и мне удалось влить в него немного воды.

– Юсси... это правда? Ты сознался, что напал на девушку?

Из-под с трудом приподнятых век блеснула влага.

– Они... прижали руку.

– Не понял? Как это?

– Прижали руку к бумаге.

– Вынудили писать?

– Мария и я... мы же хотели... Мария знает.

– Я ее спрашивал.

– И она же сказала, да? Мы договорились встретиться...

Юсси все сильнее бил озноб. Я положил руку ему на лоб, и меня тоже начало трясти – от ярости.

– Воды! – заревел я. – И одеяла! Побольше одеял. Вы убьете его, негодяи!

Михельссон с грохотом открыл засов и сунул голову в камеру.

– Исправник не велел. Сказал – никаких одеял. Мы в таких случаях белье не даем.

– И вы избili его до полусмерти!

– Сопротивление при задержании.

– Это правда, Юсси? Секретарь Михельссон говорит правду?

– Есть свидетели, – вкрадчиво напомнил Михельссон.

– Тогда принесите воду... ради Бога, принесите воду.

– Арестованный сам опрокинул кувшин. Так бывает. Когда преступник внезапно осознает, что натворил, впадает в такое отчаяние, что отказывается есть и пить. Но через пару дней обычно приходит в себя и начинает сотрудничать со следствием.

– А почему вы так уверены в его вине?

Михельссон гордо выпрямился и потер шею.

– Так это же на меня он набросился. Я был в платье служанки. Мы же это... устроили засаду. В темноте арестованный принял меня за женщину. Да что я... у нас же есть его признательные показания.

– Письменное признание?

– Он признает попытку изнасилования служанки Марии. А также нападение на Хильду Фредриксдоттер, имевшее быть раньше...

– Но вы же утверждали, что Хильду задрал медведь?

– ...как и на Юлину Элиасдоттер, имевшее быть позже...

– Исправник Браге, насколько я помню, уверял, что Юлина покончила жизнь самоубийством?

– Он изменил мнение.

– Как это может быть? Исправник изменил мнение? – Я постарался, чтобы вопрос не прозвучал чересчур саркастически.

– Арестованный же сам признался. Летние кошмары позади, виновный признал все свои преступления.

Михельссон опасливо покосился на Юсси – а вдруг тот в моем присутствии начнет все отрицать? Но Юсси не шевелился.

– А Нильс Густаф? Художник? Кто убил художника?

– Доктор Седерин уверен, что господин художник умер от апоплексического удара.

– Значит, убийца Нильса Густафа гуляет на свободе...

Секретарь состроил мину сожаления – мол, что поделаешь. Удар есть удар. Все под Богом ходим.

– Могу я посмотреть на признание?

– Оно у исправника в надежном месте. А господин исправник отдыхает после бессонной ночи. И к тому же...

Михельссон сорвал с Юсси мое пальто и откинул с плеч мешок, служивший мальчику одеждой.

– Смотрите. – На плече ясно была видна колотая ранка.

– Но эта рана совсем свежая! Мы уже об этом говорили. Ее не могла нанести Юлина. Она совсем свежая! – настойчиво повторил я. – Это дело рук банды Руупе. Они избили Юсси так, что нам с женой еле удалось его выходить.

Михельссон пожал плечами и покачал головой – видно, хотел выразить сожаление. Дескать, что случилось, то случилось.

Я протянул ему пустой кувшин. Он опять покачал головой, на этот раз более решительно. И показал мне на дверь.

– Никаких долгих посещений. Приказ исправника Браге.

Бледно-голубые глаза лишены всякого выражения. Я попытался подойти к Юсси, но он встал у меня на пути и вынул из-за пояса полуметровую дубинку с металлическим набалдашником.

Я с грохотом поставил кувшин на пол.

– Я вернусь, Юсси. Слышишь? Не брошу тебя в беде.

– Вы кое-что забыли. – Михельссон протянул мне пальто.

– Бедняга же замерзнет насмерть!

– Мы обязаны следовать правилам, – сухо сказал секретарь. – Господину просту пора понять: здесь у нас действует закон.

Я схватил пальто и вышел. Услышал гроыхание засова за спиной. Внутри все кипело. Пришлось напрячься, чтобы ярость и жалость не нарушали логического течения мысли. Юсси собрался изнасиловать Марию? Девушку, которую он любил так самозабвенно, что при всей скрытности не мог утаить свою любовь?

Много чего непонятного в этой истории. Нельзя опираться только на свою, уже сформированную точку зрения. Возможно, она сформирована на ошибочных основаниях.

Вернувшись в усадьбу, я поспешил собрать в кожаный мешок все вещественные доказательства, которые нам с Юсси удалось добыть летом. И стебелек горного вереска, и клочок волос Хильды. Карандашные стружки, гуталин и все записи, которые мы делали. Хотел отправить туда же и бокалы из дома Нильса Густафа, но задумался и довольно долго рассматривал оставленные жирными пальцами следы. В конце концов упаковал и бокалы и отнес в сарай. Осмотрелся и выбрал место у самого торца, под крышей. Приставил лестницу и засунул за стропила почти под самой крышей. Даже пылью присыпал.

Решил, что там никто не найдет.

От ежедневных обязанностей никто меня не освобождал. Я навел на женщину по фамилии Ванхайнен – она жила со своим слабоумным сыном в лачуге у реки. Больная дышала с трудом и уже не выходила из дому. За доктором, однако, не посылали – у них просто-

напросто не было денег. Но близкая кончина, как ни странно, ее не волновала – она хотела поговорить о сыне. Боялась, что без нее скорбный рассудком мальчик не выживет. Во все время нашего разговора он сидел с полуоткрытым ртом и смотрел на нас водянистым, ничего не выражающим взглядом. Мать то и дело просила его закрыть рот. Он послушно закрывал, но лишь на несколько секунд. Нижняя челюсть опять отваливалась, и по подбородку на рубаху бежали прозрачные струйки слюны.

Что я мог сделать? Выслушал, разделил ее тревогу и облегчил душу причастием. Она со слезами призналась, что несправедливо сурова с бедным мальчиком, не хватает терпения и выдержки.

– А он-то... он-то... разве он виноват? Безгрешная душа...

У меня не возникло ни малейших сомнений, что ее раскаяние искренне. К тому же вряд ли она так уж сурова с лишенным рассудка сыном. Я заверил, что грехи ее прощены. Достал из портфеля облатку и дорожный потир с вином. Долго смотрел, как она сосет облатку и постепенно успокаивается.

Я собрался уходить, но вместе со мной пошел и мальчик. Попытался убедить, что его долг – оставаться у постели больной матери, но он вцепился в мой рукав и ни за что не хотел отпустить. Босиком тащился за мной и что-то бормотал. Пришлось вернуться. Мне показалось, он голоден, но мать сказала – недавно ели. Хотя я не заметил никаких следов – ни мисок, ни ложек. Пустой стол. Она не встает – кто же убрал посуду? Дал ему напиток и попробовал улизнуть. Куда там! Повторилась та же история.

– Его надо привязать, – устало посоветовала мать и показала на дверь.

А я-то сначала решил, что на косяке висит собачий поводок. Оказывается, вот что... поводок предназначен для сына. Она велела мне привязать один конец к ножке ее кровати, а другой обмотать вокруг груди мальчика. А узел – на спине.

– Пока он его развяжет, вас и след простыл.

Пришлось так и сделать. Мальчик отчаянно сопротивлялся, но силы были неравны. Я пожелал им обоим мира в душе и поспешил домой.

Брита Кайса встретила меня во дворе. Она была настолько возбуждена, что я поначалу ничего не понял.

– Они... они везде искали. Твои бумаги. Твои гербарии...
– Кто – они?
– Я не давала, а они говорят, на их стороне закон.
– Да какие такие они? Брита Кайса! Кто – они?
– Кто-кто... исправник, само собой. И этот с ним, как всегда... ну, как его?
– Секретарь полицейской управы Михельссон.
– Вот-вот... забрали твои записи... я говорю – оставьте квитанцию, а они смеются... смеются!
Ее голос дрожал от гнева. Я положил ей руку на плечо.
– Ничего неожиданного.
– В чем тебя обвиняют?
– Не меня – Юсси. Они знают, что мы собирали вещественные улики. В моем кабинете тоже копались?
– Весь дом! Весь дом обыскали! В постельном белье копались, сволочи...
– Они все еще здесь? – спросил я.
Она яростно замотала головой:
– Ушли.
Я попросил ее вернуться в дом, а сам пошел в сарай.
Мешок был на месте.

На следующий день я опять пошел к Юсси. Он по-прежнему, избитый и измученный, лежал на нарах с закрытыми глазами. Михельссон ходил вокруг и гремел ключами, пока я не потребовал, чтобы он ушел. Я здесь в качестве священника, сказал я, и хочу поговорить с арестованным с глазу на глаз.

– Но исправник сказал, что...
– Пленник по закону имеет право на исповедь, – оборвал я его.
Что-то в моем тоне на него подействовало. Он вышел, запер дверь каталажки и исчез.
– Юсси, будет суд.
Он еле заметно кивнул. В углах губ скопилась высохшая пожелтевшая слюна.

– Я решил представлять твои интересы, Юсси.

– Почему?.. – спросил он почти беззвучно.

Потрогал лоб – жар. Парень болен.

– Потому что я тебя предал. Потому что не сумел тебя защитить.

– Но, учитель...

– Только вот что... сначала я должен знать все, чего я не знаю. Ты можешь отвечать на мои вопросы честно?

– Д-да...

– Это ты напал на девушек?

Он уставился на меня сумасшедшими глазами и даже сделал попытку встать. Я удержал его на руках.

– Это ведь ты, Юсси, шпионил за Марией и Нильсом Густафом в тот вечер после танцев в Кеннте. Я опознал твои следы за поваленным деревом. Это точно твои кенъги. Мало того – тот, кто там стоял, левша. Как и ты. Ты оборвал куст багульника и натерся. Листья лежали на земле. Я не знаю никого, кто натирался бы багульником от комаров. И на следующий день от твоих волос пахло багульником.

– Но я...

– Чем ты занимался, Юсси?

– Я... я видел, как они там миловались.

– Мария и Нильс Густаф?

– Да...

– Наверное, было нелегко. Ты же влюблен в Марию. Я много об этом думал, перебрал все возможности. Может, тогда тебе пришла мысль разделаться с художником? Ты навестил его и положил яд в коньяк?

Юсси молча покачал головой.

– Ты же должен был кипеть от гнева, Юсси. От гнева и желания. Может, ты почувствовал себя волком? Потребность в живой плоти, знаешь ли... Похоть от дьявола, но ее никто не отменял. И ты решил выждать. Вынул карандаш, очинил и начал писать. Что ты писал, Юсси? Может, стихи? Короткие строки о женщине, которую ты любишь, о ее измене, о ее притворстве. Она ушла с другим... а ты в ярости и отчаянии остался сидеть там, за деревом... И вдруг увидел другую девушку. Пил спиртное к тому же. Она идет одна, идет прямо на тебя и ни о чем не догадывается. Ты достаешь платок, завязываешь лицо...

Я замолчал – пусть помучается. Плоский, без глубины блеск глаз, как бывает при лихорадке. Глаза-пуговицы. Он опять попытался сесть – загремели кандалы.

– Юсси, Юсси... я ведь знал – ты все лето шнырял то тут, то там. А я ведь совсем недавно тебя предупредил – не выходи из усадьбы. А ты среди ночи пошел и дожидался Марию. Среди ночи... Ты же сам понимаешь, как это выглядит.

– Я... я думал только...

– Ты взял с собой торбу. Зачем? Взял еду, кашу Бриты Кайсы, одеяло, огниво – все как для долгого путешествия. Ты собрался исчезнуть?

Он кивнул с закрытыми глазами.

– И хотел с ней попрощаться? Потрогать ее последний раз? Потрогать... и сдавить шею, а потом смотреть, как она, бездыханная, лежит у твоих ног? И всё – со всем покончено. С Марией, с Кенгисом, со старым глупым простом... Юсси исчез навсегда, затерялся на лесных тропах и никогда не вернется.

– Нет... – сдавленно прошептал Юсси.

– Разве не так?

– Нет... мы оба... я и Мария...

– Что – вы оба?

– Мы решили уйти вместе... на север.

Он попытался взять меня за руку, но помешали кандалы.

– Учитель должен мне верить... Я ни на каких девушек не нападал!

– А почему ты не сказал, что собираешься нас оставить, Юсси? Уйти без единого слова...ты мне не веришь? Я мог бы вас обвенчать. Вписал бы в книгу как мужа и жену. Ты мне как сын, Юсси, я сделал бы для тебя все, что могу.

Юсси заплакал и повернул голову к стене.

– Юсси, дорогой мой...

– Я надеялся, что мы... она и я... я всем скажу: ребенок мой...

– И куда вы собрались?

– В Норвегию.

– Но Мария тебя обманула, Юсси...

– Нет...

– Никогда не собиралась она быть твоей. Исправник узнал про все и подстроил засаду, где она должна была играть роль приманки. В ней таится сатана, Юсси, она знала, на что тебя обрекает.

– Нет... Нет!

Юсси передернуло, тело его изогнулось в беззвучной судороге. За дверью слышались звуки.

Я потянулся за портфелем и достал оттуда потир.

– Торопись... вот хлеб. Брита Кайса испекла для тебя хлеб.

Я торопливо разломал хлеб на кусочки и запихал ему в рот. Открыл потир, в котором, ввиду особенности случая, было не вино, а жирное, не снятое молоко, и влил в него весь потир.

– За тебя пролита кровь Христова...

– А-а-а... Нет!

– Ты найдешь утешение в Спасителе. Он освободит тебя.

Юсси с трудом проглотил и повернул ко мне пышущее жаром лицо.

– Спасителя нет, – прошептал он.

– Конечно же есть, Юсси.

– Я никогда не мог в это поверить.

– Но ты же молился со мной! Я видел твои слезы во время службы...

– Я пытался, учитель. Но его нет.

– Иисуса нет? Конечно есть, Юсси.

– Он умер. Мертв.

– Без Бога в душе человек – не человек, а дикий зверь. Ты катишься в бездну, Юсси. Оставь гордыню!

– Это не гордыня, учитель.

– А что это?

– Всего лишь я.

– Что это значит?

– Я, который пока есть. Они меня почти убили, а я пока есть.

– Ради Господа, Юсси! Разве так люди должны принимать тяготы мира? Разве у нас никого и ничего нет, кроме нашего «я»?

– Простите, учитель. Я старался. Я очень старался. Я ничего так не хотел, как стать вашим сыном.

Уездный суд в Пайале собрался в одном из самых больших хуторских домов в уезде. Председатель суда Рагнарссон, пожилой человек, чем-то похожий на орла, хотя нос его скорее напоминал дверную ручку, сидел, наклонившись вперед, будто у него болела шея. Сидел и жевал пастилку.

– Бросил курить, – мрачно сообщил он, едва поздоровавшись. – Мятные пастилки, это так... рот, знаете ли, тоскует по мундштуку.

И объяснил: жена уверена, что изжога и головокружение, донимавшие его в последнее время, напрямую связаны с курением, и при ее поддержке он все же решился на этот трудный шаг.

– Хотя, скажу я вам, табак весьма полезен во многих отношениях. Даже, я бы сказал, целебен. Американские индейцы, к примеру, врачуют табаком почти все болезни.

Сообщил он эту новость с таким удрученным видом, что я понял, как мучает его желание вырвать у меня трубку и хоть немного ее пососать. Поэтому воздержался от дальнейшей беседы и отошел.

Поздоровался с секретарем суда Мальмстеном – тот был очень толст и к тому же сильно простужен, все время трубно сморкался в клетчатый носовой платок. Во все время суда он не только сморкался, но издавал горлом странные звуки, более всего напоминающие похрюкивание голодной свиньи.

Мальмстен, в отличие от Рагнарссона, говорил на двух языках – он был родом из прибрежных областей. Я напомнил им, что в этих местах говорят, главным образом, по-фински, шведский мало кто понимает. Посоветовавшись, решили, что Мальмстен будет переводить в случае необходимости.

Обвинитель Андерс Петрини, темноволосый господин в дорогих перчатках из свиной кожи, поздоровался со мной за руку, – странно, рука его, несмотря на перчатки, была очень холодной. Настроение у Петрини было скверным, он тут же начал жаловаться: долгая и отвратительная дорога, мерзкая, совершенно безвкусная еда на постоялом дворе. И даже спросил, можно ли в этих краях раздобыть щепотку черного перца? Я пригласил его отобедать у меня в усадьбе. Он было согласился, но когда узнал, что я собираюсь представлять в суде интересы подсудимого, отклонил предложение.

– Думаю, долго вся эта история не протянется, – сказал он с надеждой, будто надеялся привлечь меня на свою сторону.

Ему хотелось как можно скорее покинуть наш негостеприимный край.

В дом набилось много зрителей – дело было необычным и вызвало интерес. В воздухе стоял сильный запах нафталина – господа поблагородней вытащили из сундуков свои парадные костюмы, даже нагладили брюки в надежде завязать новые знакомства. А я надел свой обычный пасторский сюртук, но воротничок снял. Хотел подчеркнуть: в судебном процессе я выступаю не от лица церкви, а как гражданский адвокат. Исправник Браге, как всегда шумно и несколько свысока, приветствовал знакомых и незнакомых, подчеркивая свое немаловажное значение в уездной жизни. В конце концов, это же только благодаря его опыту и находчивости удалось поймать опасного преступника!

Зрители, толкаясь, расселись по скамейкам, как в церкви. Разожгли камин, в комнате стало тепло, даже жарко. Многие расстегнули воротнички и ослабили узлы на галстуках. Жена лавочника достала испанского покроя веер – большая, кстати, редкость в наших краях – и начала демонстративно обмахиваться, время от времени закатывая глаза: ах, какая невыносимая жара! Но, может, ей было и не так жарко, просто хотела показать, что именно она первая из торнедаленских дам совершила паломничество в Сантьяго-де-Компостела по стопам святой Биргитты.

Послышалось лязганье кандалов, и ввели подсудимого. Он был скован по рукам и ногам, и, возможно, я употребил неверный глагол: его не ввели, а втащили. Вряд ли он был в состоянии идти сам. Усадили на скамью. С одной стороны стоял здоровенный надзиратель, с другой – секретарь Михельссон. Кандалы сняли, и я увидел стертые до крови запястья. По закону подсудимый должен стоять во время процесса, но я настоял, чтобы ему разрешили сидеть, он просто-напросто был не в состоянии держаться на ногах. Ему подставили старую шаткую табуретку. Запавшие глаза бегали, как у загнанного зверя. И, к сожалению, перенесенные страдания придали ему вид, какого и ожидали судьи, – чудовище в человеческом облике. Волк с выдранными клыками. Страшный, но обезвреженный.

Рагнарссон несколько раз потер крючковатый нос, будто решил еще больше его заострить, и приступил к процессу.

– Юхан «Юсси» Сиеппинен обвиняется в убийстве служанок Хильды Фредриксдоттер и Юлины Элиасдоттер, а также в попытке изнасилования еще одной служанки и краже денег у умершего художника Нильса Густафа из дома, снятого последним на территории завода в Кеньи.

Произнес все это скороговоркой и предоставил слово обвинителю. Тот медленно встал, взял себя за лацкан и долго и эффектно молчал, разглядывая подсудимого. Юсси избегал встречаться с ним взглядом.

Наконец Петрини торжественно прокашлялся, достал лист с записями и прочитал, почти не отрываясь от бумаги, версию обвинения. Иногда только поднимал голову и бросал на Юсси грозные взгляды.

Юсси в его описании предстал как законченный, притом изощренный, преступник. Он, этот изощренный преступник, всегда держался особняком, избегал играть со сверстниками – все для того, чтобы скрыть свое истинное лицо. Под кажущейся скромностью и застенчивостью скрывался настоящий злодей, не желающий противиться порочным инстинктам. Инстинктам убийцы и насильника. Неутолимая... тут обвинитель сделал паузу и употребил еще одно пришедшее в голову определение: неутолимая и ненасытная похоть, сказал он.

На мой взгляд, тавтология. Неутолимая и ненасытная – синонимы.

– Неутолимая и ненасытная похоть гнала его на лесные тропы, где он подкарауливал одиноких женщин. Именно так, в лесных зарослях, он изнасиловал невинную девушку Хильду Фредриксдоттер, после чего задушил и спрятал труп в болоте. По окончании летних танцев в Кентте он попытался проделать то же самое с Юлиной Элиасдоттер, но девушке удалось скрыться. Через несколько дней преступник проник на хутор и задушил девушку – боялся, что она его опознает. И наконец, он попытался изнасиловать служанку Марию, но полиция была уже начеку. Секретарь полицейской управы Михельссон, рискуя жизнью, переоделся в женское платье. Таким образом лишь благодаря доблестному вмешательству исправника Браге и секретаря Михельссона удалось предотвратить еще одно ужасное преступление, и негодяй, наводивший ужас на всю округу, схвачен.

Я слушал вполуха и наблюдал за Юсси. Он сидел опустив голову и никак не реагировал на слова обвинителя – казалось, пребывал в

ином мире. Только когда Петрини закончил свою речь, он еле заметно отрицательно покачал головой.

Рагнарссон обратился ко мне – и как сторона защиты ответит на предъявленные обвинения?

Я первым делом сообщил, что подсудимый себя виновным не признает и отвергает все предъявленные обвинения. Указал также, что исправник Браге ранее придерживался иного мнения: Хильду Фредриксдоттер задрал медведь, а Юлина Элиасдоттер покончила жизнь самоубийством. Браге наградил меня свирепым взглядом, но мои слова занесли в протокол, после чего началась состязательная часть суда.

Это была печальная история. Обвинитель вызывал свидетелей, и все они рассказывали, как странно Юсси себя вел, как он смотрел на женщин во время службы, как он приставал к Марии на танцах в Кентте. Вызвали заводского рабочего Руупе, и он засвидетельствовал, что Юсси и раньше не давал Марии покоя.

– Он встретил ее на тракте как-то раз. Гляжу – вырывает ведро с рыбой.

– А где были вы?

– Там же и был, только подальше. Увидел, как он рвет у нее ведро, – морда как у сумасшедшего. Дикий зверь, ей-богу. Она выронила ведро и начала кричать как резаная. Ну я-то что... снял ремень с пряжкой, сейчас, говорю, я тебя так проучу... Тут он, ясное дело, испугался и убежал. Если бы не я, не знаю, что бы он с ней сделал.

Я ответил на обвинения. Опирался только на факты. Никто из свидетелей не может подтвердить, что именно Юсси совершил убийство. Никакие находки на месте преступления на подсудимого не указывают. Исправник Браге лично составил протокол: Хильду Фредриксдоттер задрал медведь. И очень многое указывает, что преступник не Юсси, а кто-то другой.

– Прошу занести в протокол: вот некоторые вещественные доказательства, найденные на месте преступления.

Я открыл кожаный мешок, который перед самым судом вытащил из тайника.

– Я внимательно осмотрел место, где было совершено нападение на пастушку Хильду Фредриксдоттер. Насильник и убийца прятался за

старым пнем, и там я нашел стружки от карандаша. Вот они. – Я развернул сложенный вчетверо лист. – Преступник чинил карандаш. Я рассмотрел внимательно эти стружки и пришел к выводу, что эти стружки от карандаша такого сорта, который в Пайале не продают. Этот сорт карандашей можно купить только в Хапаранде. Исправник Браге, в частности, пользуется такими карандашами.

Браге быстро огляделся, скроил саркастическую усмешку и громко хмыкнул – попытался вывести меня из себя. Не удалось.

– На одежде Юлины Элиасдоттер я обнаружил следы сапожной мази с очень характерным запахом. Такая мазь называется гуталин, и ее можно купить не везде. К тому же цена такова, что только достаточно состоятельные люди могут себе позволить пользоваться такой мазью. И Юлина Элиасдоттер сказала мне, что нападавший был herrasmies. То есть из господ.

Я развернул платок и передал судье. Пусть понюхают.

– И еще вот что... Мой сокурсник по университету в Упсале, доктор Эмануэль Сундберг, совершил важное открытие, которое, несомненно, будет очень полезным в будущем, особенно для полицейской работы. Я покорнейше прошу присутствующих посмотреть на кончики своих пальцев. Пусть это будут указательные пальцы.

Обвинитель хотел было заявить протест, но судья Рагнарссон милостиво кивнул – продолжайте, прост.

– Вы видите на подушечках ваших пальцев определенный узор. Доктор Сундберг назвал этот узор папиллярными линиями. Каждый раз, прикасаясь к очень гладкой поверхности, мы оставляем след. Кажется странным, но если вспомнить, что на коже всегда присутствует минимальная жировая смазка, – ничего удивительного. Они вроде бы невидимы, эти следы, но стоит посыпать поверхность очень мелкой пудрой, например золой, вы ясно различите отпечатки ваших пальцев. А теперь посмотрите вот на это.

Я вытянул из коробки бокал, причем уже известным способом: сунул внутрь пальцы и растопырил, не дотрагиваясь до наружной поверхности. И предъявил присутствующим.

– Исследования доктора Эмануэля Сундберга показали, что на сегодняшний день не удалось найти ни одного идентичного узора. То есть эти линии, которые он назвал папиллярными, уникальны для

каждого человека. И таким образом, сравнивая отпечатки... скажем, на этом бокале, мы можем точно сказать, был ли подозреваемый на месте преступления или не был. Вот этот бокал взят мною из дома известного художника Нильса Густафа в то утро, когда мы нашли его мертвым. Последний человек, который видел его живым, пил из этого бокала. И мне удалось с помощью изучения папиллярных линий определить, кто этот человек.

– Какое это имеет отношение к делу? – недовольно воскликнул Петрини.

– Вы утверждаете, что подсудимый похитил деньги художника. Поэтому суд должен знать, что отпечатки на бокале принадлежат не Юсси Сиеппинену. Они принадлежат другому человеку.

Я опять полез в свой мешок и достал картонный футляр. Аккуратно открыл и извлек маленькую стеклянную пластинку.

– Прошу досточтимый суд приобщить к делу еще и вот это. Мы видим перед собой так называемый дагерротип. У художника Нильса Густафа был аппарат, с помощью которого он научился получать изображения с помощью света. Преломляющая линза, светочувствительный материал и кое-какие химикалии – и вы можете получить портрет, или ландшафт, или что хотите. Эта пластинка была вставлена в его аппарат, и, судя по всему, дагерротип сделан в тот самый вечер, когда художник скончался. Но изображение не было до поры до времени известно, потому что для этого требуется специальный процесс, который называется проявлением. Можно считать удачей, что Нильс Густаф ранее объяснил мне, что это за процесс и какие химикалии необходимы. Мне удалось с помощью паров ртути... давайте употребим именно это новое слово – проявить... короче, мне удалось получить снимок. Дагерротип. На нем изображен человек, который был у Нильса Густафа в вечер его смерти.

Я поднял пластинку над головой, с трудом сдерживая победное чувство.

– И кто же это... кто это? Кто? – пронеслось по комнате.

Люди начали вставать и подходить поближе, чтобы рассмотреть изображение.

– Это портрет, и весьма точный, только в очень маленьком формате. Необходимо увеличительное стекло. Если досточтимый суд

позволит... – Я достал из кармана лупу. Ту самую, через которую рассматривал растения для гербариев.

– Папилляры и световые картинки! Что последует за папиллярами? Небесное откровение? – воскликнул Петрини, чем вызвал издевательский смех противников Пробуждения.

Исправник попытался вырвать у меня пластинку, но я успел спрятать ее в карман. А вот бокал он у меня вырвал и пустил по рядам. И конечно, уже через минуту никаких отпечатков на нем было не разглядеть.

Суд прервали для обсуждения.

Вскоре судья Рагнарссон призвал к тишине. Все заняли свои места на тесных скамейках.

Твердым голосом судья объявил, что он внимательно выслушал выступление защиты и принял все доводы во внимание. И он совершенно согласен, что научные методы важны для следствия и судопроизводства. Но эти методы должны быть утверждены и общепризнаны... или, по крайней мере, иметь прецедент. Но он, судья Рагнарссон, никогда не слышал, чтобы в каком-то из судов страны изучали папиллярные линии или проявляли... Он произнес это слово так, будто взял его в кавычки, победно оглядел присутствующих и повторил: или – проявляли световые изображения. Поэтому суд не может принять эти доводы во внимание, и доказательства не будут ни занесены в протокол, ни тем более никак не повлияют на решение суда.

Юсси, который и без того сидел с опущенной головой, уронил ее так низко, что ясно выступили шейные позвонки. Те, кто сидел поближе, слышали – бормотал какие-то жутковатые заговоры по-саамски. Я вскочил, опять вынул из кармана стеклянную пластинку и поднял ее высоко над головой, чтобы всем была видна темная фигура. Показал на эту фигуру, повертел из стороны в сторону – если смотреть на изображение под неправильным углом, темные места превращаются в светлые, и наоборот.

Очевидно, мое негодование было настолько непритворно, что по толпе пробежал беспокойный ропот. И в ту же секунду распахнулась дверь – в комнату, где проходил суд, отбившись от охранников, ворвалась пожилая женщина в черном. Она локтями проложила себе дорогу и визгливо воскликнула:

– Чудо святости! Он вылечил меня, аллилуйя! Взял меня на руки и дал мне жизнь! О вырвал меня из долины теней...

Подбежала к наспех сооруженному подиуму, где заседал суд, и упала на колени, но не передо мной, а перед подсудимым Юсси Сиеппиненом. Упала и прижалась лицом к его коленям. Охранники пришли в себя. Пока они ее отгаскивали, она, захлебываясь, повторяла:

– Юсси вернул мне жизнь! Он совершил чудо исцеления, аллилуйя...

На скамьях стали переглядываться. Все вспомнили, как Юсси вынес эту женщину, харкающую кровью, на ступени церкви. Не было никаких сомнений, что она умирает.

– Шаман... это только шаманы... – послышался шепот, и все с опаской посмотрели на истощенного юношу, который во время всей этой сцены даже не открыл глаз.

Исправник Браге делано громко рассмеялся, смех подхватил Михельссон: «Хи-хи-хи...»

– Бог нам поможет, – прошептал я по-фински поникшему Юсси. Секретарь Мальмстен не озаботился перевести мои слова.

Я покинул суд в отвратительном настроении. Меня то и дело хватало за рукав, прихожане хотели обсудить услышанное, но я довольно грубо их отталкивал. На Юсси опять надели кандалы и увели. Я успел только ободряюще ему улыбнуться, но, боюсь, улыбка моя больше напоминала оскал черепа, как его рисуют художники.

Решение суд должен вынести позже. Я ясно чувствовал, что ничего хорошего ждать не придется. Юсси время от времени начинала бить дрожь – от лихорадки и от побоев, но большинство присутствующих принимали это за страх и осознание своей ужасной вины. Он отрицал все обвинения, но при этом избегал смотреть в глаза. Синяки, незаживающие ссадины, беззубый рот – все это вряд ли могло произвести на зрителей и судей благоприятное впечатление. Безродный бродяга, неспособный обуздать примитивные хищнические инстинкты. Я сделал тщетную попытку внести в процедуру научную

строгость и логику – и что? Мысль взлетела, не успев достичь высоты, на которой бы ее заметили, и позорно хлопнулась оземь.

Поначалу я решил идти домой и уже пошел, но с удивлением заметил: ноги сопротивляются. За время своих скитаний я привык доверять ногам: инстинкт управляет телом быстрее и вернее, чем голова. В конце концов я сделал вот что: достал пасторский воротничок, нацепил на шею и быстро двинулся в противоположную сторону. Тут же появилось неприятное чувство – кто-то за мной следит. Я резко оглянулся – никого. На этот раз инстинкт переборщил с бдительностью. Тропа пуста. Вскоре я увидел хутор и решительно пошел к дому.

Открыла хозяйка.

– Они... они все на суде... – пробормотала она.

– Я знаю.

– И хозяин, и сыновья. Все там. Заставили. Вы, говорят, свидетели, так что хотите не хотите...

– Но ведь Мария тоже должна дать показания?

– Мария больна.

– Больна?

Хозяйка молча мотнула головой в сторону спальни для прислуги. Дверь приоткрыта, чтобы впустить в комнатку кухонное тепло. Странно – день светлый, а за дверью темно.

– Свет не переносит, – пояснила хозяйка, заметив мое недоумение. – Я и завесила окно одеялом. Говорят, светобоязнь, – неуверенно произнесла она научное слово.

Я встал в проеме и прислушался. Ни звука. Если бы я не знал, что Мария в комнатушке, и не заподозрил бы – даже дыхания не слышно.

Сказал негромко:

– Это я, прост, – и уловил легкое движение.

Значит, не спит. Воздух в спальне застоявшийся, спертый, к тому же странный кислый запах, напомнивший мне кожевенную мастерскую, так пахнет вымоченная в кислотах и прогорклом масле кожа. Я осторожно закрыл за собой дверь – мне не хотелось, чтобы наш разговор слышала хозяйка. Немного постоял, привыкая к темноте. Из-под висящего на окне одеяла на пол сползали слабые потеки света.

– Это я, прост, – повторил я.

Она не ответила. Тогда я подошел к окну и сорвал одеяло. В комнату полился... даже не полился, а ворвался, властно и неумолимо ворвался яркий дневной свет. На секунду я успел заметить огромные, направленные на меня зрачки, но буквально тут же они сузились до размера булабочных головок. И что-то случилось с кожей – серая, отечная, она потеряла обычный атласный блеск. У меня возникло ощущение, что Мария ждала кого-то другого.

– Очень болит голова, – пожаловалась она.

Я снял с табуретки возле кровати ее одежду и сел рядом. Видно было, что свет ее беспокоит, что она готова скрыться куда-то, как скрываются клопы, если приподнять простыню... Но то, что ей и в самом деле плохо, – никаких сомнений.

– Юсси приговорят.

– Кого?

– Юсси. Юношу, которого ты предала.

– Я н-не могу... не... это...

Язык заплетается. Уж не пьяна ли она? Наверное, все же нет. Но головная боль не притворная. Поверхностное дыхание, не хватает воздуха даже на коротенькое предложение.

– Это очень серьезно, Мария. Ты могла бы его спасти. Сказать, как все было на самом деле. Сказать правду, и Юсси отпустят на свободу.

– Я не понимаю...

– Ты и Юсси договорились встретиться в ту ночь. Разве не так? Ты соврала ему, что собираешься с ним бежать. Почему бы тебе не сказать правду?

Тело ее начало трястись и извиваться, будто вот-вот развалится на куски. Я силой удержал ее, достал маленькое деревянное распятие и прижал ко лбу.

– Именем Иисуса, признайся. Это же ты сообщила исправнику Браге, что Юсси придет в ту ночь!

Она попыталась отвести мою руку с распятием и начала судорожно икать. Иисус терзал поселившихся в ее душе демонов. Поняв это, я схватил ее за руки.

– Ты должна изгнать сатану! В твоей душе, Мария, нашел приют сатана! Ты – последняя надежда Юсси. Ему больше не на кого надеяться. А он мечтал позаботиться и о тебе, и о ребенке. Мария, он же готов сделать для тебя все!

Она с неожиданной силой сбросила мои руки. Распятие полетело на постель, но она не дала ему упасть – схватила и с яростью шваркнула о пол. Я поднял, вытер пыль рукавом и заметил трещину, разделившую терновый венец Христа чуть не пополам. Вздрогнул, сунул распятие в нагрудный карман и упал на колени, сложив руки в молитве.

– Изыди, бес, покинь душу этой женщины, именем триединого Бога...

Мария закрыла небесно-голубые глаза и, болезненно сморщившись, еле слышно произнесла:

– Слишком поздно.

– Для Иисуса никогда не бывает поздно, – сказал я самым проникновенным пасторским голосом, над которым работал десятилетиями. – Объятия Господа всегда открыты для нас, но Он ждет, чтобы мы сами сделали последний шаг. И ты должна его сделать, этот шаг! Тужься, Мария, выдавливай дьявола из души!

Мария скорчилась и внезапно закричала так, что я застонал от боли в барабанных перепонках. Распятие в моем кармане раскалилось, сильно запахло кровью и человеческими выделениями... и мимо ног моих проскользнуло что-то и скрылось под кроватью... крыса? Ящерица? Я не разобрал, настолько молниеносным было видение. Я молился не переставая, стараясь перекричать сдавленные вопли молодой женщины. Собственно, вопила не она. Вопили поселившиеся в ее душе демоны.

Наконец она успокоилась. Лицо ее изменилось. На какое-то мгновение мне показалось, что она выздоровела. Что теперь она спасет несчастного, исстрадавшегося Юсси, что мне с помощью Святого Духа удалось совершить чудо.

– Спасибо, Всемогущий... – пробормотал я и протянул ей облатку, но Мария выбила ее из моих рук с такой силой, что облатка раскрошилась и рассыпалась по простыне.

– Уходите, – хрипло и без выражения сказала она.

Повернулась к стене и натянула на голову простыню.

Люцифер, падший ангел. Выпавший из вечного сияния божественных небес ангел... так трудно себе представить это вечное сияние. Может быть, сверкающий под солнцем наст в марте. Жителю севера трудно, если вообще возможно представить что-то более яркое. Искрящийся, белоснежный снег окружает путника со всех сторон, твердая игольчатая корка удерживает его в метре над землей, такая белая, такая чистая и такая прочная, что даже лыжи не оставляют следов. Черные перья лыж не оставляют знаков на пропитанной солнцем снежной бумаге...И ни звука, только веселый шорох переговаривающихся между собой кристалликов всеобъемлющей белизны.

И теперь он бродит среди нас по туманным осенним тропинкам. Люцифер, отвергнутый. Он хочет погасить огонек Пробуждения. Он идет по моим стопам, я знаю, и не только знаю, я чувствую: он за спиной. Я оборачиваюсь, но где там! Он тут же прячется. Никакого движения, разве что легкое покачивание еловых лап... почему они качаются в полный штиль?

– О, Иисус... Агнец Божий...

Осенний мрак сгущается в кронах деревьев, в воздухе стоит туманная изморось, контуры кустов и стволов неверны и размыты. В руках у меня мешок с моими «вещественными доказательствами» – доказательствами, которые стоили мне немало часов размышлений, неоспоримыми доказательствами, которые, как оказалось, гроша ломаного не стоят. Неоспоримые... их даже оспаривать никто не собирался. Мне не удалось спасти Юсси. Мне не удалось спасти Юсси. Слова эти, произнесенные вслух, как забитый в душу осиновый кол. Мне не удалось спасти Юсси, а истинный преступник по-прежнему на свободе.

Я не вернулся в усадьбу. Пошел к церкви в Кенгисе. С чешуйчатой крыши медленно, как слезы, падали дождевые капли. Двинулся вдоль длинной стены нефа, вдыхая пряный запах смолы, – летом крышу отремонтировали и просмолили заново. Панели выпилены вручную, гвозди ковали в местной кузнице, бревна приволокли на лошадях из

окружающих Кенгис бескрайних лесов. Дерево и железо – все свое, местное. Кузнецы и плотники – тоже свои. Я несколько раз обошел вокруг. И в самом деле... Самому ли пришло в голову или где-то вычитал – церковь открыла для прихожан материнские объятия. Грудная клетка, опора и защита тяжело, но упрямо бьющегося сердца прихода. Несколько раз положил ладонь на сруб – от бревен исходит мягкое, почти человеческое тепло. Достал большой ключ и открыл ворота. Кованые петли приветливо скрипнули. Миновал преддверие и вошел в зал. Здесь царил полутьма, в сочащемся из окна абрикосовом вечернем свете скамьи выглядели парадно и внушительно, как шпангоуты на корабле. И торжественная, вибрирующая тишина.

Я прошел к алтарю и еще раз оглянулся на зал. Никто не шаркает ногами, не кашляет, не сморкается, не успокаивает плачущих детей. Колокола молчат, и все же мне кажется: я слышу голос. Ни одного слова не разобрать, но голос этот полон утешения и примирения. Коснулся лбом алтарной скатерти – почему-то до слез тронула грубая вязка орнамента. И запах травы зубровки, которую кладут в бельевого шкафа. *Hierochloë hirta*. Опустился на колени и сцепил руки. Не молился – молча стоял. Чувствовал, как в меня входит вселенская пустота. Стоял на коленях с закрытыми глазами. Вот он, мой мрак, мое отчаяние, вот тут я и нахожусь – в долине мертвых. Бессильный и заброшенный, как дитя. Даже слез нет. Я сделал все что мог, но этого оказалось мало. Я понимал, в какую бездну угодил, но почти ничего не чувствовал, кроме неживого дыхания осени и окружающего мрака.

Время остановилось.

Ничего, кроме мышинного шороха.

Мышь в церковном зале – никуда не годится.

Посмотрел в сторону, туда, откуда доносился этот тихий скребущий звук.

И в ту же секунду мир взорвался ослепительно желтой вспышкой.

Желтая, желтее некуда... светящаяся изнутри яркая, ярчайшая желтизна. И звук. Звук рождался в моем теле, булькающий, как из-под воды. Искрящаяся золотыми брызгами желтизна и глухое ритмичное бульканье. Боль пришла чуть позже, такой силы, что я повалился набок и вся церковь рухнула на меня. Меня уже не было, от меня осталась только эта свирепая боль.

Следующий удар пришелся по спине. По лопаткам – они одновременно треснули и слились воедино. Я беспомощно перевалился на спину, фехтуя руками и ногами, как перевернутый жук.

Надо мной нависла темная фигура. Нападавший придавил грудь коленом и рылся в карманах пальто.

– Я знал, что это ты... что это ты, сатана... – с трудом проскрипел я, закашлялся и получил тычок кулаком в губы.

Во рту сразу стало солоно от крови.

Он выхватил из внутреннего кармана моего пальто картонную упаковку, разодрал и торжествующе поднял над головой стеклянную пластину.

– Ты оставил слишком много следов... – вяло прошептал я, не в силах придать голосу обличительные интонации.

– Заткнись, церковная вонючка!

Голос секретаря полицейской управы Михельссона был полон презрения. Я поднял голову и заставил себя говорить. Надо любой ценой выиграть время.

– Кто мог тебя заподозрить? Мы перешли на «ты», не так ли? Достаточно хорошо друг друга знаем... Безупречный чиновник с необычайно красивым почерком, вежливый и корректный... а? Но у всех у нас есть недостатки. И ты угодил в пропасть.

– Как это?

Голос по-прежнему брезгливо-презрительный, но интерес появился. Я его ясно почувствовал, этот интерес.

– Любовь, Михельссон. Отчаянная, безоглядная, всеразрушающая любовь. Ведь именно любовь пугала тебя в женщинах?

– Заткнись!

– Ты искал близости, но что-то тебе мешало. И когда ты вернулся с гор, где с исправником расследовал кражу оленей, страсть тебя доконала. Ты спрятался в лесу и убил Хильду Фредриксдоттер. Всё. Пути назад нет, а похоть проснулась и с каждым днем становилась все сильнее, она не давала тебе покоя. Вскоре настала очередь Юлины Элиасдоттер, но ей удалось больно ткнуть тебя в плечо и ускользнуть. Ты боялся, что она тебя опознает даже с замотанной физиономией, и задушил ее. Но это все лишь начало... ты все время не спускал глаз с Марии, самой красивой из всех.

– Мария здесь ни при чем.

– При всем. Разумеется, при всем. Но с Марией было по-другому. Ты хотел завести с ней роман. Но нужен повод, чтобы завязать и укрепить знакомство. И ты сказал ей, что тебе, как секретарю управы, стало известно, кто насильник и убийца. Разве не так?

– В приходе все думали на Юсси.

– И в одну из ваших встреч Мария рассказала тебе о богатстве художника Нильса Густафа. Она случайно увидела тайник с деньгами, пока он писал ее портрет. Но пороки, как известно, любят компанию, и в тебе, кроме неутолимой похоти, проснулась еще и жадность. У тебя из головы не выходил этот клад. В конце концов ты раздобыл сильный яд...

– А ты не забыл, что дверь была заперта изнутри? – усмехнулся Михельссон.

– Нет, не забыл. Я долго ломал голову над этой загадкой, но все же решил. Мы с Юсси знали, что кто-то приходил к Нильсу Густафу в тот вечер, и я нашел отпечатки пальцев на коньячном бокале. Я взял бокалы домой – с разрешения исправника. Помнишь, Михельссон? С разрешения исправника. А когда ты и Браге приходили ко мне в усадьбу и пили воду, я сравнил папиллярные линии на стаканах. И никаких сомнений: отпечатки на коньячном бокале у Нильса Густафа твои, Михельссон. Мало того, я выявил твою подпись на блокноте квитанций, хотя ты предусмотрительно вырвал лист. Ведь тебе был нужен повод, и ты соврал художнику, что хочешь заказать портрет. Дождался, пока он выйдет по нужде, и... долго искать не пришлось, Мария тебе все рассказала. Ты украл его деньги. Сумма, думаю, немалая. Ты прекрасно понимал, что кража рано или поздно обнаружится, но ты подготовился. У тебя был план.

– А где свидетели?

– Пока ты спокойно смаковал коньяк, Нильс Густаф наладил дагерротипический аппарат и попросил тебя сидеть неподвижно. Но тебе и в голову не могло прийти, что твоя физиономия останется на стеклянной пластинке. И пока он возился и накрывал голову одеялом, ты всыпал в его стакан синильную кислоту.

– Чушь!

– В Упсале я был знаком с одним химиком, горячим последователем Карла Вильгельма Шееле^[30]. Именно Шееле и открыл синильную кислоту. А мой химик показал, как обнаружить ее

присутствие: добавить хлорид железа. Образуется ярко-синий краситель, получивший название «берлинская лазурь». Короче, в одном из коньячных бокалов я обнаружил присутствие яда. Синильной кислоты. И понял, к своему ужасу, что смерть Нильса Густафа не была естественной.

– Что ж ты не сообщил Браге?

– Правильный вопрос. Не сообщил, потому что подозревал, что он и есть убийца. Пришлось немало поломать голову. Давай-ка вернемся к тому вечеру. Нильс Густаф хотел проявить пластинку и показать тебе, но ты поторопился уйти. И ушел. С полными карманами денег. Нильс Густаф запер за тобой дверь – он всегда запирался на ночь – и вскоре почувствовал недомогание. Прилег на постель... И на следующее утро его нашли мертвым. Заметь – в запертом изнутри доме. Конечно же смерть от естественных причин – убийца же не мог запереть за собой дверь. Апоплексический удар. Странно в таком возрасте, но бывает. А ты, Михельссон, потирал руки: тебе удалось совершить идеальное преступление, да еще и разбогатеть в придачу.

Пока я говорил, лицо Михельссона постепенно наливалось желтоватой белизной, он стал походить на череп с черными провалами глазниц. А на последних словах вены на шее набухли, лицо побагровело, я почти физически ощутил яростный прилив крови. Он зарычал и склонился надо мной, и я ужаснулся. Это было существо из иного мира, дышащее раскаленной серой. Под куполом церкви заматались странные хвостатые тени, и я услышал тысячеголосый победный Вельзевулов клич. Михельссон сомкнул пальцы на моем горле и начал душить. Из его открытого рта капала слюна. Я изворачивался как мог, попытался повернуться на бок, но он придавил меня всей тяжестью своего тела. К тому же он сильнее. Я попытался поймать его взгляд – поймал и похолодел. Во взгляде его не было ни гнева, ни азарта, ни злорадства. Глаза его ровным счетом ничего не выражали. Пустые, остановившиеся жабы глаза. Они казались черными. Его бледно-голубые водянистые глаза стали черными, как болотная вода в окружении огней преисподней. Наверное, именно он, этот нечеловеческий взгляд, и отнял у убитых им девушек последние силы.

Он не просто сильнее – он гораздо сильнее меня. Освободиться не получилось, но пока я держался. У девушек, в отличие от меня, не

было пасторского воротника. Туго накрахмаленный воротник не давал ему стиснуть мою шею так, чтобы я не мог дышать. Дышать я мог. С трудом, но мог. Благодаря воротнику тонкая струйка воздуха все же прорывалась в гортань.

Я нащупал в кармане складной нож и попытался его открыть одной рукой. Это оказалось нелегко, но в конце концов мне удалось подцепить ногтем большого пальца риску на лезвии, нож открылся. Я изготавился, улучил мгновение и полоснул ножом его руку. Острый как бритва нож вонзился довольно глубоко между костями предплечья. Он замер – похоже, не сразу понял, что произошло, и ослабил хватку. Я рванулся что было сил, резко подобрал ноги и толкнул его в живот. Я невелик ростом, но ноги у меня сильные, – еще бы им не быть сильными после бесчисленного количества исхоженных миль! Попытка удалась – Михельссон покатился к алтарю. Вскочил, огляделся, и взгляд его упал на тяжелый деревянный крест. Он схватил его, размахнулся и нанес удар, но я в последнюю долю секунды увернулся от удара – почувствовал только волну воздуха на щеке.

Надо что-то придумать.

На деревянном постаменте стояла большая серебряная чаша для крещения. Я отчаянно рванул ее к себе, поднял как щит, и вовремя: следующий удар пришелся по купели. Будто ударили в колокол.

– И-и-и-сус! – И-И-И-СУС! – хрипло и отчаянно закричал я.

Опять и опять призывал я Иисуса. Голос, отшлифованный сотнями проповедей, вознесся под купол, вылетел за врата, покатился по церковному холму, по лугам, его должны были услышать работники хуторов, служанки и заводские рабочие. Неужели впустую?

Михельссон вторично занес крест, и мне вновь удалось защититься купелью.

Еще один гулкий удар колокола.

Я, наверное, был похож на римского гладиатора: в одной руке щит, а вместо меча – коротенький перочинный нож.

– И-И-И-И-И-И-СУ-У-УС!

Из руки Михельссона обильно текла кровь, но он не обращал внимания. Очередной удар креста, на этот раз хитро, сбоку, – и купель выпала у меня из рук. Я потерял равновесие и упал на спину. Он подскочил, саданул меня ногой в грудь и занес крест – ясно, что

целится в голову. Увернуться уже не было сил. Я поднял руки над головой и зажмурился, ожидая смерти.

Послышался глухой удар, будто кто-то расколол полено. Михельссон дернулся и отлетел в сторону. И раздался еще один удар. Тяжелое алтарное распятие с кротким ликом Христа парило над полом. На какую-то секунду в церковь проник луч вечернего солнца, и, прежде чем опуститься в третий раз, крест просиял чистейшим золотом. Михельссон завопил от боли – а может быть, и от ужаса. И заковылял по проходу, вихляясь, как, наверное, вихляется сам дьявол.

А Иисус кротко смотрел на меня. Перекладина креста отвалилась, но он по-прежнему держал руки раскинутыми, точно хотел взлететь, вернуться на небеса. И через секунду, плавно покачиваясь, перелетел на прежнее место на алтаре. Только теперь я увидел, что распятие держит женщина. Милла Клементсдоттер. Конечно же, это была она. Маленькая, тщедушная, в старом домотканом платье. Она тяжело дышала и смотрела на меня, а я понимал, что брежу, и все-таки это был не бред.

– Милла... ты спасла меня. Ты спасла меня, Милла...

Она приоткрыла рот, точно хотела что-то сказать, и, наверное, сказала, потому что губы ее шевелились. Но слов я не слышал. Подняла руку, перекрестила святое триединство распятия, повернулась и пошла прочь, неслышно ступая своими мягкими, с загнутыми носками оленьими кеньгами.

Все это произошло в абсолютной, оглушительной тишине, и я решил, что брежу.

Я с трудом встал на ноги и вышел в проход, то и дело почти теряя сознание. На полу лежала перекладина распятия. Заставил себя нагнуться, поднял, положил на алтарь – кто знает, может, удастся приклеить – и побрел по проходу, от ряда к ряду, опираясь на спинки скамеек.

В холодный и дождливый осенний день суд вынес приговор Юсси Сиеппинену. Обвиняемый признан виновным в убийстве Хильды Фредриксдоттер, попытке изнасилования и убийстве Юлины

Элиасдоттер, попытке изнасилования служанки с хутора и краже денег. Доказательства обвинения и письменные признания подсудимого признаны достаточными для приговора. Смертная казнь путем отсечения головы.

Я получил это известие дома. Лежал на диване на мягкой, мохнатой и теплой подстилке, пахнувшей муравейником и древесной корой. Только что выделанная шкура убитой летом медведицы досталась мне в виде церковной десятины от охотников. Они узнали, что я нездоров, и хоть и обещали шкуру заводчику Сольбергу, но притащили мне.

– Лечит почем зря, – заверил меня старший. – Кто спит на медвежьей шкуре, тому все трын-трава. Никогда не помрет.

И вот – страшное известие. Я лежал неподвижно, как парализованный, малейшее движение причиняло сильную боль. Брита Кайса сидела рядом и ласково гладила меня по голове. Чудо, что ни одна кость не оказалась сломанной, но передние зубы качались, и я подозревал, что вновь укорениться им уже не под силу. Так сказать, не по зубам. Печальный каламбур.

– Отсечение головы, – повторил я монотонно, но, очевидно, в голосе моем прозвучало такое отчаяние, что Брита Кайса вздрогнула.

– Ты сделал все что мог, дорогой мой прост...

– Но я не защитил Юсси. Он же мог быть нашим сыном. Я не предусмотрел, что мои доказательства не имеют юридической силы. Методы не апробированы.

– Ты сражался как лев.

– Дай мне бумагу. Я должен срочно написать обжалование. Бумагу, перо и чернильницу. Принеси чернильницу! – Я сделал попытку встать, но она положила руку мне на грудь, на поврежденные ребра.

– Позже, – решительно произнесла Брита Кайса. – Это и в самом деле Михельссон? Тот, который тебя чуть не убил?

– Он, и никто другой.

– И он насиловал и убивал наших девушек?

– Я его подозревал, но потом отказался от этой мысли.

– Почему?

– Потому что убийца – левша. А я заметил, что Михельссон пишет правой рукой. Как он мог быть убийцей? Тогда все мои теории гроша

ломаного не стоят. Но потом я вспомнил рассказ Юхани Рааттамаа.

– Какой еще рассказ?

– А ты не помнишь? Когда Юхани приезжал? Летом? Рассказывал, как переучивает леворуких детей, заставляет их писать правой. И я вспомнил – Михельссон учился у Рааттамаа! Поэтому он и пишет так странно – заложив левую руку за спину.

Брита Кайса кивнула и сжала губы, вокруг рта образовались частые неглубокие морщинки.

– Мы должны на него заявить.

– Кому? Исправнику Браге? Ему я не верю.

– Ты поранил ему руку!

– А что я должен был делать? Подставить другую щеку?

– Ты не понял. Разве я тебя упрекаю? Но это же доказательство!

– Михельссон будет утверждать, что это я на него напал. Что он... как это у них называется? Необходимая оборона, вот как. Он необходимо оборонялся.

– И что? Это чудовище будет продолжать жить среди нас? Михельссон опасен, как медведь, отведавший человеческого... женского мяса.

– Теперь он меня боится. Думаю, скоро покинет наши края.

– И продолжит насиловать и душить девушек где-то еще?

Моя мудрая жена, конечно же, права. Но что я могу сделать? Юсси осужден, обвинения Михельссону предъявлять поздно.

– Мне сказали, он вчера приходил к Марии.

– Наверняка планируют уехать вместе. Почти уверен, что Мария подсказала Михельссону, где Нильс Густаф прячет деньги. И тогда у него... или у них возникла мысль этими деньгами завладеть. Убить художника и завладеть его деньгами.

– Он что – дьявол?

– У меня тоже была такая мысль.

– Он же пытался тебя убить!

– Убить Пробуждение нельзя. Даже если бы мне пришел конец там, у алтаря, наше движение убить нельзя. Оно продолжает жить.

Брита Кайса сжала мою руку.

– Думаю, мы еще не видели последней битвы. Армагеддон еще предстоит.

– В каком смысле?

– Думаю, будет хуже. Много хуже. У меня скверные предчувствия.

– Куда уж хуже?

– Мне снилась кровь. Кровь, горящие дома... Ты тоже там был. Стоял, смотрел и не мог их остановить.

– Кого – их?

– Похожи на людей, но называют себя ангелами. Лица, как мел, словно выжжены добела небесными молниями.

– Ты имеешь в виду Кауто... – начал было я, но Брита Кайса торопливо приложила палец к моим запекшимся губам и беспокойно оглянулась через плечо.

Там никого не было.

Сразу после оглашения приговора на Юсси Сиеппинена вновь надели кандалы и погрузили в тюремную повозку – его должны были отвезти в Умео. Я даже не смог с ним попрощаться. Библия, которую он мне вернул, лежала дома. Я горько пожалел, что он не оставил Библию у себя. В клетке для приговоренных к казни он, возможно, утешился бы Божьим словом. Мне оно, по крайней мере, не раз приносило покой и просветление.

Я еще не вставал. Мрачно перелистывал его Библию – искал слова, которые могли бы хоть самую малость укрепить мой дух. Всё – суета и томление духа^[31]. Погоня за ветром... Это, конечно, мудрые слова, но не те, которые мне хотелось бы услышать.

Я продолжал листать прозрачно-тонкие страницы, и вдруг пальцы мои наткнулись на нечто необычное. Несколько страниц у нижнего обреза смяты и поцарапаны, будто кто-то листал торопливо и небрежно. Как неприятно... Может, удастся разглядеть, если слегка увлажнить бумагу и положить под тяжелый пресс? А вот еще через пару страниц... и еще. Я почувствовал раздражение – как можно так обращаться с Книгой? Сам я педантично аккуратен с книгами и, как мне казалось, приучил и Юсси – это было обязательным условием. Хочешь пользоваться моей библиотекой – обращайся с книгами почтительно. Или это надзиратель в каталажке залапал страницы своими корявыми пальцами? Я досадливо крикнул и собрался было листать дальше, но замер с занесенной рукой и сел в постели.

– Сельма! Принеси карандаш! – крикнул я.

Через минуту вошла старшая дочь с чернильницей.

– Нет... я же просил карандаш. Найди самый мягкий. Он лежит на моем столе справа.

Когда карандаш уже был у меня в руках, я засомневался. Пачкать Слово Божье? Но все же решился и начал, затаив дыхание, растушевывать графит по смятым страницам. Очень скоро я увидел, как мелкие, на первый взгляд бесформенные царапины на смятом обрезе образуют белые знаки.

Достал лупу и окончательно убедился в том, в чем уже и так был уверен: это были буквы, составляющие слова, написанные по-саамски – наверняка из предосторожности. Он, Юсси, вспомнил трюк, который я ему показывал. Наверное, пользовался иглой или чем-то острым, а потом примял страницы, чтобы я обратил внимание.

Весь вечер я, полусидя в постели, буква за буквой восстанавливал записи Юсси. Отказался от ужина, как ни уговаривала Брита Кайса. Не до еды – я погрузился в иной мир.

Юсси писал о своей жизни. О своем детстве, о непроглядном и непредставимом мраке, в котором жил до того, как я нашел его в канаве. О своей сестре Анне Маарет, которую дразнили зайчонком из-за того, что она ползала на попке и растирала ягодички до крови. Он ушел, а она, его сестра, единственное дорогое ему существо, осталась там...

Я опустил лупу и потер уставшие глаза. Никогда и нигде я не читал ничего подобного. Это было начало книги. Настоящей книги, сильного и убийственно правдивого описания жизни на грани вымирания, жизни, на которую осуждены тысячи людей у нас на севере, далеко за пределами учебных залов и аудиторий.

И если самый обычный саамский мальчуган смог написать такое, почему не могут другие? Ремесленники и оленеводы, охотники и рыбаки, служанки и лесорубы? Может быть, придет время, они обретут голоса, расскажут о своей жизни. И будут покупать не перегонную отраву, а книги. Будут ходить друг к другу в гости по вечерам и беседовать о негаснущем летнем небе, о животных и растениях, обо всем на свете. Но главное, о том, что это значит – быть человеком.

Жена моя уже спала, когда я лег. На дворе царила непроглядная ночь, только тусклые гвоздики звезд в одному Богу известном порядке

торчали в траурно-черном небе. Нет, им не удастся убить Юсси. Я обязан спасти его – любой ценой.

Вот и зима постучалась в двери. Северные ветра пригнали армаду тяжелых туч, и над всей Лапландией зарядил непрекращающийся дождь. И в эту омерзительную погоду я пошел в Пайалу. Все тело ломило и саднило, но я, скрипнув зубами, заставил себя двинуться в путь по скользкой, раскисшей дороге.

Постучал в дверь большого дома, где помещалась контора исправника. Там же он иногда и ночевал. Еще раз постучал, открыл дверь и вошел.

За письменным столом сидел секретарь управы Михельссон и прилежно что-то писал. Увидев меня, он замер и оторвал перо от бумаги. Взял себя в руки, нарочито медленно промокнул написанное пресс-папье и спросил, почти не разжимая губ:

- Что вам угодно?
- Я ищу исправника Браге.
- Он в отъезде.

Меня окатила неправдоподобно горячая волна от пылающего камина. Я открыл портфель и достал завернутый от дождя в пеньковую клеенку лист.

– Здесь обжалование приговора Юсси Сиеппинену в Верховный суд Норрланда. Я хотел бы вручить эту бумагу исправнику Браге с дальнейшим прохождением по инстанциям.

– В отсутствие господина исправника Браге за все формальности отвечаю я.

Тихо, хрипло, без выражения – но уверенно. Равнодушные бледно-голубые глаза. А ведь он заметил, в каком я состоянии. Разбитые губы только-только начали заживать, на шее – расцветшие мертвенной желтизной синяки.

- Тогда попрошу квитанцию.

Я положил бумагу на стол. Он достал из ящика блокнот с квитанциями и заполнил. Правой рукой. Левую заложил за спину – как учил Рааттамаа. Длинные сильные пальцы, поскрипывающее перо – и

безукоризненный, как всегда, почерк. Намного лучше моего. Он положил на квитанцию пресс-папье, покачал несколько раз, оторвал квитанцию и протянул мне. Я сделал вид, что хочу принять квитанцию, но вместо этого схватил его за левое запястье и резко повернул. Он вскрикнул, попытался вырвать руку, правой рукой сильно ударил меня по сжатому кулаку.

– Вам больно? – участливо спросил я. – Уж не повреждена ли ваша рука, Михельссон?

Он привстал и приготовился ударить еще раз, но я быстро убрал руку.

– Не понимаю, о чем говорит господин прост.

– Возможно, о нашей... назовем ее так... дискуссии относительно стеклянной пластинки. В церкви в Кенгисе, если мне не изменяет память.

– Прост ошибается.

Он полностью овладел собой – тон не сказать чтобы преувеличенно вежливый, но корректный.

– Моя супруга, Брита Кайса, все знает, Михельссон, и готова дать свидетельские показания.

– Совершенно не понимаю, на что намекает прост. Преступник, совершивший этим летом столько преступлений, схвачен, осужден и вскоре будет обезглавлен. И если прост будет продолжать распространять про меня злостные и неправдоподобные слухи, то должен считаться с возможным обвинением в лжесвидетельстве.

Рот его скривился. Он что – улыбается?

– Значит, собираешься продолжать, – констатировал я. – Вошел, так сказать, во вкус.

– Я требую, чтобы господин прост оставил меня в покое. И не только меня – мою будущую жену, которой он непрерывно досаждаёт.

– Жену? Ты имеешь в виду Марию?

Михельссон сделал строгое выражение лица и кивнул.

– Мы не считаем, что господин прост способен нас достойно обвенчать, поэтому намерены поселиться в другом уезде.

– Купите дом? На деньги, украденные у Нильса Густафа?

– Прошу господина проста удалиться. У меня очень много работы. – Михельссон театрально показал мне на дверь.

– Ваша рана кровит.

Я наверняка сорвал корку на предплечье – собственно, таково и было намерение. Рукав намок и потемнел, капля темной крови упала на стол.

– Ничего подобного.

Секретарь привычно потянулся за пресс-папье, промокнул каплю, сорвал впитавшую кровь бумагу и бросил в камин. Она мгновенно вспыхнула, и через пару секунд от нее осталась невесомая мучнистая бабочка. Вспорхнула в горячих токах пламени и исчезла.

Я застегнул пальто и молча вышел на улицу. Ледяной дождь лил с той же беспощадной силой.

Продрогший и насквозь промокший, я возвратился в усадьбу и бросился к печи.

– У нас гостья, – тихо сообщила Брита Кайса.

Что-то в ее тоне заставило меня насторожиться. Я настолько торопился согреться, что не обратил внимания – на табуретке сидела крошечная и худая до прозрачности молодая саамская женщина. Я поздоровался. Она ответила, но глаз не подняла.

«Милла, – успел я подумать. – Милла Клементсдоттер...»

Но почти сразу очнулся – нет. Это не Милла. Эту женщину я видел совсем недавно, и куда ближе, чем в Оселе.

– Она пряталась в коровнике, – сообщила Брита Кайса. – В сене. Я бы и не заметила, да скотина забеспокоилась.

– В коровнике?

– Думаю, подоила немного и молока попила. Похоже, она не первый день там прячется. И молчит. Клещами слово не вытянешь.

Я очень медленно, чтобы не испугать, подошел к гостье. Сарафан очень старый, латаный-перелатаный, к тому же, скорее всего, перешит из каких-то тряпок. Я взял ее за руку – ледышка.

– Мир тебе, – поздоровался я опять, на этот раз по-саамски.

Она, как мне показалось, не слышала, но внезапно сжала мою руку с неожиданной силой. Я попытался отнять руку. Она не отпускала. В ее застывшем лице было что-то пугающее – узкий нос, необычный изгиб бровей напоминали испуганного зверька.

– Я поначалу решил, что ты Милла из Оселе. – Я изо всех сил старался не повысить тон.

Она молча замотала головой.

– Теперь и сам вижу, что нет. Но я тебя узнал. Это ты была в церкви и спасла мне жизнь. – Я осторожно отнял руку и обнял ее. Появилось ощущение, что я обнимаю кусок льда. Только сейчас я понял, насколько она замерзла.

Девушка издала какой-то мышинный писк, тело ее обмякло, дыхание стало глубже и ровнее. Она постепенно оживала.

– *Munlea... lea...* – *заикаясь, прошептала она.*

Неожиданно низкий и хриплый голос, словно осипший от крика.

– Я знаю, кто ты, – прошептал я. – Тебя зовут Анне Маарет. Ты сестра Юсси.

От нее пахло несколькими днями пути без ночлега – старым потом и болотным туманом.

– Я предложила поесть – отказывается, – с упреком сказала Брита Кайса.

– Теперь не откажется, – уверенно сказал я. – Ведь так, Анне Маарет?

Не выпуская ее из объятий, я провел сестру Юсси к кухонному столу. Брита Кайса тут же поставила перед ней миску с теплой кашей – видно, держала на поду наготове. Девушка каким-то птичьим движением вытянула шею и несколько раз втянула носом воздух – совсем как лиса, почуявшая под снегом мышь. Неловко зажала металлическую ложку между указательным и большим пальцами, хотела зачерпнуть каши, но отвлеклась: увидела свое искаженное отражение в выпуклой полированной поверхности ложки.

Каша была довольно крутая; девушка неумело разрежала ее рукояткой ложки на куски, опустила голову к тарелке и начала, как лопаткой, придвигать нарезанные комки к губам. Так может есть маленький ребенок. Или настолько замерзла, что руки не слушаются.

Я покосился на жену – она, как мне показалось, была близка к обмороку. Смотрит словно замороженная, как я потираю побаливающие от звериной хватки этой крошечной девчушки пальцы.

– Это сестра Юсси.

Брита Кайса увидела, с какой скоростью исчезает с тарелки каша, и на глазах ее выступили слезы.

– Хочешь еще? – спросила она по-саамски. – Добавку дать?

Конечно, дать. Еще бы!

Я нагрузил мгновенно опустевшую миску кашей, а Брита Кайса тем временем постелила для гостя на полу – как раз там, где спал Юсси.

Когда я проснулся на следующее утро, соломенная подстилка была пуста. Я прошел в кабинет и с удивлением обнаружил, что девушка сидит на полу у библиотечных полок с книгой в руках и, шевеля губами, листает страницы. Никто в доме не имел права трогать мои книги. Никто, кроме Юсси.

Она посмотрела на меня так, будто я вторгся в ее владения. Она читала автобиографию епископа Сунделля – книгу, на мой взгляд, не самых высоких литературных достоинств.

– Значит, Анне Маарет умеет читать?

Она кивнула.

– А кто ее учил? Юхани Рааттамаа? Или кто-то из миссионеров?

– Мой брат. Меня научил читать мой брат.

Я был поражен.

– Юсси? Когда успел?

– Когда приходил.

Господи, конечно же... Все эти странные и долгие исчезновения Юсси, которым я не мог найти объяснения... Иногда он исчезал на месяц, иногда даже на два, но всегда возвращался. И исчезал, и возвращался неожиданно.

– А как он тебя учил?

– Рисовал на земле.

– Рисовал буквы? А потом произносил их вслух?

Она быстро и, я бы сказал, даже весело кивнула. Очевидно, осталась довольна моей понятливостью.

У меня по спине побежали мурашки – так живо представил я эту картину. Девочка и мальчик идут к горному ручью, там, у журчащей воды, есть небольшая глинистая отмель. Юсси берет палочку и рисует неуклюжие буквы.

«А, – говорит он. – Ааааа...»

«Ааа», – повторяет она.

«А-а-анн», – показывает он палочкой на следующую закорючку.

«А-а-анн... Это мое имя! Анне!»

– Из Юсси мог бы получиться замечательный учитель, – сказал я не столько ей, сколько самому себе. – А что делала Анне Маарет там, в

горах?

– Заботилась. О маме и папе. Чтобы не померли.

– Но Юсси никогда о них не рассказывал. Я был уверен, что он сирота.

– Они все равно померли. Этим летом.

– Сожалею. Это большое горе.

– Они были... пьяницы. – Она произнесла эти слова почти неслышно, шелестящим шепотом.

Мне стало так ее жаль, что я с трудом подавил желание опять заключить ее в объятия.

Вместо этого я грустно кивнул.

– Мой отец тоже страдал этим пагубным пристрастием...

Мне всегда было трудно касаться этой темы, хотя я подробно все и описал в «Голосе кричащего». Отцовское бешенство по поводу любой мелочи, его рыкающий, горловой крик... Мать месяцами выбивалась из сил во время его долгих «деловых поездок», как он это называл, – попросту исчезал из дома. А когда возвращался – бил мать. Это было самое страшное: он бил мать, а мы с Петрусом ничем не могли помочь, прятались под столом, как испуганные щенки.

– Значит, Анне Маарет пришла рассказать брату о смерти родителей?

– Не-а. Он уже знал... – Она опустила веки, помолчала. Потом открыла глаза и посмотрела на меня очень твердо, будто толкнула в грудь. – Я пришла за ним.

– Но Юсси... Ты, может быть, не слышала? Юсси осужден за тяжелые преступления. За насилия против женщин.

– Он ни в чем не виновен.

– Я знаю, знаю, – поторопился я согласиться. – На суде я его защищал, но судьи меня не слушали. Вернее, слушали, но не слышали.

– А где мой брат сейчас?

– Юсси... Юсси отвезли в Умео на тюремной повозке. Решение суда я обжаловал, так что есть еще надежда, что его помилуют.

– Помилуют?

– А разве Анне Маарет не знает? Юсси приговорили... – Я собрался с духом. – Юсси приговорили к смертной казни через отсечение головы...

Девушка смотрела на меня так же твердо. Выражение лица не изменилось – наверное, не поняла.

– Он невиновен, – повторила она. – Он ничего плохого не делал. Это кто-то другой.

Я обреченно кивнул.

– Тот, кто на вас напал в церкви. Это он и есть.

Зрачки сузились до булавочных головок. На шее устроилась жирная коровья блоха.

– Но как до него добраться? Как добраться до секретаря полицейской управы?

– Ему и надо отрубить голову, а не моему брату.

– Я думаю, Анне Маарет неплохо было бы помыться. Я скажу служанке, чтобы затопила сауну.

И в самом деле, от нее пахло болотом, прогорклым салом, застарелым потом – запахи, которым не место в жилом доме.

– Найдется и чистая одежда. Все твое мы постираем и прокалим на камнях в сауне. В твоём платье полно вшей.

Она опять хотела схватить меня за руку, но я ее опередил и постарался объяснить:

– Вши – как наши грехи. Время от времени случается с каждым.

Этой ночью мне снилась Милла Клементсдоттер в Оселе. Она стоит у врат церкви. Зимний день, на церковном холме собралось множество народу, и все хотят попасть на службу. Я подхожу к воротам, достаю связку и вставляю ключ в замок. Но он почему-то мал. Я пробую другой – велик. Начинаю нервничать, пробую один ключ за другим – ни один не подходит. Нетерпение и недовольство в толпе растут, меня обвиняют во лжи и коварстве: ты заманил нас на службу, пастор, а храм-то никуда не годится. У меня словно пелена спадает с глаз, и я вижу – они правы. Стены подгнили, потолок вот-вот обрушится, окна разбиты. Я в ужасе отступаю – сейчас развалится и погребет под собой всех этих людей. Разойдитесь, кричу я, спасайтесь, ищите убежище! Но меня никто не слушает, толпа обступает меня все теснее, они угрожают мне кольями, поленьями, кое у кого камни в руках, кто-то уже вытащил нож. Мне конец, решаю я, и вдруг слышу небывалой силы и чистоты голос. Это Милла. Разойдитесь, кричит она, и толпа расступается. Она стоит на неизвестно как сюда попавшей церковной скамье и разговаривает с людьми. Я забираюсь на скамью,

встаю рядом с ней и вдруг понимаю, что она гораздо выше ростом, чем я, к тому же растет с каждым произнесенным ею словом. Она уже настоящая великанша. Она читает проповедь так громко и яростно, что все здание церкви попадает в резонанс и начинает дрожать и раскачиваться. Речь ее полна священного гнева – я никогда в жизни не встречался ни с чем подобным. И слова ее действуют на толпу – мужчины и женщины сжимают кулаки, воют совсем по-волчьи, кто-то ухает, как филин, но они и не собираются на нее нападать, как только что на меня, – нет, они все ее ученики и апостолы. И не только она – все они тоже растут. Обычные пастухи, нищие ремесленники, служанки на глазах превращаются в настоящих гигантов. Только я не расту – остался таким же, как был, и среди этих великанов чувствую себя ничтожным карликом. И тут слышится медленно нарастающий, как при грозе, гром. Я поворачиваюсь и вижу, как церковь оседает на только что выпавший, девственно чистый снег.

На следующее утро Анне Маарет исчезла. Взяла, как мне сказали, выстиранную одежду и ушла.

– Она в доме не спала, – заметила Брита Кайса. – Матрас не смят.

Я промолчал, постарался скрыть растущую тревогу. Брита Кайса протянула мне кусок вчерашней вареной щуки. Я начал выбирать кости из белого разваливающегося мяса.

– Что нынче снилось просту? – Брита Кайса слегка улыбнулась.

– Снилось?

– Постель ходуном ходила. И разговаривал.

– Разговаривал?

– Так-то не разобрать, во сне люди по-другому говорят. То бормочут, то орут что-то... не поймешь. А ты только и повторял: «Милла, Милла».

– Да... мне снилось Пробуждение.

– Вот как?

– А может, и нет. Не Пробуждение. Но, знаешь... меня испугала толпа. Волчья стая... Как мгновенно нарастает ярость у этих несчастных людей, как она ищет немедленного выхода...

– И что случилось?

– Не помню...

– Конечно, помнишь. Ясное дело – помнишь.

Она и в самом деле видит меня насквозь. Я попытался засмеяться, не то каркнул, не то закашлялся и пробормотал:

– Церковь обрушилась...

– Как это? Совсем?

– Гнилая была, вот и обрушилась.

Обсосал пальцы, скользкие от рыбьего жира.

– Скажи-ка мне, дорогая супруга, как ты думаешь – Пробуждение в женщинах проявляется сильнее, чем в мужиках?

– Не знаю... бывает такая мысль. Наверное, да.

– Но почему? Может, женщины ближе к Богу?

– Мужчинам больше чего терять.

– А почему за нашим движением больше бедняков, чем богатых?

– И богатым больше чего терять.

– Не уверен. И мужчины, и богатые выигрывают на духовном очищении ничуть не меньше, чем остальные. Разве не все стремятся к вечной жизни?

– Так... опять пришла пора терзаний, – сказала Брита Кайса с притворной суровостью.

– Нет-нет... дело не в этом. Если, скажем, все угнетенные встанут и поднимут голос... станет ли мир лучше?

– Ты хочешь сказать, что женщинам в твоём приходе пора перестать молчать? Может, прост возьмется обучить женщину-проповедника?

– И как ты думаешь – мужчины будут ее слушать?

– Господин прост знает на своем опыте. Он же слушал Миллу в Оселе. И услышал. Это ее слова побудили проста начать Пробуждение. Ты же сам говорил!

– Да. Говорил.

– Слова женщины, если ты не забыл.

– Да-да... Человечество, похоже, подстерегают ужасные опасности. Дракон проснулся в своей пещере.

– С каких пор прост стал верить в драконов?

– Многоголовый дракон. Дракон пьянства. Дракон воровства. Дракон гордыни. Что за времена ждут наших потомков? наших

бедных внуков и правнуков?

– Что за времена? У этих времен есть название: тысяча девятисотые годы.

– Девятнадцать ноль один, девятнадцать ноль пять... девятнадцать. Странное число – девятнадцать. Союз первой и последней цифры, если не считать нуля. Союз самого низкого и самого высокого.

– Как жизнь.

– Как война.

Она не ответила, но я обратил внимание, что разговор ее взволновал. Брита Кайса уже поела, а я даже не начинал. Обглодал маленький кусочек вчерашней рыбы – и все. Но мне захотелось ее успокоить.

– Ерунда все это... Спал плохо и сон дурацкий, – начал было я, но она уже поднялась и пошла к плите – утром всегда много дел.

Я сжал кулак – как подушка с иголками. Рука онемела, плохо слушалась, а к горлу подступала изжога.

Сочащиеся влагой стены городской тюрьмы в Умео казались расплывчатыми из-за постоянной измороси. В конторе сидел начальник тюрьмы Торстенссон и разбирал корреспонденцию. Писем было много, предстояло позаботиться обо всем: мука, обувь, тюремные робы на утепленной подкладке. И письмо от некоего доцента: тот узнал, что предстоит, как он выразился, декапитация саамского юноши, и покорнейше просил передать отрубленную голову в научных целях. Она ему необходима для важнейших антропологических изысканий. К письму была приложена посылка – деревянный ящик, заполненный крупной солью, предназначенный для транспортировки искомой головы.

Вошел надсмотрщик по фамилии Хольмлунд, крестьянский парень из Сэвера. Видно было, что он боится сделать что-то не так. Стоит и переминается с ноги на ногу, прижав к груди форменную фуражку. Сапоги поскрипывают, на носу висит большая капля.

– И что? – проворчал Торстенссон.

- Она опять здесь. Сестра.
- Эта лапландка?
- Принесла передачу брату.
- Что за передача?
- Еда. Хлеб и масло.

Торстенссон посмотрел в окно, забранное, как в камерах, железной решеткой. По стеклу змейками бежали струйки дождя.

- А как ведет себя осужденный?
- Тихо. Никаких замечаний.
- Он содержится отдельно от других заключенных?
- Как и приказал господин Торстенссон.
- Пусть встретятся. Проверь передачу, чтобы там ничего такого...
- Само собой, господин директор.
- Она что, каждый день приходит?
- Каждый день. Но она... думаю, она ворует продукты в городе.
- Хольмлунд в этом уверен?
- Уж больно бедно одета, господин директор. Вся в рванье.

Откуда у нищенки деньги на масло?

- Молодец, Хольмлунд. Хвалю за наблюдательность. Свободен!

Хольмлунд неуклюже отдал честь и вернулся на проходную. Лапландка так и стояла там со своим узелком. Лицо грязное, одежда почему-то пахнет горелым. Хольмлунд соорудил суровую мину, взял из узелка хлеб, выложил на досмотровый стол и разломил пополам. Потом разломил половинки на половинки – и так чуть не до крошек. Взял комок масла, осмотрел и сжал в кулаке так, что из-под пальцев потекли золотистые струйки. Бросил раскрошенный хлеб и масло в подставленную тряпку и облизал пальцы.

- Директор разрешил посещение узника.
- Спасибо, – прошептала девочка.

Он проводил ее в камеру осужденного на смерть Юсси Сиеспинена, вошел вместе с ней и закрыл за собой дверь. Лапландский мальчишка сидел на нарах, вытянув ноги. Такой же тощий, как и его сестра. И оба недоростки – на голову ниже, чем рослый Хольмлунд.

- Наручники!

Юсси вытянул исхудавшие руки и попросил:

– Только не туго. Пожалуйста, Хольмлунд, очень прошу. Больно же...

Тем временем Анне Маарет взяла в горсть хлебные крошки, кусочек масла, соорудила из всего этого аппетитный комок и протянула Хольмлунду. Тот кивнул, но сначала проверил, надежно ли ввинчен крюк в стену камеры, взял висевшую на нем цепь, прикрепил к наручникам, посмотрел на запястья Юсси в кровавых корках, покачал головой и замкнул наручники – и вправду не особенно туго. После этого взял у Анне Маарет хлебный ком и, предвкушая наслаждение, вышел из камеры, оставил брата и сестру одних. Встал у двери и всадил зубы в крестьянский хлеб со свежесбитым маслом.

Отсюда слышно было, как они переговариваются по-саамски. Что за звериный язык, ей-богу. Каждого порядочного христианина наверняка в дрожь бросает от такого языка. Загремела цепь – наверное, жрать начал. Что за прихоть? Зачем она ему жратву таскает? Все равно скоро на плаху. Хольмлунд даже покачал головой, хотя его никто не видел, так захотелось ему выразить свое недоумение.

А в камере тем временем происходило вот что: Анне Маарет щедро намазала маслом тонкие запястья брата, прошлась и по наручникам, не оставив ни единого просвета. Кожа стала жирной и скользкой.

Когда Хольмлунд открыл дверь и сообщил, что время истекло, девушка плакала, уткнув лицо в ладони. А парень сидел на своих нарах и, похоже, молился своим лапландским богам: физиономия искажена в какой-то дикой гримасе, дергается, пытается сорвать наручники, спутанные волосы грязными прядями свисают на лицо. Хольмлунд принял решение оставить наручники. Пусть успокоится. Вышел, захлопнул дверь и дважды повернул ключ. Как повелевала инструкция, подергал за ручку, проверил – заперто. И проводил плачущую девчонку до наружного выхода. Хотел было ее успокоить, но она только безутешно трянула головой, вякнула что-то сквозь рыдания и чуть не побежала к воротам. Он некоторое время смотрел, как ее драные кенги шлепают по мокрому булыжнику.

Бог с ней. А масло и в самом деле отменное – настоящее вестерботтенское^[32] масло, хоть и краденое.

Как-то утром в конце октября жена арендатора Элина Мукка шла по тракту из Кенгиса в Пайалу. Для телег, может, и тракт, но дорога была очень скользкой после ночных заморозков, и ее кеньги с гладкими подошвами без конца съезжали то в глубокую колею, то в одну из бесчисленных ям, где скопилась подернутая хрусткой ледяной коркой вода. Несколько раз Элина даже упала.

«Одно слово – тракт», – ворчала она про себя и решила свернуть с проезжей, но коварной дороги на одну из троп.

И если бы не эти ночные заморозки, если бы не скользкая дорога, если бы не свернула – ни за что не нашла бы мертвеца. Он лежал в густых зарослях, с дороги и не увидишь. Труп лежал на животе, одна рука откинута в сторону, будто хочет обнять давшую ему приют землю, другая на спине, бледно-синюшные пальцы растопырены, у живых таких не бывает. Но жутчее всего – голова. Голова лежала в стороне, отдельно, и перерезанная трахея в запекшейся крови была похожа на маленький ротик, произносящий букву «о». Шапка валялась поодаль, редкие волосы прилипли к черепу, а на затылке зиял кратер с острыми осколками кости по краям.

– Боже правый. – Она прижала к губам фартук.

Элина Мукка знала убитого, и ей показалось, что бледные, с неживым блеском глаза отрезанной головы смотрят именно на нее. С упреком и осуждением.

Важный человек в поселке. Секретарь полицейской управы Михельссон.

Мне об этом сообщил мальчишка, сын одного из бедных арендаторов. Несмотря на приближающуюся зиму, он прибежал босиком, быстрый и гибкий, как куница, выпалил новость и помчался дальше – разносить по хуторам.

Я торопливо натянул сапоги и пальто и чуть не побежал на место страшной находки. Тут уже собрались любопытные – те, кто жил поближе. Увидев меня, они поснимали шапки, начали кланяться, а женщины присели в неуклюжем деревенском реверансе. Я протолкнулся вперед и досадливо крикнул. Доброхоты уже успели перевернуть труп и приложили, наверное, немало усилий, чтобы

сложить на груди окоченевшие пальцы. Голову, как могли, пристроили на место и прикрыли лицо фуражкой покойника.

Я приподнял фуражку. Ясно: чтобы отделить голову от туловища, потребовалось несколько ударов топором, а сзади череп проломлен. Скорее всего, тоже топором.

Удар нанесен сзади и, по-видимому, совершенно неожиданно. Прикинул, под каким углом нанесен удар, – скорее всего, преступник был ниже ростом, чем его жертва.

– Исправника Браге вызвали?

– Сейчас приедет.

Вокруг было порядком затоптано, но мне все же удалось различить кровавые следы, где тело волокли с тропы до ближайших кустов. И голову отрубили здесь же, в кустах, если судить по количеству крови. Очень скоро я обнаружил и место, где прятался убийца, поджидая жертву. Примятый мох, а на ближайшем стволе, в самом низу, след топора – очевидно, преступник ждал долго и, чтобы не держать в руке тяжелый топор, вонзил его в дерево. Следы лапландских кенг. Нога очень небольшая... У меня в животе похолодело.

Я быстро проверил карманы Михельссона. Грязный носовой платок, несколько монет, карманные часы на латунной цепочке. Преступник, по-видимому, даже не дал себе труда обыскать убитого. Вряд ли обычный грабитель. Во внутреннем кармане нашелся карандаш и несколько листов, исписанных безукоризненно красивым почерком. Стихи... подумать только, он писал стихи. Я начал читать, и у меня волосы встали дыбом.

Он писал стихи, короткие, даже игривые, – о своих жертвах.

Я выпрямился и значительно посмотрел на собравшихся.

– Больше мы ничего не можем сделать. – Развел руками и собрался уходить.

– Но... а разве прост не помолится за душу усопшего?

– А-а-а... – Я укорил себя за упущение. – Обязательно. А как же...

Пробормотал молитву и поторопился уйти, пока не прибыл исправник Браге.

В усадьбе было тихо. В отдалении смутно рокотал порог. Огляделся – никого. Подошел к поленнице, остановился, подумал – и наконец решился. Топор на обычном месте, прислонен к колоде.

Осмотрел лезвие, искусно скованное местным кузнецом. Осмотрел обух – и сразу увидел коричневатые пятна. Похоже на ржавчину. Пригляделся – нет. Не ржавчина. К обуху прилип короткий, еле заметный волос.

Мне стало трудно дышать. Я постоял, взял себя в руки, отнес топор в сауну и тер щеткой, пока не осталось ни единого следа.

Отпевание секретаря полицейской управы Михельссона состоялось в церкви в Кенгисе. Процедуру отпевания вел я. Приехала мать Михельссона из Пелло, высокая худая женщина с серым от горя лицом. Кстати, именно она настояла, чтобы я взял бразды правления в свои руки. Я пытался отказаться, ссылаясь на плохое самочувствие – не помогло.

– Мой сын вас так уважал, прост... часто говорил: эх, как бы я хотел стать священником.

– А его невеста тоже придет?

– Невеста? У него никогда не было никакой невесты. Он очень стеснялся женщин... такой деликатный мальчик.

Голос ее дрогнул, и она ударилась в сухие, бесслезные рыдания.

Я произнес краткую речь о Всесильном Судии, с которым каждому из нас рано или поздно придется встретиться. Мы будем стоять перед Ним, прозрачные, как стеклянные бокалы, и зачтутся нам и грехи, и подвиги духа нашего.

С этими словами я мысленно отправил секретаря полицейской управы Михельссона в ад, где он, несомненно, заслужил почетное место.

Исправник Браге произнес прочувствованную речь в память павшего героя, говорил об опасностях профессии, где так легко нажать врагов. Именно таких, скромных и верных служителей порядка, как Михельссон, мы должны благодарить – ведь при его непосредственном участии задержан опаснейший преступник, которого теперь ожидает справедливая смертная казнь.

Гроб подняли, отнесли на погост и опустили в холодную осеннюю землю. Я бросил на крышку три ковшика земли, и могильщики заработали лопатами. А зря. Надо было взять череп, выварить до белизны и послать в музей в Стокгольм.

Я пришел домой и тщательно вымыл руки – они казались липкими после обязательных рукопожатий с исправником и

выряженными в траур кабатчиками.

Утром восьмого ноября тысяча восемьсот пятьдесят второго года в селение Каутокейно на севере Норвегии прибыла большая группа саамов. Все они были, мягко сказать, в возбужденном состоянии духа. Все они считали себя верными последователями начатого простом из Пайалы Лестадиусом движения Пробуждения. С вполне христианскими, но, несомненно, угрожающими выкриками отцепили от саней ездовых оленей, вооружились выдранными из ограды кольями и двинулись к хутору купца Карла Юхана Рута. Ворвались во двор, где нашли купца в обществе исправника Ларса Юхана Бухта. Предводитель бунтовщиков Аслак Хаэтта подступил к исправнику:

– Пробудись!

И, не дожидаясь ответа, бросился на него с колом. Началась свирепая драка. Хаэтта в какой-то момент вцепился зубами в нос исправника и почти откусил. Бухт попытался вытащить нож, но Хаэтта перехватил руку и всадил нож исправнику в подмышку. На помощь Хаэтте бросились еще несколько саамов, среди них и женщина по имени Эллен Скум, они начали осыпать исправника ударами. Бухт кое-как вырвался и побежал к пристройке, где жили наемные работники, но его догнали, и Аслак Хаэтта ткнул ножом под лопатку.

Купец Рут попытался прийти на помощь исправнику, выхватил кол у одной из женщин, но его свалили с ног и так избили, что он потерял сознание. Но и на этом не успокоились. Особенно свирепствовали женщины – Эллен и Черстин Спейн, Берит Гауп и Марит Сара. Они продолжали молотить лежащего палками, пока не проломили череп. Томас Эйра всадил давно потерявшему сознание купцу нож в грудь, а Уле Сомби охотно помог надавить посильнее и проткнуть сердечный мешок, в котором отстукивало последние удары сердце.

В этой суеде тяжело раненному, но не потерявшему сознание исправнику удалось скрыться в доме. Он из последних сил доплелся до второго этажа, заперся в гостевой и свалился на постель. Не помогло – Монс Сомбю топором взломал дверь.

– Он еще тут глазами шевелит! – крикнул он остальным.

И мужчины, и женщины ринулись колотить безжизненное тело. Аслак Хаetta вонзил нож в грудь, но лезвие застряло в груди, и его брату Ларсу пришлось бить по рукоятке поленом, чтобы загнать нож до конца и тем самым погасить последнюю искру жизни.

Жена купца сумела ускользнуть. Она схватила самого младшего ребенка и добежала, задыхаясь, до усадьбы пастора Фредрика Вальдемара Вослефа.

– Они убивают Рута!

Пастор поспешил на помощь, но было уже поздно. Тело купца лежало посреди двора, окруженное одетыми в шкуры созданиями, больше похожими на зверей, чем на людей. Колотили труп чем попало.

– Глянь-ка, и этот пришел!

Теперь они начали бить священника. Тот еле успел снять очки, чтобы осколками стекла не порезало глаза. Женщины, мужчины и даже дети набросились на пастора: плюют в лицо, рвут в клочья рубаху. Аслак Рист стоит рядом и выкрикивает раз за разом:

– Пробудись, дьяволово отродье! Душеубийца!

Вот что они задумали: избиениями и проклятиями изгнать бесов из души Вослефа... Его пинками погнали в пасторскую усадьбу. Оказывается, обитатели успели забаррикадироваться. Но какое там! Бьют стекла, взламывают двери, связывают и выволакивают людей на двор. Осыпают проклятиями. Многие избиваемые теряют сознание. Пастор непрерывно и громко молился – ему показалось, что имя Христа хоть немного, но охлаждает пыл озверевшей толпы.

На стены усадьбы упали кровавые отблески близкого пожара – горела усадьба купца Рута.

Аслак Рист потащил священника на крыльцо.

– Смотри, как горят в аду упорствующие грешники!

Толпа ринулась назад: двор богатый, можно и прихватить кое-что, пока не сгорело; жажда наживы пересилила жажду крови. Вослеф вновь попытался успокоить толпу. Жена – теперь уже вдова – Рута стоит, как изваяние, с крошечной девочкой на руках. А ведь только что на ее глазах убили мужа.

Мародеры вернулись. И все сначала.

Только к четырем часам местным саамам удалось начать контратаку на бунтовщиков. Особенно отличились Уле Тури, Юханнес

и Исак Хаetta. В ход пошли все те же колья. Короткая битва завершилась их полной победой. Зачинщики Уле Сомбю и Марит Спейн погибли, остальные избиты до потери сознания.

Так закончился мятеж в Каутокейно.

Перед судом предстали тридцать человек. Пункты обвинения: убийства, поджоги, грабеж, избиения, незаконные угрозы. Аслак Хаetta и Монс Сомбю приговорены к смертной казни. Им отрубят головы. Другие получили долгие тюремные сроки.

Все громче звучат обвинения – а ведь есть и главный виновник кровавого мятежа. Его тоже надо судить – того, кто затеял все это так называемое Пробуждение, подвигшее неразвитых людей на преступление. Прост из Кенгиса.

Движение Пробуждения дышало на ладан. Не успевшие толком открыться глаза вновь начали слипаться.

Ранним утром в тюрьме в Умео надзиратель разбудил осужденного на смерть насильника и убийцу Юсси Сиеспинена и, как того требовал заведенный порядок, предложил последний в жизни завтрак: чашка кофе и ломоть хлеба. Подавленный и взволнованный осужденный от завтрака отказался. Тюремный парикмахер остриг длинные волосы – надо обеспечить палачу свободный доступ к шее. Преступника вывели во двор тюрьмы в цепях, в сопровождении двух конвоиров.

В твoroжистом утреннем свете невозможно было прочитать на лицах немногих собравшихся хоть какое-то чувство – словно специально изготовленные для такого случая маски. Застывшие маски с искусно приданным выражением суровости и высокой печали. Печаль, разумеется, продиктована необходимостью лишить жизни созданное Господом человеческое существо.

Начальник тюрьмы Торстенссон достал из перламутрового футляра очки в металлической оправе. Нацепил на нос и скрипучим голосом зачитал постановление суда, а также отклоненную Его Величеством королем Швеции просьбу о помиловании.

Тюремный пастор сделал шаг вперед, прочитал без выражения «Отче наш» и произнес короткую проповедь. Подчеркнул величие Господа и напомнил, что даже самые страшные грехи могут быть прощены, на все воля Божья. Спасти могут даже самые заклятые преступники, если смиряются и осознают свои прегрешения.

Так что преступнику предоставляется последняя возможность облегчить душу и предстать перед Создателем. Грешником, разумеется, но раскаявшимся грешником. И возможно, осужденный Юсси Сиеппинен хочет что-то сказать перед казнью?

Лапландец глянул на пастора исподлобья.

– Я – женщина, – сказал он на ломаном шведском.

Начальник тюрьмы посмотрел на пастора с немим вопросом – как следует реагировать на такое заявление?

А осужденному удалось, преодолевая сопротивление наручников, спустить тюремные штаны.

Несчастный сказал правду. Пенис и в самом деле отсутствовал.

Торстенссон некоторое время выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. Потом взял себя в руки и приказал тюремному врачу обследовать осужденного. В напряженном молчании врач присел на корточки, пощупал лобок, даже залез между ног пальцем – не прячет ли хитрец свои достоинства именно там? Но, словно обжегшись, выдернул руку и растерянно сообщил, что да, какие бы то ни было мужские половые признаки отсутствуют. И поправился: полностью отсутствуют. А женские присутствуют. Потом он отодвинул воротник, заглянул и обнаружил под неизвестно откуда взявшейся тугой повязкой небольшие, но несомненно женские груди.

– Какого дьявола! – воскликнул ошеломленный Торстенссон, забыв, что упоминание имени нечистого в такой важный момент может привести к беде.

Все заговорили разом. Торжественное настроение, всегда сопровождающее казнь, как рукой сняло. Палач выглянул из ниши в стене, где по давно разработанным правилам скрывался до решающего момента. Он не мог взять в толк, что происходит. Торстенссон преодолел растерянность, продумал вопрос и обратился к осужденному:

– Ты кто такой?

Наверняка многие подумали, что лучше было бы спросить «Ты кто такая?».

– Другое, – последовал исчерпывающий ответ.

– То есть ты не Юсси Сиеппинен?

– Уже нет.

– Как это – «уже»?

– Я себе переменял. Я сделал себя другим. Другой.

– Это невозможно!

– Для poaidi?^[33] Для poaidi возможно все.

Один из надзирателей, крестьянский сын из Сэвера Хольмлунд, мало что понимая в происходящем, приступил к предписанным ему с утра действиям. Вынул из кармана повязку и завязал загадочному существу глаза. Палач решил, что знак подан, и торжественно вышел из убежища. На вытянутых руках он нес тяжелый, искусно заточенный топор с широким лезвием и узким перешейком у обуха.

Осужденного заставили положить голову на плаху. Торстенссон энергично замахал руками – погодите, мол, вопрос еще не решен. Подозвал священника, врача и двоих обязательных свидетелей в черных пальто и шляпах. Может, приволокли не того? Но надзиратели клянутся – как это не того? Самого того. Это как раз он содержался в камере для смертников. Кто же еще? Никого больше к смертной казни пока не приговаривали.

Чиновники смотрели на низкорослого, щуплого пленника и никак не могли поверить своим глазам. Длинные волосы, только на шее сострижены. Бороды, конечно, нет, но у саамов бороды растут плохо, это всем известно. Что мужчины, что женщины – все на одно лицо. А что, если вся эта история станет известной? Ничего хорошего. Для тюремного начальства – уж точно. Ладно бы, если просто засмеют, а может и совсем уж скверно кончиться. Особенно теперь, после дикого бунта в Каутокейно, – как это будет выглядеть? Кровожадный убийца-лапландец обвел вокруг пальца правосудие? А может, просто... просто дать знак палачу и покончить со всей этой историей?

Начальник задумался.

И вдруг наступившую тишину пререзал низкий утробный звук. Жуткий, вибрирующий, пробирающий до спинного мозга. Он шел словно из-под земли. У присутствующих волосы встали дыбом. Все ощутили себя ничтожными букашками перед этим звериным

проклятием, проклятием самой природы, перед этим длинным и грозным, ничего хорошего не сулящим заклинанием.

– Но-о-о... а-ан-о-о-о...но-о-о...

Священник начал было громко читать молитву, пытался заглушить еретические завывания, палач занес свой наводящий ужас топор. Торстенссон повернулся к доктору, доктор косился на пастора.

Что делать? Ведь если сделать вид, что ничего не случилось, если его... если ее... Махнуть палачу – и концы в воду? Ну нет... какие концы? Все равно же просочится, и тогда уж точно беды не миновать... Надо же – вместо убийцы и насильника казнили какую-то полусумасшедшую деваху, к тому же дикарку...

Господи, что нам делать с этими лапландцами?

76

Медленно падает снег. Наши кенги оставляют темные следы на свежевыпавшей пороше. Каждый день мы проходим столько, сколько можем. Если повезет – ночуем на сеновалах. Или спим под какой-нибудь разлапистой елью, тесно прижавшись друг к другу, – так тесно, что каждого из нас спасает тепло другого.

Я пойду с тобой, куда ты захочешь.

Так оно и вышло.

В последний вечер мы пошли в усадьбу. Прост взял нас за руки и долго молчал.

– А ребенок? Что Юсси скажет насчет ребенка?

– О ребенке мы позаботимся.

– Это же не твой ребенок.

– Теперь мой.

Прост повернулся к Марии. Живот уже заметно выпирал под грубым рабочим платьем – она просто не успела сшить что-то получше.

– Ты же хотела выйти замуж за Михельссона?

– Демоны. Нечистая сила, – пролепетала она, не поднимая глаз. – Мне никого не надо, кроме Юсси.

Прост облизал губы.

– Хочу напомнить: Юсси Сиеппинен по-прежнему сидит в камере для смертников в Умео. Твой муж должен зваться по-иному. – Он посмотрел на меня вопросительно.

– Запишите «Йосиф», учитель.

– Йосиф Сиеппинен?

– Нет... просто Йосиф. Этого достаточно. По-моему, лучше не придумашь. Йосиф и Мария.

Прост пожал плечами, наклонился над книгой и аккуратно, как мог, вписал в соответствующую графу:

Йосиф и Мария.

– Итак, вы объявляете себя мужем и женой...

– Да, – тихо сказала Мария. – Объявляем мужем и женой.

Он еще раз обмакнул перо и записал:

Сим подтверждается: Йосиф и Мария обвенчаны и вступили в законное супружество.

Наши имена стояли совсем рядом, между ними остался крошечный промежуток, в котором уместился счастливый соединительный союз «и».

– И куда же вы собрались?

– На север. К океану.

Он еще раз обмакнул перо в старую чернильницу.

«Семья переехала в Норвегию», – написал прост, вздохнул и отложил перо.

Взял меня за руку и внимательно осмотрел рукав.

– Постирал?

Я признался – да. Постирал.

– А почему только левый рукав?

Я промолчал.

Прост наклонился и приложил нос.

– Медведь, – сказал он тихо. – Пахнет медведем-людоедом.

Я осторожно отвел его руку. Прост взял со стола Библию и протянул мне. Ту самую, что он приносил мне в тюрьму. Я перевернул несколько страниц и сразу понял – он прочитал мою тайнопись. До чего же он умен и проницателен, мой учитель. Мой учитель... мой отец.

– Продолжай писать, Юсси, – почти просительно сказал прост.

– Спасибо, – прошептал я. – Обязательно. Спасибо, дорогой мой... любимый учитель.

Он осторожно обнял меня. Наверное, хотел сказать что-то еще, но я вдруг почувствовал, как дрожит его подбородок на моем плече, и понял: он плачет.

Отпустил, отвернулся и вытер руки о штаны.

– Но мы же еще увидимся, – полувопросительно сказал я.

Он посмотрел на меня долгим печальным взглядом. Серые щеки мокры от слез.

– В этом мире – вряд ли, Юсси... Йосиф.

– Все равно спасибо. Спасибо, что записали меня в книгу. Без этого меня бы не было... отец.

И это было последним словом, которое услышал от меня учитель. Прост. Человек, ставший моим истинным отцом. И я вдруг осознал: никогда. Мы не увидимся никогда.

Мы вышли в ночь, и я закрыл за собой дверь. Мария молча прижалась ко мне. Мы постояли немного, вдыхая холодный воздух. Мария, которую все в селе называли шлюхой, и я – насильник и убийца.

Живот ее распирает юбку. Я осторожно обнял ее и услышал звон денег.

– Это деньги Нильса Густафа. Теперь они мои.

Я нерешительно отнял руку от губ – все равно нельзя всю жизнь скрывать свою уродливую физиономию. И она прижалась еще теснее. Моя возлюбленная жена. Мария, с которой я пройду все оставшиеся мне годы. Ее мягкие губы, кончики наших языков, встретившихся в поцелуе... Любовь моя так сильна, что ее хватит, чтобы осветить долгую полярную ночь.

Мы знаем: нас начнут искать, и не скоро закончат. Поэтому уходим все дальше и дальше на север. Холод, ветер, густеющая с каждым днем тьма. Как звери, бесшумно исчезнем мы в зимнем безмолвии, и снег услужливо скроет наши следы.

Эпилог

За время жизни проста Ларса Леви Лестадиуса было написано несколько его портретов. Полотно маслом Франсуа-Огюста Биара изображает пастора, проповедующего саамам среди более чем экзотического арктического пейзажа. Пастор одет в искусно написанную волчью шубу, а на голове его черный цилиндр, особенно эффектный на фоне громоздящихся торосов. Картина выставлялась на Парижском салоне в 1841 году. Еще более известен рисунок углем Шарля Жиро. Даже не рисунок, а рисунки – существует несколько вариантов. На одном из них прост изображен с орденом Почетного легиона – благодарность Франции за исключительно плодотворное участие в знаменитой экспедиции. Но портрет, о котором идет речь в нашем повествовании, пока не найден.

Ни о каких фотографиях с изображением проста долгое время ничего не было известно. Но летом 2016 года делали капитальный ремонт пасторской усадьбы в Пайале и нашли спрятанную между потолочными балками стеклянную пластинку, удивительно хорошо сохранившуюся за полтора с лишним века. С пластинки на нас испытующе смотрит мужчина в темной одежде, сидящий на стуле с высокой спинкой; позади давно снесенная церковь в Кенгисе.

Жизнеописание под названием Mueallin опубликовано в Северной Норвегии около 1890 года – это один из первых памятников саамской культуры, написанный ее носителем на саамском языке. Эта книга и вдохновила автора взяться за роман, тем более что автор примечательной рукописи в издании не назван.

Церковные книги, где прост записывал все рождения, свадьбы и смерти в уезде, долго хранились в Пайале, но во время Зимней войны в феврале 1940 года небольшой поселок неожиданно пострадал от военных действий. Навигаторы советских бомбардировщиков приняли Пайалу за финский городок Рованиеми, и было сброшено сорок восемь фугасных бомб, не считая зажигательных. Одна из этих бомб упала на кладбище, всего в нескольких метрах от могилы проста Лестадиуса и его жены Бриты Кайсы, от могил остались воронки на церковном холме. Пострадали многие здания. Каким-то чудом никто не погиб, единственной жертвой стала лошадь. Церковные книги уцелели, но возникло беспокойство за их дальнейшую сохранность. Поэтому архив перевели на север, в село Муодосломпуло, а всего через год там

сгорела пасторская усадьба. И церковные книги, где Лестадиус делал собственноручные записи, погибли в огне.

Автор этой книги вырос в Пайале. Совсем рядом с усадьбой, где жил Ларс Леви Лестадиус с семьей до своей кончины в феврале 1861 года. Прост дожил до шестидесяти одного года. Рассказывают, смерть была внезапной. Она настигла священника, когда он налаживал медвежий капкан.

notes

СНОСКИ

1

Прост (пробст) – старший пастор в приходе. – Здесь и далее примеч. перев.

2

Самый северный поселок Швеции.

3

Ис. 21:7.

4

Низинные болота, богатые минералами.

5

Пастор.

В России принято написание «Паяла». Но «Пáйала» (с ударением на первом слоге) лучше передает финскую фонетику.

7

Кувакс – саамский чум, временное жилище.

Традиционный саамский стиль пения.

Cello – виолончель (шв.).

Сборник проповедей.

Герой этой книги, Ларс Леви Лестадиус (1800–1861), – известный шведский проповедник, апологет трезвости и образования, основатель так называемого Пробуждения, о котором много будет говориться дальше. Лестадианство и поныне исповедуют некоторые общины на севере Швеции. Лестадиус также известен как ботаник, внесший свой вклад в изучение флоры Северной Европы.

12

Спиртовой раствор, в данном случае – чернил.

Широкие плетеные лыжи для ходьбы по болотам.

Так называли курительные трубки из белой глины за их цвет.

«Порядок спасения» – в протестантской теологии трактуется взаимоотношения Бога и человека, направленные на спасение души.

Провинция в Центральной Швеции.

17

Дорожный сосуд с вином для причастия.

Французская научная экспедиция в скандинавские страны в 1838–1840 годах под командованием Жозефа Пола Гаймара. В ней принял участие и главный герой этой книги Ларс Леви Лестадиус, известный своими глубокими знаниями ботаники и саамской культуры.

Жевательный табак.

Иш. 7:38.

Лк. 15:22–24.

Мф. 10:1.

Густав I Ваза (Ваза) (1496–1560) – с августа 1521 года – регент, с июня 1523 года – король Швеции.

Люцифер переводится как «светоносный».

Кóта – саамское жилище из оленьих шкур, чум.

ДЪЯВОЛ (*саамск.*).

Саамские сапоги из оленьей шкуры с загнутыми вверх носками.

Taraxacum – одуванчик, *Dryas* – дриада, или куропаточья трава.

Ис. 51:14.

Карл Вильгельм Шееле (1742–1786) – шведский химик-фармацевт. Выделил и исследовал множество химических соединений, в частности синильную кислоту. Шееле также был первооткрывателем нескольких химических элементов, в том числе и кислорода.

ЕККЛ. 1:14.

Вестерботтен – провинция на севере Швеции, столица – город Умео.

Шаман (*саамск.*).